

Нагибин

ЮРИЙ

Нагибин

ЮРИЙ

30.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Юрий
Нагибин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Издательский Дом «Подкова»
Москва
1998

ББК 84.37
Н 16

Нагибин Ю.М.

Н 16 Председатель. — М.:Издательский Дом
«ПОДКОВА», 1998. — 464 с.

ISBN 5-89517-014-5

Тексты публикуются в авторской редакции

© А.Нагибина, 1998

© Е.Селиванова. Оформление. 1998

ISBN 5-89517-014-5

Директор

Поздняя осень 1917 года. Замоскворечье.

Клены свешивают из-за оград свои голые, лишь редко украшенные золотым или мрамористым листом ветви.

Улочка будто вымерла, и потому особенно гулок стук кованых сапог по каменным плитам тротуара. Идут три моряка-балтийца: Кныш, Рузаев и Зворыкин. Из подъезда за ними следят настороженные глаза дежурных так называемой домово́й самообороны. Иногда вздрогнет занавеска в окне какого-нибудь мезонина, стрельнут вслед моряку заинтересованные, испуганные, а то и нежные женские глаза.

В одном доме чуть трепетавшая занавеска вдруг храбро отдернулась, и на моряков упал прямой, смелый, яркой синевы взгляд.

Зворыкин оборвал шаг, будто наскочив на незримую преграду. Он даже головой тряхнул, прогоняя наваждение.

Перед ним — обветшалое деревянное строение в два этажа, внизу лавчонка — выцветшим маслом по железу написано: «Скобяная торговля Феофанова». А на втором этаже — золотое, розовое, синеглазое чудо.

Зворыкин сошел с тротуара и, задрвав голову, сделал несколько шагов к дому.

Девушка в окне засмеялась. Зворыкин ринулся вперед. — «Скобяная торговля Феофанова!» — прочел Кныш и сплюнул.

Моряки двинулись своей дорогой.

Зворыкин, верно, и сам не помнил, как вбежал по скрипучим ступенькам наверх, как рванул запертую дверь и сорвал с запоров, как оказался в полутемной прихожей. Перед ним открылась анфилада комнат, и в самом конце

этой анфилады была Она. Навстречу Зворыкину кинулась монашеского обличья нестарая женщина, похожая на располневшую боярыню Морозову, и, вздымая двуперстие, закричала во весь голос:

— Изыди, сатана!.. Свят!.. Свят!.. Свят!..

За «боярыней Морозовой» возникло лисье старушечье лицо и смуглая обезьянья мордочка девочки лет пятнадцати. А откуда-то слева, из темноты, чуть подсвеченной лампадой, неся гневный стариковский голос:

— Кто посмел?

Но Зворыкин ничего этого не видел, не слышал. Отставив «монашенку», он медленно шел по комнатам, обставленным скудно и мещански (он не видел и этого, а если бы и увидел, то, верно, счел бы роскошью), увешанным клетками с певчими птицами, в основном ке-нарями, которые по мере его приближения начинали посвистывать, пощелкивать.

И вот Она — в грозной близости от Зворыкина эта девушка кустодиевской красоты, конечно, не русская Венера, но русская Психея: стройная, статная, с тонкой талией и округлыми плечами, с сильными бедрами, ровным и легким дыханием, с лицом прелестным чистотой, свежестью и быстрой сменой выражения.

Подходя к ней, Зворыкин, едва ли ведая, что он делает, скинул на пол вещевого мешок, уронил с плеча винтовку, сорвал бескозырку и вдруг закрыл глаза и пошел, ведомый внутренним зрением.

И у девушки стало обреченное лицо, и она закрыла глаза и пошла ему навстречу, вытянув вперед руки. И они коснулись друг друга...

А по другую сторону двери, которую Зворыкин, войдя, бессознательно захлопнул за собой, вся семья Феофановых медленно продвигается из глубины квартиры. Парализованный глава семьи крутит руками колеса передвижного кресла.

Они уже приблизились к дверям, как вдруг «боярыня Морозова» рванулась вперед и, раскинув крестом руки, загородила дверь.

— Стойте! — громко шепчет она. — Сей муж ниспослан нам свыше...

— Что ты мелешь, дурица? — раздраженно говорит старик Феофанов.

— «Грядет жених по полунощи»... неужто не постигаете знамения? Птицы Божие об осеннюю пору на вешний лад разливаются. Славят воителя грозного, жениха нашей Санны нареченного!..

И все с удивлением глядят на распевшихся не по времени кенарей...

По лестнице кубарем скатывается Зворыкин, выбегает на улицу, но Кныш и Рузаев уже ушли...

...Окраина Замоскворечья. Поперек маленького дворика натянута веревка, на которой сушится и лубенеет под морозцем бедняцкое белье: латаные простыни, наволочки, штопаные чулки, детские лифчики, трусы, рубашки.

Раздвинув жестяные паруса двух простынь, во двор входит Зворыкин, он оглядывается, улыбается.

Из кривой хибары, похожей на созревший лапотъ, появилась маленькая пожилая женщина с тазом в руках, замахнулась, чтобы опоржнить таз, и увидела Зворыкина.

— Петруша!.. — проговорила она и выронила таз из рук.

— Маманя! — кинулся к ней Зворыкин. — Да ты что... Это ж я, Алеха!

— Сыночек... — маленькая женщина, всхлипывая, припала к большому телу сына, — до чего же ты с отцом покойным схож! Ну точь-в-точь он, когда с японской вернулся... может, даже лучше еще, — добавила она, застенчиво любуясь сыном.

— Алешка приехал! — слышится истошный крик.

Из дома как горох посыпались младшие Зворыкины: братья и сестры Алексея. Они приветствуют брата каждый на свой манер: те, что постарше, сурово толкают кулаком в плечо и, скрывая радость, мужественно буркают «здорово!»; те, что помоложе, визжат от восторга, виснут на Алексее, теребят его бушлат.

— Кш, мелкота! — отбивается тот. — Держите, гостинцы привез. — Он бросает им свой вещевого мешок.

Мать с каким-то неуверенным выражением, то ли горестным, то ли испуганным, глядит на своего старшего.

— Надолго к нам? — тихо спрашивает она.

— Надолго, — улыбнулся Алексей. — Может, и навсегда... А ты чего такая смутная?

— Не знаю... — Она провела рукой по лицу. — Не верится мне, что это ты... Здоров ли, все ли у тебя ладится?

Алексей захохотал.

— Еще б не ладилось! Революцию сделал — раз, женился — два!

— Аль правда?... Да когда же ты успел?

— Только что... по пути домой.

— Как звать жену-то?

— Невесту, — поправил Алексей. — Свадьбу еще не играли.

— Ну, невесту...

— Это покамест не уточнено... — чуть смущенно говорит Алексей.

— Шутишь небось? — слабо улыбнулась мать.

— Вот те крест!.. — И тут же сурово поправился: — Слово большевика! Купчишки Феофанова дочь. Может, слышала, скобяная торговля?

— Ох ты! — с уважением говорит мать. — И хорошее приданое дают?

— Какое приданое, им теперь хана. Приданое будет только от жениха.

— Да у нас хоть шаром покати!

— Ошибаешься, маманя, у нас теперь вся страна! Вот какие мы богатеи! — И, рассмеявшись, Алексей первым прошел в дом...

...Бедный свадебный стол в доме Зворыкиных. Во главе стола — Алексей с молодой женой. Рядом с ней — Варвара Сергеевна Зворыкина, дальше — юные члены семьи, а из посторонних — пожилой пьяненький сосед да верзила токарь по прозвищу Каланча. Последний танцует польку в паре со Степаном Рузаевым.

— За молодых! — говорит сосед, и в ту же секунду снаружи раздается оглушительный взрыв.

Кныш схватился за наган. Алексей вскочил, общее смятение.

Пошатываясь, входит один из меньших Зворыкиных с черным лицом и опаленными волосами.

— Силен салют? — спрашивает он. Алексей достает из-под лавки пулеметную ленту, гнезда для патронов пусты.

— Ах, босяк! — говорит он укоризненно. — Весь боезапас извел. Ну ладно, а мы ведь так и не выпили за молодых. — И он неприметно подмигнул старшему из братьев.

— Горько! — покраснев, произнес тот и опустил глаза.

Кныш тяжелым, неотрывным взглядом уставился на целующихся молодых.

— ...Мне Алешкин отец вместо брата родного был, — бормочет пьяненький сосед. — Всю русско-японскую мы с ним борт о борт прошли...

— Как же они тебя за мово-то отдали? — спрашивает Варвара Сергеевна невестку.

— Я сама ушла...

— И не жалко тебе их?

— Холодные они, как лягушки... и расчетливые. Я для них тоже товаром была, вроде гвоздей или крючьев. Отец-то разорился почти... А что они не больно удерживали, то это их Фенечка, старшая сестра надоумила: «Божий знак...

птицы запели... грядет жених...» Хитрая она, эта святоша, авось при новой власти такой зять, как Алексей, лучше другого богатого сподится... Варвара Сергеевна... мама... Я вас об одном прошу — не пускайте их на порог, коли сунутся.

Каланча подходит с рюмкой к Зворыкину:

— Ну как, Алеха, не тянет на завод-то?

— Еще как тянет. Да вишь, делов невпроворот: тут тебе и свадьба, и революция, да и контра, обратно, внимания требует...

— А все-таки не забывай...

Алексей энергично подмигивает другому брату.

— Горько!.. — кричит тот.

Алексей немедленно «подсластил питье».

И снова блестящий, неприятный взгляд Кныша прилипает к молодым.

— Алешенька, если тебе хочется, целуй меня просто так, — говорит, высвобождаясь, Саня. — Ты же все глаза проморгал!

— Хватит лизаться, Алеша, — вмешивается Рузаев. — Холодному человеку глядеть тяжело.

В комнату вошла Фенечка, старшая сестра Сани. На ней обычное темное монашеское платье, строгость которого смягчена белым отложным воротничком.

Саня рванулась, будто хотела вышвырнуть сестру вон, но свекровь удержала ее.

— Будет тебе!.. Что мы, бусурмане какие, чтоб гостью гнать?.. Заходи, заходи, Аграфена Дмитриевна, милости просим!

— Я только на минуточку, — заверила Фенечка. — Молодых поздравлю — и ко всенощной! — Она низко кланяется Зворыкину, Сане и подает ей расшитую бисером и бусинками картину: серафимы венчают победой архистратига Михаила, толстозадые ангелочки обвивают гирляндой не то рассказывшуюся грешницу, не то свежеиспеченную святую. — Прими, сестрица, вместе с родительским благословением.

Саня небрежно швыряет подарок на комод.

— Садись, девушка, — приглашает Фенечку Каланча.

— Швартуйся к нам, божья овца! — галантно добавляет Рузаев.

— Я с краешку, с краешку!.. Горячего вовсе не буду, только посижу полюбуюсь, — лицемерит Фенечка.

Рузаев схватил ее за руку и усадил возле себя. Наполнил сырцом большую рюмку и поднес ей.

— Ну-ка, опрокидонт!..

— Сей нектар и монаси приемлют! — поддерживает пьяненький сосед.

Фенечка отстранила рюмку и налила себе граненый стакан.

— За молодых! — возглашает Фенечка и лихо опрокидывает стакан в рот.

— Горько-о-о! — исполнившись непонятым восторгом, заорала самая маленькая из Зворыкиных, едва возвышаясь над столом двумя белобрысыми макушками.

Зворыкин снова потянулся к жене.

Кныш резко поднялся и, ни на кого не глядя, пошел к выходу.

— Кныш, ты куда? — с доброй хмельной улыбкой крикнул Зворыкин.

Кныш не ответил, громко хлопнула входная дверь.

— А, пусть уходит! — крикнула Фенечка, успевшая хватить еще стакашек. — Ну его, он гулять не умеет. Играй, моряк!..

Рузаев схватил гармонь, развернул мехи, Фенечка метнулась из-за стола, ударила каблучком об пол и запела визгливо:

Ах, милый мальчик, хороший пупсик!
Париж, Париж. Чего ж ты мне сулишь?
Ах, Лизавета, мне странно это,
Но почему ты без корсета?..

Кныш чуть задержался в сенях дома, прислушиваясь к оставленному им веселью, затем шагнул вперед.

...Чуть теплится ночник, бросая трепещущие пятна света на убогую китайскую ширму, отгородившую новобрачных от остальной семьи в их свадебную ночь. На пожухлом шелке ширмы проступают изображения драконов, обезьян, причудливых рыб, небывалых растений. Слышится тихий, изо всех сил сдерживаемый плач. Прижав кулаки к глазам, плачет Саня.

Зворыкин отнял от подушки голову, заморгал ошалело со сна и вдруг яростно привскочил на постели.

— Ты что?.. Кто тебя?..

— Тсс! — Она прикрыла ему рот влажной от слез ладонью. — Ребят разбудишь.

— Почему ты плачешь?

— Не знаю... грустно чего-то...

— Ты не думай!.. — зашептал он горячо. — Это только сейчас так... У нас все будет: жилье, барахло...

— Перестань! Разве я об этом, дурачок?.. За другими девушками ухаживают, цветы дарят, в театр водят, в иллюзион, а после предлагают руку и сердце. А я из девичьей — сразу в постель.

— Ну и что же! У нас с тобой все наоборот пойдет. Вот жизнь маленько образуется — откроются театры, увеселения всякие, и я стану за тобой ухаживать, как жених, и цветы куплю или украду где... И еще мы на карусели покажемся, и в цирк сходим, и к зверям...

— Правда?

— Клянусь революцией!

— Тогда — горько, Алешенька...

Они не успевают разомкнуть объятия, как снаружи доносится шум шагов и грубых мужских голосов, затем раздается громкий стук в дверь.

Зворыкин кидается отворять дверь. Едва он приподнял засов, как дверь распахнулась, на пороге появились люди в бушлатах, грудь перекрещена пулеметными лентами.

— Зворыкин, какого дьявола!.. — заорал Кныш, но тут увидел полураздетую Саню; голос его сел в хрипотцу, а блестящий, неприятный взгляд, словно переломившись, уперся в молодую женщину.

— Кныш?.. Чего разоряешься?.. — начал Зворыкин, и тут он заметил, как смотрит на Саню вошедший. Зловеще усмехнувшись, Зворыкин повернул ему голову.

Кныш ударом кулака отбросил руку Зворыкина.

— Рано залез! — произнес он с яростью, обращенной толи на Зворыкина, то ли на самого себя. — Контра обратно зашевелилась!

Шумно выдохнув свое разочарование, Зворыкин потянулся к висящей на стене винтовке...

Зворыкин и Кныш идут по ночной улице.

— Долго валандаться будем? — сердито спросил Зворыкин.

— Небось успеешь к своей буржуйке! — огрызнулся Кныш.

— Учти, Кныш, это в последний раз. — Голос Зворыкина звучит очень серьезно. — Ты о жене моей говоришь. Сверну рыло.

— Далеко тебе до моего рыла, — бормочет Кныш. — А ты какого черта в чужой огород залез?..

— Тебя не спросился!.. — сверкнул глазами Зворыкин...

Двор. В углу двора стоит машина, возле нее возится десяток человек. Машина упорно не желает заводиться. Люди поочередно крутят заводную рукоять, чертыхаясь, орут друг на друга, но делу это не помогает. Подходят Зворыкин и Кныш. Оттолкнув какого-то матроса, Зворыкин открыл капот. Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы обнаружить неполадку. Он что-то подвернул и с пол-оборота завел мотор. Люди кинулись в кузов. Зворыкин сел за руль, Кныш — рядом с ним. Машина, подвывая, выехала за ворота. Вдали сухо щелкали выстрелы...

Метет, метет метель по улицам Москвы, завывает ветер на перекрестках и в подворотнях домов, колышет оборванные полотнища с воззваниями и лозунгами. Редкие фонари освещают улицу с длинными безнадежными очередями...

Лето. Автомобильные мастерские, именуемые обычно заводом. Уныло-прерывисто звучит осипший гудок: не то сигнал тревоги, не то обычные позывные завода.

Зворыкин в расстегнутом бушлате и сбитой на затылок бескозырке проходит захламленный заводской двор и входит в полуразрушенный цех.

Станки — токарные, шлифовальные и прочие — бездействуют. Небольшая группа рабочих покуривает, несколько размундиренных солдат режутся в очко. Кое-кто «трудится»: один ладит рукоятку к финскому ножу, другой чинит примус, третий сверлит отверстие в железной трубке для кресла. Зворыкин замечает все это своими острыми, цепкими глазами.

— Здоров, Алеха! — От группы курильщиков отделился токарь Каланча. — Каким ветром занесло?

— Революционным, балтийским! — радостно отзывается Зворыкин. — Ну, как вы тут?..

— Неинтересная наша жизнь, Алеха, сам видишь — сплошное непотребство.

— А где кадровики, где пролетариат?

— На Галицийских полях, на Мазурских болотах полегли, — вздохнул Каланча. — Кое-кто, конечно, приполз домой, а так, — он махнул рукой, все больше вчерашние землепашцы или не помнящие родства...

— Здорово, ученик! — Возле них остановился пожилой усатый мастер Василий Егорыч.

— Уже не ученик, Василий Егорыч, а помощник судового механика, — уважительно отозвался Зворыкин, пожилая усатому руку.

— Сюда-то сердце привело или дело есть? — спросил Василий Егорыч.

— Нешто сердце с делом всегда поврозь? — усмехнулся Зворыкин.

Им не удалось поговорить. С громким шумом в цеховые ворота хлынула толпа людей, враз заполнив обширное и пустынное помещение. И тут же с революционной быстротой возник митинг. Полуинтеллигентного вида человек в пенсне на самоварной физиономии взобрался на разбитый станок и зычно объявил:

— Товарищи рабочие, мировой капитализм перешел в наступление... В Нефанленде разогнали демонстрацию!..

Потрясенное этим сообщением собрание разразилось гулким ревом.

Голос из толпы. Даешь резолюцию!

Второй голос. Пошлем протест. И объявим неделю дружбы!

Первый голос. С кем?

Второй голос. С этим, как его... Ну, где разогнали!..

Первый голос. С Нефанлендом? А как мы с ним будем дружить? Он небось в Африке.

Третий голос. По переписке придется!

Председательствующий. Товарищи рабочие, включим неделю дружбы с Нефанлендом в месячник солидарности со всеми чернокожими народами!

— Кто этот горлопан? — спросил Зворыкин своих друзей.

— А бес его знает! Объявился вдруг... Говорит красный директор, — отозвался Василий Егорыч.

— Прошу слова! — зычно крикнул Зворыкин.

«Красный директор» поглядел на живописную фигуру моряка: тельняшка, бушлат, смоляные кудри из-под бескозырки — и как-то засомневался.

— Даешь слово революционной Балтике! — крикнул Василий Егорыч.

Его поддержали, и Зворыкин одним прыжком очутился на «трибуне».

— Товарищи рабочие, кто мне скажет, какая в России власть? — обратился он к собранию.

— Да никакой нету, — ответил размундиренный солдат на костыле.

— Как так? — поперхнулся Зворыкин. — Выходит, Россия сирота?

— Не горюй, морячок, найдется дрючок! — ломаясь, крикнул костыльник.

Зворыкину надоело пустое препирательство.

— Эх вы! — сказал он с горечью. — Я на этом самом заводе еще мальчишкой на хозяина горбину гнул... Нешто мог я тогда мечтать... — Он задохнулся и вдруг наклонился к толпе — и в упор: — Совесть у вас есть? Себя же проигрываете! Завод в бардак превратили?..

— Не с того голоса поешь, товарищ матрос! — перебил его «красный директор». — Для революционных масс нет святее...

— А пошел ты знаешь куда! — отмахнулся Зворыкин.

Тот попятился и чуть не свалился с «трибуны».

— Не больно команду! — слышалось из толпы. — Подумаешь, енерал какой выискался!

— Братцы, никак, старый режим вернулся! — заорал костыльник. — Хозяев страны в рыло норовят! — И он театрально рванул на себе ворот.

— Будет тебе, припадочный! — прикрикнул Василий Егорыч. — Чего людей мутишь?

— Братцы, у него под тельником гидра! — взвизгнул костыльник.

— Гнать его в шею!..

— Долой!

И прежде чем Зворыкин приготовился к отпору, десятки рук потянулись к нему, сорвали с «трибуны» и потащили из цеха. Друзья Зворыкина тщетно пытались ему помочь.

Зворыкина вынесли из цеха и швырнули на землю. Толпа повалила назад в цех. Зворыкин поднялся.

— Ну, огляделся на заводе, кореш? — услышал он за спиной знакомый голос.

Степан Рузаев, в кожанке, с маузером на боку, глядел на него из-под насупленных бровей.

— Как видишь... — хмуро отозвался Зворыкин. Под глазом у него натекал громадный багровый синяк.

— Ясно, — сказал Рузаев и, пошарив в кармане, протянул ему большой медный пятак. — На, полечись... — И решительно направился в цех, знаком пригласив Зворыкина следовать за собой.

Когда они вошли, «красный директор» продолжал поднимать «революционную активность» масс.

— Мы должны со всей решительностью сказать: «Руки прочь от Гренландии!» — но, увидев Рузаева, он вдруг осекся — похоже, этим людям уже приходилось сталкиваться.

Рузаев вскочил на «трибуну» и втянул за собой Зворыкина, все еще прижимающего пятак к багровому натеку.

— Товарищи рабочие! — начал Рузаев. — Декрет о национализации завода подписан вон когда, а ваша продукция — ноль целых хрен десятых, двести митингов и тысяча резолюций. Так, братцы, дело не пойдет, мировой империализм протестами не запугаешь, работать надо. — Он повернулся к «красному директору». — Считаю кабинет в нынешнем составе распущенным.

— Рабочий класс доверил мне пост «красного директора»! — вскричал председательствующий.

— Рабочий класс тебе, может, и доверил, — отозвался Рузаев, — да только ты этого доверия не оправдал.

Раздались голоса рабочих:

— Правильно!.. В самую точку!..

— Я протестую! — взвизгнул «красный директор».

— Валяй, браток, — хмуро усмехнулся Рузаев, — протест шли по адресу: Нефанленд — Рузаеву. — И он легонько так, плечиком подтолкнул «красного директора», мигом очутившегося внизу. Предупреждая возможные осложнения, Степан Рузаев словно бы невзначай передвинул кобур с маузером.

Толпа зашевелилась, на передний план выдвинулись настоящие кадровики, в том числе друзья Зворыкина.

— Вот что, ребята, — доверительно сказал Рузаев. — Революции позарез нужны броневики. Мы их вам с неделю назад в ремонт пригнали. А вы ни в зуб ногой, только митингуете.

— У нас теперь только горлом работают, — с горечью сказал Василий Егорыч.

— Кто громче орет, тот и герой, — добавил Каланча.

— Для ремонта нужны материалы, а у нас их нет! — раздался сухой интеллигентный стариковский голос.

Позади «трибуны», в тени, сбилась кучка заводских инженеров и техников; вид у них потертый, обносившийся, но все же они пытаются сохранить достоинство. Голос принадлежал инженеру Маркову, рослому и тощему старику, напоминающему Дон Кихота.

— Да у вас на заводском дворе до черта разных материалов! — вмешался Зворыкин. — Это же форменное золотое дно!

— Конечно, огромный технический опыт этого господина, — иронически отозвался Марков, — не имею чести знать ни имени, ни звания — делает его в этом вопросе более компетентным, нежели мы. Но я могу перечислить материалы и средства производства, отсутствующие...

— Вот именно: отсутствующие! — взорвался Зворыкин. — А на кой... хрен, пардон, нам это нужно знать? Извиняюсь, конечно, но если так рассуждать, то и революцию нельзя было делать. У нас не было ни авиации, ни артиллерии, ни продовольственных запасов. Я могу не хуже вашего до завтра перечислять, чего у нас не было. Но мы исходили не из того, чего нет, а из того, что есть, и сделали революцию, и довольно неплохо...

Рабочие одобрительно смеются.

— В точку!.. — поддержал Василий Егорыч.

— Давай, морячок, крой на все сто!.. — гаркнул костыльник.

— Кто этот кривоглазый Демосфен? — спросил Марков инженера Стрельского.

— Что вы, Марков, неужели не узнаете? Это знаменитый пират Биль Бонс.

— Ищи да обрящешь! — издевательски крикнул костыльник. — У себя в штанах поищи!

— Молчи, дура! — цикнул на него Василий Егорыч. — Не снижай революционного настроения.

— Слушай сюда! — крикнул Степан Рузаев. — Имя этого кореша, — обратился он к рабочим, — еще не гремит в промышленном мире, но шарики у него варят, и Московский комитет поручает ему обеспечить вас всем необходимым для ремонта броневиков!..

Зворыкин спрыгнул вниз. Его окружают рабочие.

— Все необходимые материалы у вас под боком — на складах железнодорожных мастерских, — объявил Зворыкин.

В ответ — смех, улюлюканье.

— Открыл Америку!..

— Эва, какой шустрый!..

— Ходили мы туда, Алеха, все пороги обили, — грустно сказал Василий Егорыч. — Да они как собаки на сене: сами не пользуются и другим не дают.

— Значит, плохо просили, — сказал Зворыкин. — Без души.

— Еще как просили-то!.. Умоляли, можно сказать... Так они нас с Каланчой вашей вытолкали!

— Просить надо с подходцем — дело тонкое!.. На сознательность брать. Вот увидите, мне они не откажут...

...Вечером к ремонтным мастерским Казанской железной дороги подкатил пустой товарный вагон. Проехав мимо наружного поста, он остановился возле складских помещений. Из вагона выпрыгнул Зворыкин, направился к сторожу.

— Здорово, служба! Кто сказал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»?!

Сторож растерянно заморгал.

— Знать надо своих учителей, — заметил Зворыкин и тут же, зажав сторожу рот, повалил его на землю.

Из вагона посыпали рабочие автозавода, устремились к складским помещениям.

Наружный пост. Часовой мирно покуривает сигарку.

Со складского двора катится тот же «порожний» товарный вагон. Часовой откинул шлагбаум, пропустил вагон. И вдруг, спохватившись, заорал: «Стой!» — и выстрелил в воздух.

По длинному коридору знакомый нам сторож ведет Зворыкина. Распахнулась дверь, и Зворыкина втолкнули в комнату, где за письменным столом сидит Кныш. От его моряцкого вида не осталось и следа. Он весь закован в кожу, его сильный, сухой торс перекрещен командирскими ремнями.

— Послушай, Кныш, когда кончится эта буза? — по-свойски накинулся на него Зворыкин. — Долго мне еще тут торчать? Дела не ждут!

Кныш ответил словно издалека:

— Вы уже довольно натворили дел, гражданин Зворыкин.

— Ты что, с ума спятил? Подумаешь, начальство! Меня не запугаешь!..

— Молчать, мародер! Не в кубрике! — Кныш тяжело опустил кулак на столешницу. — Снюхался с классовым врагом и сам стал сволочью!..

— Белены объелся? — Что-то растерянное появилось в голосе Зворыкина. — Я ваших железнодорожных жлобов по-хорошему просил: отдайте металл. Но они ж!..

— Людей расстреливают за мешок пшени, — перебил Кныш.

— Ты меня с мешочниками не равняй! — вскипел Зворыкин. — Хватит дурочку строить, я к начальству пойду.

— Слушай, Зворыкин, — презрительно говорит Кныш, — у начальства есть другие заботы, чем с купеческими зятьками валадаться.

— Вот что! — Рот Зворыкина дернулся в волчьей усмешке. — Тогда понятно... небось сам на мое место попрочь? Думаешь, не видел, как ты на нее зенки пялил?

Рука Кныша непроизвольно рванулась к пистолету, но огромным усилием воли он сдержал себя, заставил свой голос звучать спокойно.

— Я думал, в тебе пробудится классовая совесть, но черного кобеля не отмоешь добела. Ты был бойцом и товарищем, но ссучился возле купчишек, перерожденец ты, анархистствующая сволочь. Таким не место ни в революции... ни в жизни...

...И снова ведут Зворыкина по длинному, пустынному коридору. И с мертвым звуком захлопывается дверь подвала.

...Кабинет Кныша. Саня Зворыкина и Кныш. Лицо Сани мокро от слез; взволнованный встречей, Кныш старается быть особенно официальным.

— Я не верю! — в отчаянии говорит Саня. — Вы не поступите так!

— При чем тут я, Александра Дмитриевна? — пожимает плечами Кныш. — Закон... Ваш муж совершил тягчайшее преступление: он ограбил железнодорожный склад, похитил тонны железа, стали...

— Не для себя же!..

— Это не имеет значения. Поймите: если мы не накажем Зворыкина, какой пример мы подадим? Как защитим мы наше молодое неокрепшее государство от бандитов, жуликов, расхитителей всех мастей?..

— Не говорите так!.. Это ваш друг!..

— Тем более я не имею права быть снисходительным!

— Господи!.. Кныш, миленький!.. Да как же так? — Саня рыдает. Она подходит к Кнышу и, едва ли сознавая, что делает, хватает его за руки.

В страшном смятении Кныш отдергивает руки.

— Что вы, Александра Дмитриевна, как можете вы плакать. Из-за него? Он вас не стоит... Посмотрите на себя и на него! — горячо говорит Кныш. — Вы чистая, светлая, а он... Он весь в этом своем преступлении. Жадные, загрязненные руки, готовые схватить все, что плохо лежит. Он так же схватил и вас, походя, почти не замечая, что делает...

— Кто дал вам право так говорить? — оскорбленно спросила Саня.

— Я выстрадал это право... Послушайте, Александра Дмитриевна, я знаю одного человека, он не чета Зворыкину, прямой, цельный во всем...

— Не нужен мне этот человек, да и я ему не нужна, — устало произнесла Саня.

— Вы имеете в виду свое происхождение? Он простит вам это! — вскричал Кныш. — Он подымет вас до себя! Санна, — продолжал он проникновенно, — у меня есть две любимые: революция и ты, Санна! Я полюбил тебя, как увидел. Я сидел на твоей свадьбе и думал, что умру от боли.

— Не надо так говорить... нельзя. — Как бы не относилась Саня к Кнышу, есть что-то покоряющее в силе и подлинности чувства, которое владеет им в эту минуту.

— Я буду так говорить! — самозабвенно продолжал Кныш. — У меня никого не было... ты будешь первой и единственной моей женщиной! — Кныш опускается на колени перед молодой женщиной, ловит ее руки, пытается спрятать лицо в ее коленях.

Саня испуганно отбивается.

— Пустите!.. — кричит она. — Пустите!

В приемной слышится шум. Дверь распахнулась, и на пороге появляется Рузаев в сопровождении двух служащих железнодорожной охраны.

Кныш поворачивает к вошедшим будто слепое лицо, похоже, он не сознает происходящего.

— Вот что!.. — тяжелым голосом произносит Рузаев. — А ну, подымите вашего начальника, он, видать, в коленках ослаб...

Саня выбежала из кабинета...

— Ты думал, тебе разрешат швыряться такими людьми, как Алеша Зворыкин? — спросил Рузаев.

— Нарушение революционной законности, расхищение государственной собственности, экономическая контрреволюция... — как в бреду бормочет Кныш.

— Ладно, — оборвал его Рузаев. — Московский партийный кабинет берет Зворыкина на поруки...

Подвал. Зворыкин сидит на табурете, зажав лицо руками. Щелкнул замок, в подвал заглянул старик сторож. Зворыкин мгновенно отнял руки от лица, принял независимый вид.

— Собирайся, что ли, — говорит сторож зевая.

— Куда? — Тень беспокойства мелькнула на лице Зворыкина.

— На кудыкину гору... — лениво ответил сторож.

...По территории железнодорожных мастерских идут Зворыкин и Рузаев.

— Кто тебя, дурака, надоумил? — Рузаев стучит себя по лбу. Массивное лицо его пылает гневом.

Зворыкин совсем скис, опустил голову.

— Сам же говорил: броневики позарез нужны... — оправдывается он вяло.

— Выходит, броневики нам нужны, а бронепоезд не нужен, снаряды не нужны? Так, что ли?.. Учти, по партийной линии мы тебя еще взгреем.

Зворыкин тяжело вздохнул и насупился. Они вышли за ворота, и глазам их предстало чудо: новенький, горящий полированными бортами, сверкающий серебром радиатора изумительный «Роллс-Ройс». За баранкой дремал матрос, положив ноги на щиток. Но что самое поразительное — Рузаев уверенным, хозяйским жестом распахнул дверцу этой дивной машины. Зворыкин на миг забыл обо всем на свете: о своем недавнем аресте, угрозах Кныша, гневе Рузаева. Он впился глазами в черно-пылающее чудо,

потрогал колеса и шины, обошел кругом, нагнулся и стал разглядывать подбрюшье.

— Броневики-то хоть будут? — допытывался Рузаев.

Но в лицо ему уставился зад друга, туго обтянутый матросским сукном. Соблазн был чересчур велик, и Рузаев в сердцах пнул коленом этот нахальный зад.

— Чего дерешься? — обиделся Зворыкин.

— Мало еще! — гневно сказал Рузаев. — Спустишь бы с тебя портки да всыпать горячих.

— Угнал? — спросил Зворыкин, кивнув на машину.

— «Угнал»?.. Опять в тебе это бандитское!.. Всучили мне ее, терпеть не люблю эти буржуйские штучки!

— Много ты понимаешь!.. Экий красавец! «Ролс-Ройс», — произнес он нежно.

Рузаев с удивлением глядит на друга. Никогда еще не видел он на его сильном лице такого растроганного выражения.

— Чудак ты, ей-богу! Ну, ладно, дыши — будут броневики?

Зворыкин кивнул, не сводя глаз с машины.

— Через неделю?

Снова кивок.

— Не врешь?.. Откуда ж возьмутся броневики, если материалов нету?

— Не твоя забота!.. — пробурчал Зворыкин.

— Разве у вас не отобрали награбленное?

— Отобрали... что нашли.

— Ну, черти! — расхохотался Рузаев. — Полезай! Домой подкину.

Зворыкин шагнул к машине, распахнул дверцу и ловким движением сорвал с сиденья спящего матроса.

— Вот гнида, щиток сапожищами измазал!

Одуревший со сна матрос ринулся было на свое место, но Зворыкин отшвырнул его прочь.

— Сам поведу! — сказал он властно. — Тебе, салага, в классных машинах не ездить.

— Это почему же? — обиделся матрос.

— Таких, как ты, в бочках с дерьмом возят, — отрезал Зворыкин, бережно протер щиток и тронул с места...

Машина остановилась у дома Зворыкина.

— Зайдешь? — спросил Зворыкин Рузаева.

— В другой раз. Делов по горло.

— Ну, тогда бывай.

— Погоди. — Рузаев покопался в кармане, достал театральные билеты, протянул Зворыкину.

— Пойдешь в Большой театр. Хватит тебе зверовать, приобщайся к культуре и горизонт расширять.

— Есть расширять горизонт! — отчеканил Зворыкин.

...Зворыкин входит в дом. Он бледен, глаза горят.

— Алешенька! — кинулись к нему мать и Саня. — Пришел, родной!

— Почему никого не было на улице? — загремел Зворыкин. — Когда не надо, все околачиваются во дворе! Когда надо, хоть бы один черт видел, как я на «Роллсе» к дому подкатил!

— Что ты, Алешенька, что ты? — лепечет Саня. — Чего ты плетешь?

— Успокойся, сынок, — вторит невестке Варвара Сергеевна. — Хочешь, я тебе щец горячих налью?

Они щупают Зворыкина руками, словно не веря, что он вернулся живым и невредимым, плачут и радостно смеются.

— Ну, хватит!.. Целый я весь, до последней гаечки, — отбивается от них Зворыкин. — Нешто Степан Рузаев даст друга в обиду?

— А он тебя сильно ругал? — спросила Варвара Сергеевна.

— Степка-то?.. — самодовольно переспросил Зворыкин. — Да он мне всю дорогу комплименты пел. У него на меня одна надежда. С твоей, говорит, головой, с твоим, говорит, техническим гением да самую малость подучиться — исключительный получится специалист!

— Анжинер, значит, — поддакивает Варвара Сергеевна. Она наклоняется к сыну и принюхивается, не пахнет ли от него спиртным.

— Вы, часом, не хватили на радостях?

— Ни грамма!.. Смотри, маманя, еще директором стану!

— Станешь, станешь, Алешенька, вот попьешь сушеной малинки — и станешь директором. Сань, завари.

— Да вы что, с ума посходили? — Только сейчас Зворыкин заметил маневры матери. — Или меня за психа считаете? Рузаев билетами в Большой театр премировал. Саня, наводи красоту, и вы, маманя, собирайтесь.

— В другой раз, сынок, постирушку затеяла...

Танцуют на сцене маленькие лебеди.

В ложе сидят Зворыкин, Саня и Каланча.

На сцене все продолжается танец маленьких лебедей.

— Когда же они петть-то начнут? — спрашивает Зворыкин жену.

— Они не будут петть, Алеша, — нетерпеливо отзывается Саня, захваченная происходящим на сцене.

— Видал, Алеха, — повернулся к Зворыкину Каланча, — для буржуев они пели, а для нашего брата им горла жалко...

На него шикают из публики, но Каланча не унимается:

— Ногами дрыгать — это ж каждый дурак умеет. Слушай, Алеха, может, сорвем эту бузу?

— Уймьтесь вы, — говорит Саня. — Это же балет.

— Ну и что же?

— В балете только танцуют.

Зворыкин с сомнением смотрит на жену, но в данном вопросе он доверяет ее авторитету.

— Слышь, — обращается он к Каланче, — раз балет, так надо.

— Может, конечно, и балет, — горько говорит Каланча, — только сомневаюсь, чтоб они при буржуазии такое себе позволили.

Разговор этот взволновал Зворыкина. Балет его нисколько не интересует, он вертится, свешивается вниз и вдруг обнаруживает в партере, прямо под ложей, выводок буржуев: двух полных, пожилых, хорошо одетых мужчин и под стать им грудастых, дебелих дам. Это, видимо, адвокаты или дантисты, но для Зворыкина все равно буржуазия. Он толкает под бок Саню.

— Видала?.. До чего обнаглели!..

— Да хватит тебе!..

— Как это — хватит? Еще не затянулись раны рабочих бойцов, а финансовая буржуазия опять становится нам на горло?

Приунывший было Каланча сочувственно следит за революционным возрождением Зворыкина.

— Верно, Алеха, — говорит он, — прямо нечем дышать от этих эксплуататоров.

В публике нарастает недовольное шиканье. На друзей оглядываются. В ложе появляется величественный, как адмирал, в потускневшем золотом галуне бородастый капельдинер.

— Господа товарищи, соблаговолите покинуть спектакль..

И сразу — яркая, огневая, малявинская пестрядь карусели. Вихрем несутся на смешных, словно пряничных конях хохочущие во все горло Зворыкин, Саня и Каланча с букетами бумажных роз.

Вокруг кипит, гремит, переливается всеми цветами радуги лихой, веселый народный праздник над Москвой-рекой, на малой вершине Воробьевых гор.

Сквозь нестройный шум Зворыкин кричит Сане:

— Умею я ухаживать?

Саня счастливо хохочет в ответ.

Крутится карусель.

— Догоняю! Пади-пади! — надывается Каланча.

На все Воробьевы горы гремит музыка.

...Утро.

— Алеша, выйди, тебя спрашивают! — кричит Варвара Сергеевна.

Зворыкин, в ночной рубаше и кальсонах, крупно ступая босыми ногами, выходит из комнаты.

— Как он ночь провел? — быстрым шепотом спрашивает Варвара Сергеевна Саню.

— Не спрашивайте, мама, — зарделась Саня.

— Я и знала, перемогнется! — говорит Варвара Сергеевна. — Он здоровьем в отца, а тот сроду не болел...

Входит Алексей. В руке судорожно зажат листок бумаги, а лицо возбужденное, странное.

— Ну, все! — говорит он, тяжело дыша. — В Кремль вызывают.

— Куда еще, Алешенька? — горестно спросила Варвара Сергеевна.

Зворыкин положил на стол листок бумаги, а сам опустился на табурет.

— В Кремль... К Ленину. Видать, назначение дадут...

Саня испуганно охнула, и у Варвары Сергеевны болезненно сморщилось лицо. А Зворыкин, не замечая всего этого, нахлобучил бескозырку, встал и потопал к двери.

— Куда ты, Алешенька?

— В Кремль, говорю.

— Да как же разутый, раздетый?..

Зворыкин смотрит на свои босые ноги, и лицо его будто просыпается, становится обычным — живым, веселым, подвижным.

— Надо же!.. Это меня, мамань, карьера оглушила!

Варвара Сергеевна в растерянности берет со стола бумагу, близоруко разглядывает, моргает, трет глаза, снова читает и вдруг кричит не своим голосом:

— Сань!.. Сань!.. Да ведь он нормальный!.. Это мы дуры сумасшедшие!..

...Автомобильный завод. Зворыкин и Рузаев пробираются к импровизированной трибуне из старого автомобиль-

ного кузова. Вокруг трибуны — толпа рабочих и служащих завода. Зворыкин постарался замаскировать следы недавних побоев, но это ему не слишком удалось: черная повязка на глазу придает ему сходство с пиратом.

Вперед вышел Рузаев, он поднял вверх палец, потом наклонился к толпе и спросил доверительно:

— Кто знает — есть ли жизнь на Луне?

Все враз смолкли и оторопело уставились на Рузаева.

— Никто не знает, — констатировал Рузаев, — а кто знает, что вот этот кореш, — он показал на Зворыкина, — ваш директор завода?

Собрание загудело. С интересом и любопытством разглядывают Зворыкина рабочие.

— Если это директор, мы пропали, — говорит своему соседу высокий, худой как жердь старик в форменной фуражке, инженер Марков.

— Фамилия у него — Зворыкин, — продолжает Рузаев, — он мальчик добрый, но злой. Ссориться с ним никому не посоветую. А сейчас он скажет вам пару теплых слов.

— Видал, Каланча, мой ученик! — радостно сказал Василий Егорыч.

— А мой кореш, — гордо отозвался тот. — Мы с ним по балетам ходим.

Василий Егорыч оторопело глянул на Каланчу.

Зворыкин окинул одиноким глазом кучку инженеров и техников, притулившихся к стенке.

— Почему это специалисты держатся в стороне от рабочего класса? — удивился Зворыкин. — Обращаюсь к рабочему классу, как к более сознательному. — В глазу Зворыкина зажегся и сразу потух лукавый огонек. — Сделайте первый шаг навстречу нашей интеллигенции.

Среди рабочих пробежал сдержанный смешок, группа колыхнулась и вроде приблизилась к кучке заводских интеллигентов.

— А теперь прошу специалистов пойти навстречу рабочему классу.

В кучке инженеров замешательство, они переглядываются, пожимают плечами, оскорбленно фыркают; иные принимают это за фиглярство, иные — чуть ли не за издевательство, и лишь немногие понимают серьезный и по-доброму необходимый смысл того, что требует новый, молодой директор.

— Соблаговолите, господа товарищи! — слышен насмешливый голос Каланчи.

Среди «господ товарищей» снова возникает какое-то волнообразное движение.

— Никак в землю вросли! — крикнул Василий Егорыч.

Молодой инженер Стрельский не выдерживает унизительности этой игры и, чертыхаясь, быстро отходит от своих коллег и присоединяется к толпе рабочих. Остальные, кроме Маркова, придвигаются к рабочей группе.

— А тебе, папаша, особое приглашение требуется? — спрашивает Зворыкин старого инженера.

Тот понимает, что в своем гордом одиночестве имеет вид смешной и глупый, но это лишь усиливает его злобу и раздражение.

— Я с вами свиней не пас, зарубите себе на носу! — задыхаясь, кричит он.

Зворыкин усмехнулся и подмигнул рабочим.

— Ладно, извиняюсь... промашка вышла: «ты» и «папаша» только для своих годятся. Так вот, сегодня мы приступаем к ремонту броневиков, но этого мало. Товарищу Ленин ставит перед нами большие задачи: завод должен в кратчайший срок наладить производство основной продукции. Автомобили будем делать, наши, советские автомобили, вот какая штука!..

Василий Егорыч переглянулся с Каланчой. По толпе проносится удивленный, недоверчивый ропот; старый инженер пренебрежительно скидывает плечи.

Зворыкин поднял руку.

— Можете удивляться, можете надсмехаться, можете издеваться — раз Ленин сказал, так и будет.

...Медленно движется грузовик. В кузове — различная рухлядь и все члены семьи Зворыкина, кроме матери и малолетних сестер, сидящих в кабине рядом с шофером. Они получили квартиру в центре города. За грузовиком бежит, размазывая слезы и махая грязным носовым платком, пьяненький сосед. У ворот, погруженный в скорбь, остался Иван Каланча.

— Прощай, родное Замоскворечье, — тихо прошептал Зворыкин.

Семья Зворыкина робко входит в огромную, с высокими потолками квартиру в доходном доме Нерензья, что в Большом Гнездиновском переулке. Квартира совершенно пуста, если не считать массивного и пыльного рояля фирмы Беккер. И тут Саня подошла к роялю, распахнула его и начала одним пальцем наигрывать что-то напоминающее собачий вальс».

Зворыкины слушают как замороженные, затем Алексей хрипловато сказал:

— Сыграй что-нибудь революционное...

И Саня неумело принялась подбирать «Смело мы в бой пойдем»...

Двор автозавода. Изо всех сил старается небольшой оркестр. Звучит боевая песня:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это...

Четыре броневика, по винтику собранные рабочими, выстроились в ряд. Устрашающе торчат рыльца пулеметов. На броневиках — надписи: «Смерть Деникину!», «Да здравствует социализм!»

Строится готовящееся к уходу на фронт рабочее ополчение. Возглавляет его Рузаев. Подошел Зворыкин. Лицо его темно.

— Так... А со мной что будет?

— Тебе приказ: оставаться на посту, — поняв волнение Зворыкина, ответил Рузаев. — Не бойся, кореш, я и за себя и за тебя беляков порубаю! — пообещал он щедро.

Зворыкин обнимает Рузаева.

Громче заиграли трубы, выше взвилась песня.

Рузаев быстро отошел от друга, чтобы занять место в колонне. Заалели над строем знамена, и двинулось на смерть и победу рабочее ополчение. Напутствуемые слезами жен и матерей, ряд за рядом проходят ополченцы. А когда закрылись заводские ворота, Зворыкин обратился к оставшимся:

— Дела осложнились, товарищи! Лучшие люди ушли на фронт, но планы наши остаются в силе. Каждый рабочий, каждый служащий будет ежедневно отрабатывать два часа на земляных работах... Если человек стар, болен, — Зворыкин нашел глазами инженера Маркова, — если у него грыжа или одышка, ревматизм или подагра, он все равно будет работать в свою силу... Но мало этого, мы должны привлечь наших близких, в первую очередь жен...

— На жену директора это, конечно, не распространяется? — ядовито спросил инженер Марков.

— Конечно, нет, — в тон ответил ему Зворыкин. — Ведь она у меня мадам а-ля бутон!

Работают люди на строительстве новых цехов. Поначалу это земляные работы. Мотыгами вгрызаются рабочие, по преимуществу женщины, в твердо смерзшуюся заводскую землю.

Лопаты...

Руки в брезентовых рваных рукавицах...

Заиндевевшие, усталые, бледные лица мужчин, женщин, подростков...

Сноровисто действует лопатой Саня. Рядом с ней трудятся инженерские жены...

Кирки и ломы бликуют в свете зимних костров.

...И снова широкая картина строительства. Во многих местах заводского двора уже поднялась кирпичная кладка новых цехов, электростанции, гаража. Земляные работы продолжаются, завод создается почти на голом месте. И снова:

Лопаты...

Кирки...

Ломы...

Руки в брезентовых рукавицах...

Тягостная духота жаркого летнего дня обернулась ливнем. Сперва тяжелые редкие капли окропили землю, пыльный двор и принесли желанную свежесть, и все, кто работал в цехах, кто собирал лом, кто рыл котлован и траншеи коммуникаций, обрадовались дождю. Но затем вхлест обрушился такой могучий водопад, что люди со всех ног кинулись в укрытие. Разбегаются из котлована женщины, карабкаются по глинистым стенкам; неуклюже оскальзываясь, спешат под навес инженерские жены. И только Саня в каком-то неистовстве продолжает вгрызаться в землю.

Натянув на голову куртку, к котловану подбегает Зворыкин и прыгает вниз. Он едва не сбивает Саню с ног. Она оборачивается негодуяще и вдруг видит мужа. Капли текут по ее милому лицу, платок сбился, волосы мокрые, кофточка стала прозрачной, а ведь директору было далеко до тридцати. И он со счастливым смехом, под ливнем, обнял любимую и желанную женщину, упал с ней на землю под глиняный скос и стал целовать лицо ее, волосы, грудь...

Крутится пластинка на граммофоне, звучит музыка популярной в нэповское время мелодии «Матчиш прелестный танец». Зворыкин и Рузаев выпивают и закусывают.

Входит Саня, усталая, в комбинезоне и красной косынке.

— Здравствуй, Степа!

— Здорово, курносая! — мрачно буркнул Рузаев.

— Ты что, Степа, затосковал? Прошел все фронты живым, здоровым. Радоваться надо.

— Отвык я от мирной жизни. Куда и сунуться, не знаю.

— Только к нам на завод, — уверенно сказал Зворыкин. — С рабочим классом не пропадешь.

— Нет, Алеха, что ни говори, на фронте было легче... яснее, что ли. А теперь... не понимаю я чего-то... Вот мы сидим, балыком закусываем, пирожок во рту тает, «Смирновская» на столе... Революция кончилась!

— Ладно. Не трави баланду. Знаешь, как в песне: «Жизнь тоже не стоит, она идет...»

Рузаев оглядел стол, просторную, кое-как обставленную квартиру Зворыкина и, подумав о чем-то своем, усмехнулся.

— Богато живете, окопному человеку прямо неловко у вас. Может, сходим попариться? Кости ноют...

— Пошли! — охотно согласился Зворыкин.

В коридоре звонок. Зворыкин идет открывать и тут же в шутовском страхе отступает перед Саниной сестрой.

— Свят! Свят! Свят!...

— Ах, милый пупсик! — засмеялся Рузаев, пытаясь обнять круглый Фенечкин стан, но получил по рукам.

Друзья с хохотом выбегают из квартиры.

— Ну, постой, постой, дай поглядеть на тебя, — говорила Феня, протягивая к сестре короткие полные руки. — Плоха, плоха ты стала, Саня, ох, плоха!..

— Устала я, только с завода...

— Нешто сегодня работают? Бог и тот дал себе отдых в седьмой день недели.

— Воскресник у нас был, — неохотно пояснила Саня.

— Тьфу! Все не по-людски и не по-божески...

— Ты зачем пожаловала? — холодно перебила Саня.

— Семейство тебе кланяется, отец благословение шлет и помощи ожидает.

— Какой еще помощи? Я же писала матери, чтоб оставили меня в покое.

— Великий вождь всея Руси в несравненной мудрости своей даровал Советской державе новую экономическую политику... — строго и торжественно завела Феня.

— Ты мне политграмоту не читай...

— В Писании сказано, что Иисус изгнал торгашей из храма. Памятуя об этом, наш родитель решил торговлюшку прикрыть и завести небольшую замочную мастерскую, но с патентом туговато, чинят препоны ироды жестокосердные. Сказала бы своему, он с верховными правителями возжаётся.

— У тебя на трамвай есть или дать? — спросила Саня.

— Значит, отказываешься?.. Смотри, накликаешь родительское проклятие...

— Катись колбасой, устала я...

— Ох, и плоха ты стала, плоха! — злорадно сказала Феня. — Ну-ка, дай руку. — Хоть Саня сопротивляется, она крепко схватила ее за кисть и вывернула ладонью кверху. — Истину речет линия судьбы. Быть тебе брошкой!

Пустив эту стрелку, она метнулась к выходу. Саня плюнула ей в след и презрительно передернула плечами. Но смутное женское беспокойство заставило ее посмотретья в зеркало. Оттуда ей жалко улыбнулось усталое, обветренное лицо с полоской мазута на виске.

...Завернувшись в простыни, убоготворенные парилкой, медленно и величественно, как древние римляне, Зворыкин и Рузаев шествуют через роскошную мочную «аристократического» отделения Сандуновских бань. Даже в этом месте, где каждый наг, как прародитель наш Адам, и то чувствуется, что времена изменились и нэп вступил в зрелую пору. Иначе откуда могли взяться эти жирные тела, эти белые пухлые спины, над которыми трудятся поджарые, с тряпичными руками банщики в мокрых набедренных повязках, эти зады-подушки под хрустальными водопадами душей, этот пробегающий в сторону бассейна с

подносом, уставленным пивными и коньячными бутылками, потный, прилизанный половой?

Доносится громкий смех. Это гогочет толпа, окружившая бассейн для плавания. Зворыкин и его друг подходят к бассейну, и глазам их предстает увлекательное зрелище: несколько молодых нэпманов в изысканных купальных костюмах распивают бутылку Петровской водки на мраморном барьерчике и закусывают сардинами и анчоусами, ныряя в воду и вылавливая их ртом со дна водоема. Специально приставленный к делу малый трудолюбиво опорожняет в бассейн консервные банки. Зворыкин переглянулся с приятелем.

— Ишь, паразиты! — проговорил он с отвращением на грани восторга.

На глазах Рузаева выступили слезы.

— За что боролись, Алеха? — прошептал он.

— Тебе люди цирк показывают, а ты недоволен, — успокаивающе произнес Зворыкин.

— Неужто для того я столько чужой и своей крови пролил, чтобы эти сволочи за кильками ныряли?

— Ты же фронтовик, тебя ли учить, что бывает временный отход перед наступлением?

— Отход... отход, — волнуется Рузаев и вдруг с воем кидается к бассейну...

Зворыкин успел перехватить его и оттаскивает подальше от греха.

— Ослабли нервишки! — раздается знакомый голос.

Придерживая простыню у левого обнаженного плеча, за ним стоит Кныш.

— А, Кныш! — приветствовал Зворыкин своего бывшего соперника. — Ты еще жив?

— Как видишь!..

— Сто лет не видались! — вяло проговорил Рузаев.

— Не узнаю тебя, — говорит Кныш Рузаеву, — ты вроде был не из хлюпиков.

— О чем ты?

— Недавно один хилак, член партии, не выдержал всего этого, — Кныш кивнул в сторону резвящихся нэпмачей, — и сам себя к вышке приговорил. И не понял, дурак, что это выстрел — не в себя, а в партию.

— За меня можешь не опасаться, а глядеть — противно!

— А мне приятно! — улыбнулся Кныш, — Люблю видеть врага в лицо. Всех этих фабрикантов, торгашей, биржевиков. — Кныш светло и твердо смотрит на появившуюся из воды цветущую рожу с сардиной в зубах.

А Рузаев отворачивается — нет у него сил глядеть на такое...

Зворыкин, распаренный, чуть усталый, возвращается домой. Он входит в комнату и не узнает ее. Не то чтобы она уж так сильно изменилась, но занавеси на окнах, абажур на лампе, а главное, множество цветов необычайно украсили спартански голое жилье. Но еще более неузнаваема Зворыкину прекрасная женщина, завитая, надушенная, с алым ртом и шелковыми ножками.

Банные принадлежности посыпались из рук директора. Он схватил Саню за руку и потащил к умывальнику. Нагнув ее голову под кран, он принимается яростно смывать косметику с ее лица, льет воду на прическу, развивая созданные горячими щипцами кудри. Саня вырвалась и убежала в спальню. Зворыкин настиг ее, но в руках у него оказалась лишь часть Санюного платья, а сама она вновь ускользнула.

Но вот Зворыкин поймал ее и, как Саня ни отбивалась, притащил в ванную, окунул. Саня плачет, воет, пытается вырваться, но тщетно — железная рука Зворыкина не отпускает ее...

Моторный цех. Поздний вечер. Здесь Зворыкин, инженеры, группа рабочих.

— Послушайте, Марков, — обратился к старому инженеру Стрельский. — Наш друг Рубинчик сделал гениальный расчет рамы.

— Сомневаюсь.

Стрельский показывает Маркову расчеты, и тот от души пожимает руку Рубинчику. Входит Зворыкин.

— Товарищу директор, посмотрите, какой изящный расчет, — сказал Марков.

Смущенно и подавленно глядит Зворыкин на непонятные цифры.

— Поймал! Ай, поймал!.. А вы думали, что с трехклассным образованием я владею высшей математикой? Но я овладею ею, Марков, и всем прочим, что нужно директору. И вы сами мне поможете, хочется вам этого или нет. — Зворыкин повернулся к Стрельскому. — Запускайте!

Стрельский включает мотор нового двигателя.

— А ну, давайте на больших оборотах!

Двигатель доходит до истощного рева.

— А теперь на малых!

И когда Стрельский выключил двигатель, голос Зворыкина прозвучал от усталости совсем буднично:

— Кажется, порядок?

— Похоже, добились... — так же вяло отозвался Стрельский.

Зворыкин не может оторваться от нового мотора: то с одной стороны зайдет, то с другой, там погладит, там похлопает. Он телесно, кожей ощущает близость его металлической плоти.

Костыльник подтолкнул Каланчу.

— Глянь, будто бабе щупака задает...

— Да это ему всякой бабы милей...

— Степ, — позвал Зворыкин Рузаева, — глянь, какой красавец.

Рузаев хмуро отвернулся.

— Не любишь ты техники, — опечалился Зворыкин.

— Я народ люблю, — ответил Рузаев.

В цехе появляется Саня. Она восстановила нарушенную Зворыкиным красоту: на голове — вавилонская башня, на ногах — лакированные лодочки, она прекрас-

на и величественна. Зворыкин ошеломленно глядит на нее. Саня приблизилась и протянула ему какую-то бумажку.

Телефонный звонок. Мастер Василий Егорыч берет трубку.

— Слушаю... Алексей Петрович, нарком на проводе.

Но Зворыкин не слышит.

— Что это? — спрашивает он растерянно.

— Заявление об уходе, — с достоинством говорит Саня.

— Алексей Петрович, тебя Махарадзе! — кричит Василий Егорыч.

Не отрывая глаз от Сани, Зворыкин идет к телефону и берет трубку.

— Слушаю, товарищ Махарадзе. — Зворыкин жестом просит заглушить мотор.

И как только смолкает гул, мы слышим яростный треск в трубке.

— Товарищ Махарадзе, — оправдывается Зворыкин, — мы можем рапортовать, что задание выполнено. Новый мотор нами проверен. Ей-богу... Тьфу, слово коммуниста, я не вру...

Махарадзе снова раздражается бурной тирадой.

— Сейчас не вру, — поправился Зворыкин, — не подведем, товарищ Нодар. Можете смело докладывать, что советский грузовик есть!.. — Он положил трубку.

— Сбегаешь? — хрипло спросил он Саню.

— Сбегаю, Алеша, — серьезно, даже печально ответила Саня. — Назад в твою жизнь.

— Что это значит?

— Я старею и дурнею, Алеша. Еще год такой жизни — и ты окажешься слишком далеко от меня, не докличешься.

— Ладно врать-то!.. Сказала бы прямо: работать надоело.

— Нет. Просто хочу вернуться к своей главной и, если хочешь, единственно важной работе — быть женой Зворыкина.

— Вот те раз! Нешто ты не жена?

— К сожалению, я давно уже, пусть невольно, пренебрегла этим занятием. Я слишком устаю, я не успеваю порой даже вымыться. От меня пахнет землей и потом. Я не девочка, я сказала себе: все, хватит. Комсомольский период моей жизни кончился. Завод или директор. Я выбираю директора.

— Ладно, — тихо сказал Зворыкин, — ты уволена... Он размашисто подписал заявление.

...Плакат над заводскими воротами: «Да здравствует советский грузовик — лучший в мире!» Праздничная толпа рабочих и служащих, мелькают знакомые лица: тут и старые кадровики, и весь инженерный состав, и нарядная Саня, и нарком Махарадзе, крупный человек с черными, проточенными сединой усами и с такой же шевелюрой, и взволнованный Зворыкин.

Степан Рузаев заканчивает речь:

— Товарищи! Мировая буржуазия скапливает силы и нагнет с каждым часом. Но акулам капитализма, — вдохновенно продолжает Рузаев, — не удержать всемирного революционного движения, опорой которому будет колонна наших советских грузовиков. Сегодня, — Рузаев указал поверх головы на новенький грузовик, — мы вбили первый гвоздь в гроб мировой буржуазии!.. Теперь ей полный Нефанленд!

Гром оваций был ответом на выступление. Секретарь директора взмахнул дирижерской палочкой... Мощно взыграл оркестр, зазвучало тысячеголосое «ура».

Из ворот показался грузовичок, празднично разукрашенный кумачом и еловыми ветками.

Спускаясь с трибуны, Степан Рузаев столкнулся с Махарадзе. Тот поглядел на него сурово.

— Опять? — с упреком сказал Зворыкин Рузаеву. — Неужели в такой день нельзя было удержаться?

— А чего?.. Ну, выпил пивка с рабочим классом за новый грузовик. За победу мирового пролетариата.

— На тебя люди равняться должны...

— А чем я плох?.. Я не забурел, как некоторые. Начальства из себя не корчу.

Рузаев отошел в сторону.

— Это твой друг? — спросил Махарадзе.

— До гроба! — ответил Зворыкин. — Он прекрасный парень, но в какой-то момент не все понял, затосковал, сбился..

— Мне не нравится твой покорный тон. Почему не дерешься за человека?

— Хоть бы в такой день стружку не снимали! — жалобно сказал Зворыкин.

Махарадзе пригрозил ему пальцем, но глаза его улыбались.

— Тоже мне казанская сирота!..

Они подошли к грузовику. Зворыкин сел за руль, Махарадзе — рядом, а в кузов набились рабочие, инженеры, туда же сунулась нарядная Саня.

— Куда?! — взревел Зворыкин. — Членам семьи — во вторую очередь.

И Саня отстала.

— Все, забраковали тебя, Санька, — посочувствовал Степан Рузаев. — Полный Нефанленд!..

Зворыкин обменялся взглядом с Махарадзе и с блаженным видом включил скорость. Грузовик отъехал немного от ворот, и тут случилось непредвиденное: наперерез ему промчалась фордовская полуторка и лихо пошла в гору.

Соблазн помериться силами со знатным «иностранцем» был слишком велик, даже в темных серьезных глазах Махарадзе сверкнул сумасшедший огонек азарта. И, свернув с трассы, Зворыкин устремился в погоню за «Фордом», как борзая за лисой.

На «Форде», видимо, заметили маневр Зворыкина и прибавили ходу.

— Жми!.. Жми!.. — с южной горячностью шептал Махарадзе, захваченный этим состязанием.

Но грузовик Зворыкина вдруг забарахлил, крутой подъем оказался ему не по силам. Тщетно давил на педаль газа директор.

С «Форда» насмешливо помахали рукой.

Грузовик Зворыкина пополз вниз, а тут еще тормоза вышли из строя, и «гордость отечественного автомобилестроения» совершила задним ходом обратный путь в заводские ворота, украшенные гордым плакатом.

В отчаянии Зворыкин уронил голову на баранку. Большая, тяжелая рука Махарадзе легла ему на плечо.

— Нечего нюни распускать. Вывод ясен! Надо еще учиться современному автомобилестроению.

— У кого? — не поднимая головы, спросил Зворыкин.

— У его величества Форда! Поедешь в Америку, в Детройт!

Зворыкин ошалело уставился на Махарадзе.

...Квартира Зворыкиных. Рузаев и Саня — очень нарядная, располневшая. Рузаев наливает себе водки из графинчика, стоящего на буфете.

— Не лишняя? — спросила Саня.

— Сегодня же выходной.

— Повезло вам с переходом на пятидневку, Степан Иванович.

Рузаев отставил графинчик.

— Ладно, не нуди. Чего Алешка из Америки пишет?

— Пишет, что вещи складывает, скоро вернется. — Саня протянула ему открытку.

— Надоело, значит, у капиталистов в услужении находиться.

— Не трепись, Степа! Он учится, проходит автомобильный университет.

— Вон ты каким словам обучилась — «университет»! Ну да ладно, скорее бы возвращался. — Он повертел открытку. — Конечно, в гостях хорошо, а дома лучше. Там

ведь одно: отдай весь труд. Потогонная система. Хорошему капиталисты все равно не научат...

— Еще как научат-то! Ихней наукой мы их и побьем. Долгий «нахальный» звонок.

Рузаев пошел открывать дверь.

Входит Фенечка.

На бывшей монашенке модное пальто, отороченное мехом, фетровые боты, пуховый платок. В руках большой чемодан.

— Пупсик? — обрадовалась Фенечка, узнав Рузаева. — Будь хорошим мальчиком, помоги, лапуня, раздеться.

Рузаев выполняет ее просьбу.

Фенечка опоражнивает перед младшей сестрой чемодан. На тахту летят всевозможные отрезы, туфли, шелковые чулки, духи и прочая парфюмерия.

Саня жадно рассматривает барахло, прикладывает к себе многоцветные воздушные ткани.

— Это откуда же такое роскошное шмотье в наши трудные времена? — поразился Рузаев.

— Пропил деньжонки, мой Арлекин! Ломай коронки, ступай в торгсин! — пропела Фенечка.

— А разве сейчас носят креп-марокен? — засомневалась Саня.

— Только креп-марокен! — авторитетно сказала Фенечка.

— А креп-жоржет?..

Рузаев пятится из комнаты. Фенечка настигает его и нахлобучивает ему на голову черный блестящий котелок.

— А это тебе, пупсик! Прямо из Парижа!..

Слезы брызнули из глаз Рузаева. Он подходит к большому зеркалу, смотрит на свое лицо под дурацким колпаком.

— Все, Степа! Подбивай итоги, морячок! Ни черта не вышло — ни в целом, ни в частности. Алеха — у капиталистов в науке, Санька — у спекулянтов.

Всхлипнув, он достает из кармана «бульдог» и, крутанув барабан, подносит ко рту. И тут с плачем и криком к

нему подбегает Саня. Она хватается Рузаева за руку, и выстрел проходит мимо, пуля пробивает котелок, из которого выскакивает какая-то белесая масса.

— Что ты, Степа? Что ты, родной?

— Все скурвились, — бормочет Рузаев. — Никого вокруг.

— Нет, Степа, нет!.. Мы с тобой!.. Гони прочь эту гниду, гони ее вон из Алешкиного дома!..

Услышав этот призыв, старый революционный матрос Рузаев схватил Фенечку в охапку, поволок из комнаты. Саня распахнула дверь. Рузаев нахлобучил Фенечке на голову котелок и могучим пинком спровадил спекулянтку.

Саня разлила водку по рюмкам.

— Выпьем, Степа!.. за нас! За Советскую власть!

Они чокаются, выпивают и, обнявшись, запевают с воодушевлением:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это..

Приемная Зворыкина. На стене — плакат: «Дадим пятилетку в четыре года!» Молодой рабочий Сухарик расстилает ковровую дорожку. Им командует помощник Зворыкина Пташкин.

— Ровнее, Сухарик!.. ровнее ложи!.. — распоряжается Пташкин. — Вишь, складочки собрались. Хочешь, чтоб высокий гость ногу сломал?

— Зачем? Пусть сохранит конечности.

— Товарищ Сухарик, а тебе не кажется, что ты играешь на руку врагу? Даже не играешь, а подыгрываешь? — заметил Пташкин.

— А тебе не кажется, что ты идиот? — спросил Сухарик.

— Товарищ Сухарик, — хриловато произнес Пташкин, — мне кажется, что такой шпане, как вы, место не в комсомоле, а в колонии для малолетних преступников.

— Такие комсомольские поручения я больше не выполняю.

— Легкой жизни захотел? А когда мы Перекоп брали, легко было?

— Мы пахали, — проворчал Сухарик.

— Что?! — грозно спросил Пташкин.

— Ничего. А ковры таскать не буду. Я тебе не холуй.

В приемную входит Степан Рузаев, направляется прямо к двери директорского кабинета, но Пташкин, хоть и занятый ковровой дорожкой, бдительно преграждает ему путь.

— Вам чего?

— Алеха с Америки вернулся? — свободно спросил Рузаев.

— Вернулся.

— Так я — к нему.

— Директор занят.

— Что значит «занят»? А может, я хочу, чтоб он отчитался передо мной, хозяином завода?

— Отчетный доклад директора в пятницу, в шесть вечера! — отчеканил Пташкин.

— А мне плевать на собрание! — зашелся Рузаев. — Пусть он мне лично доложит.

— Вас тысячи, а директор один...

— Ну и пусть!... Коли надо, должен всю тысячу принять!..

Освободите помещение! — официальным голосом произнес Пташкин.

Дверь директорского кабинета распахивается, и в окружении толпы женщин выходит Зворыкин. На нем коверкотовый френч и такие же брюки, заправленные в сапоги.

— Не могу, гражданочки!.. Не могу, сударушки! — говорит Зворыкин. — Дайте хоть экспериментальный под крышу подвесьте, тогда ставьте вопрос о яслях.

— Ладно, мы тебя подведем под крышу! — мстительно сказала предводительница женской ватаги. — Ты нас попомнишь!.. Айда, бабы!..

Женщины сердито уходят, безжалостно попирая ковровую дорожку, расстеленную Сухариком и Пташкиным.

И, проводив их удивленным взглядом, Рузаев спросил своего старого друга:

— Что это за порядки, Алеха? Трудящегося человека не пускают пред твои светлые очи? Может, кончилась революция, браток?

— Нет, — серьезно ответил Зворыкин. — Революция не кончилась, она просто становится деловой. Чего у тебя?

— А ничего... — мрачно пробурчал тот, — мне, может, принцип важен.

— Послушай, Степа... Шел бы ты лучше отдохнуть...

Зворыкин поглядел на Сухарика.

— Комсомол! Проводи товарища Рузаева. Ты чего там елозишь?

— Почетный коврик расстилаю, — сообщил Сухарик.

Зворыкин яростно взглянул на Пташкина.

— Я тебе покажу — коврик, паразит. Убрать!.. Товарищ Нодар за такие штучки башку снимет.

— А это все равно никто не заметит, — вставил Сухарик.

— Я пошел в экспериментальный. Как Махарадзе приедет, позвони, — бросил Зворыкин.

— А он уже целый час как приехал, — мстительно говорит Рузаев.

В экспериментальном цехе, над ямой, стоит новый грузовик, Махарадзе придирчиво осматривает его со всех сторон, заставляет пустить мотор, усиливает обороты, внимательно выслушивает сердце машины. Возле него — инженеры: Марков, Рубинчик, Стрельский, а также только что подошедший Зворыкин.

— А бензин с низким октановым числом он сильно не любит? — спросил Махарадзе.

— Напротив, — отозвался Марков. — На редкость покладистая машина.

— Ну, хорошо. — Махарадзе выпрямился. — Так вот. Сколько грузовиков может выпускать ваш завод в месяц?

— Все зависит от конвейера, — поспешно говорит Зворыкин. — Необходима срочная реконструкция завода.

— Реконструкция!.. Экий ты быстрый... — пробурчал Махарадзе.

— Товарищ Нодар, пойдете ко мне... Я покажу вам чертежи, расчеты... — приглашает Зворыкин.

Они идут всей группой через заводской двор.

— Дорогой! — продолжает разговор Махарадзе. — Для наших могучих строек и ужасных дорог нужны машины самые мощные, самые выносливые, самые проходимые.

— Вы только что видели такую машину, товарищ Нодар. Она не уступит никаким «иностранцам».

Они заходят в помещение.

— А вот товарищи сомневаются, — продолжает Махарадзе, — заслуживает ли ваш грузовик конвейера.

— Что?! — Зворыкин в бешенстве. Он задержался в «предбаннике» перед своей приемной, не замечая ни растерянного лица Пташкина, ни его странных знаков, о чем-то сигнализирующих ему, Зворыкину.

— Конечно, у Форда^а покупать выгоднее! — горестно восклицает он. — А может, хватит спускать золото и валюту капиталистам?

— Я тебя понимаю, дорогой, но это чувство, а речь идет о деле, — тепло сказал Махарадзе. — Противники наши так рассуждают: есть заботы поважнее твоего завода. Железные дороги надо строить. Паровозы надо строить. Мы должны стать великой железнодорожной державой.

— Нет, товарищ Нодар... Вложите средства в наш завод, и мы вытесним Форда и прочих «ситроенов» со всех дорог, мы окупим сторицей... Ведь как-нибудь будущее за автомобилем... — Зворыкин толкает дверь в приемную, и вся группа замирает в изумлении, а сам Зворыкин — в отчаянии.

Обширное помещение приемной «оккупировано» младенцами. На письменном столе, на столе заседаний, на ди-

ване, на креслах, на подоконниках лежат разноцветные конверты. Содержимое конвертов ведет себя тихо, или куксится, или самозабвенно орет, а один, развязавшись, мочится с полным удовольствием на ковер.

— Пташкин!.. Пташкин!.. — орет Зворыкин.

— Ну, здесь я... Пташкин...

— Это что ж такое? Верни матерей, чтоб сейчас же забрали пацанов!

— Не возьмут, товарищ директор, — безнадежно говорит Пташкин. — Покуда вы клятвенно не обещаете построить ясли. Такое их постановление.

— Я им покажу «постановление»... Эй, женщины, дамочки, гражданки, мамыши, одним словом! — тщетно взывает Зворыкин в открытую дверь приемной.

А Махарадзе смеется, смеется весело, заразительно.

— Нехорошо получается, товарищ Зворыкин, — говорит он сквозь смех. — Ты и с такой простой задачей не справился. — Нодар склонился над младенцами. — Ну а как тебе доверить судьбу всего советского автомобилестроения?

— Товарищ Нодар... Пташкин!.. Что ж ты Пташкин!

— Здесь я Пташкин...

— Поди, скажи... будут им ясли... слышишь, Пташкин?

Помощник мгновенно исчезает.

— Так вот, дорогой, — уже серьезно говорит Махарадзе, — докажешь, что наш грузовик лучше, выносливее, проходимее всех этих, как ты изволил выразиться, «фордов», «ситроенов», и начнется советское автомобилестроение с большой буквы.

— Это как понимать, товарищ Нодар?

— А вот так: путь к реконструкции завода лежит через большой международный автопробег!..

...Квартира Зворыкиных. Поздний вечер. Саня с заметно округлившимся станом строчит на швейной машинке. Зворыкин за стаканом остывшего чая изучает по карте маршрут предстоящего пробега.

Саня отложила работу и подошла к Зворыкину.

— Куртку ушила, остались брюки. Давай померим. — Она запетлила Зворыкина клеенчатым сантиметром. — Ну и талия у тебя! Как у чахоточной девицы в последнюю весну.

— А я и думал, что это последняя моя весна, — отозвался Зворыкин. — И не только моя... Не щекотись! Мы так вкалывали, что где уж тут тело сохранить. Зато у тебя талия что надо! — произнес он с искренним восхищением.

— Да будет тебе! — смутилась Саня.

— Не балуйся тут без меня. Доноси Володьку по высшему классу.

— Во-первых, не Володьку, а Ниночку, а во-вторых...

— Я что сказал?! — загремел Зворыкин. — На кой мне твоя Ниночка?.. Мне парень нужен, наследник моих дум!.. Инженер-автомобилист... потомственный мировой гонщик, мой первый друг и товарищ! Чтоб пивка с ним холодного попить, в бане попариться, о машинах поспорить.

— А мне нужна дочка, — упрямо сказала Саня. — Хочется, чтоб рядом нежное было. Устала я от тебя, от братьев твоих и всех друзей-приятелей. То вы ругаетесь, как ломовые, то водку жрете, храпите по ночам, а утром прокашляться от табачища не можете, и вечно у вас дела... Мне Ниночку хочется, тихую, ласковую.

— Знаешь, я как вернусь с пробега, все по-другому пойдет... Я нежным буду, ласковым, как телок... Очищу живую речь. Водку изгоню. Только сухие кавказские вина и... кофейный ликер. Но и ты постарайся, сделай мне Володьку.

— Девушка тоже может стать инженером и даже гонщицей, и чем хочешь. А пиво нынешние молодницы не хуже мужиков хлещут. Вот только в баню ты с ней не сходишь, так для этого Степа Рузаев существует...

— А давай так: сразу парня и девочку! — осенило Зворыкина. — У тебя получится!

— Я попробую, Алеша... Слушай, а ты за пробег не опасешься? Ну как провалитесь?

— Нет! — твердо сказал Зворыкин. — Не можем провалиться... Я когда от Форда уходил, устроил он междусобойчик, по-ихнему коктейль, и тост за меня поднял, за советского, мол, Форда. Я, конечно, отвечаю, что мне далеко до этого высшего в автомобильном мире звания, но мы отблагодарим за учебу тем, что построим грузовик лучше фордовского. Он усмехнулся — старик умнейший: «Когда говорит, русские чего сделают: ваксу или ночной горшок, или там сеялку, — они тут же объявляют это лучшим в мире. Сделайте просто хороший грузовик, чтоб по земле катился, этого достаточно!». И вот тогда дал я себе клятву в душе: воткнуть Форду, доказать, что не швырнулся я словами... Нет, Саня, мы не имеем права провалиться...

— Откуда у тебя, замоскворецкого парня, такая помешанность на автомобиле?

— Я, еще когда мальчишкой был, ни одной машины пропустить не мог. Мы возле дороги на Царицыно жили, а богачи ездили туда на травку. Представляешь, идет такая вот «какета», синим дымом плюется, за рулем шофер усатый, в перчатках с крагами, жмет резиновую грушу, а у меня сердце заходится. Все бы, кажись, отдал, чтоб эту клизму нажать. А в башке стучит: ничего, мы вас еще ссадим и сами прокатимся. Я к революции, можно сказать, через автомобиль пришел, ей-богу!.. — Зворыкин засмеялся, но вдруг лицо его стало серьезным и озабоченным. — Сань, знаешь, ты не ходи завтра на проводы. Не ровен час, затолкают. Народищу поднапрет — будь здоров, еще повредят наших Володьку с Нинкой. Я тогда с горя помру или, того хуже, пробег сорву. Давай лучше здесь прощаемся.

— Алеша, мне нельзя прощаться.

— Да мы аккуратненько...

...Автозаводцы провожают своих товарищей в трудный, долгий поход. Даже при беглом взгляде видно, как разительно изменился облик толпы: люди одеты чисто, справ-

но, даже нарядно. Колышутся флаги стран, участвующих в пробеге. Играет военный оркестр.

Зворыкин пробирается к трибуне, его останавливает инженер Марков. Он выглядит причудливо: на нем клетчатые галифе с кожаным межколеньем для верховой езды, краги и кепи с очками-консервами.

— Или вы берете меня в пробег, — говорит Марков, — или я подаю заявление об уходе.

— В пустыне и так хватает песка, Марков, — небрежно отозвался Зворыкин.

— Вы не научились уважать людей, с которыми работаете, — горько сказал старый инженер.

— Вы думаете?.. Кстати, Махарадзе завел со мной разговор о кандидатуре на пост главного инженера реконструированного завода...

— Ну а вы? — побледнел Марков.

— А я сказал, что главный инженер у нас уже есть.

— Кто же это, позвольте спросить?

— Нудный, вздорный и въедливый старикашка Марков... — И, оставив радостно ошеломленного инженера, Зворыкин прошел на трибуну.

Оглядев знакомые, родные лица, Зворыкин начал тихо, совсем не по-ораторски:

— Ну, что сказать в эти последние минуты?.. Может, лучше просто помолчать, по русскому обычаю. Благодарить нам друг друга незачем. И те, кто уезжают, и те, кто остаются, вкалывали поровну. И там мы тоже все вместе будем. До свидания, товарищи, до встречи. Вернемся и начнем по-современному автомобили строить — по тридцать, сорок штук в месяц!.. — Зворыкин закончил с подъемом, но реакция совсем не та, на которую он рассчитывал.

— Мало! — крикнул из толпы Сухарик.

И вся толпа как взорвалась:

— Мало!..

— Неча было огород городить!..

— Ма-ло!..

— Даешь сто машин!..

— То есть как это — мало? — растерянно произнес Зворыкин. — Нам сверху план спускают.

— А мы встречный двинем! — опять крикнул Сухарик.

И толпа дружно поддержала:

— Даешь встречный!..

— Ну надо же, как зазнались! — сказал Зворыкин улыбающемуся Махарадзе.

Из-за корпуса какого-то грузовика нежно и гордо глядели на него глаза Сани, нарушившей мужнин запрет...

...Парит в небе на неподвижных крыльях каюк. Он кажется подвешенным на незримой нити. Ушастый еж выбежал на спекшийся блин такыра, замер, будто к чему-то прислушиваясь, и юркнул прочь. Краем гигантского, покрытого белой солью озера тянется караван машин.

Колесо автомашины прокладывает след по хрупкому соляному покрову, а вдалеке, плавно покачиваясь, тянется цепочка верблюдов.

Палящая жара, всепроникающая песчаная пыль, жажда наложили отпечаток на участников пробега: смуглых курчавых итальянцев, французов в беретах, англичан в тропических шлемах, рослых американцев в широкополых стетсонах, русских в картузах и косоворотках... Лица обгорели и подсушились. Н ключицах — следы ожогов, носы заклеены бумажкой, волосы выгорели, побурели. Но все это не способно омрачить настроение участников пробега. В машинах поют песни, играют на гитарах, баянах, губных гармошках.

Тянется, растворяясь у горизонта, караван машин...

Вот машины остановились у сухого колодца. Нестерпимо палит солнце.

Зворыкин объясняется с двумя толмачами-проводниками. Один из проводников ухватил горсть песку и ссыпал его в ладони, старается уловить направление ветра. Получив ответ, Зворыкин достал ракетницу и дал сигнал к движению в нужном направлении.

...И снова идут машины. Сбоку от колонны притормозила машина Зворыкина. Он достал бинокль, оглядел местность.

В бинокль видны два разрушенных саманных домика с края такыра, а перед ними — колодец. Зворыкин снова достал ракетницу и дал направление колонне.

Машины, взревев, круто развернулись в указанном направлении и, не нарушая строя, ринулись к долгожданному колодецу.

Машины останавливаются возле двух сломанных домиков, и люди, размахивая ведрами и фляжками, бегут к колодецу. Перед ними — мертвый, засыпанный песком водоем. На всех языках звучат возгласы разочарования, на русском — мат.

Зворыкин дает распоряжение: раздать водителям из НЗ по полфляги питьевой воды.

— Привет, — послышался в это время голос. Зворыкин обернулся.

Из низкой двери саманного домика вышел Кныш, одетый в белую, но сильно запачканную одежду.

— Кныш?.. Какими судьбами?..

— Вот видишь — встречаю вас цветами и поцелуями, — он устало улыбнулся, — трое суток не слезал с верблюда...

Видя недоумение Зворыкина, Кныш отвел его подальше от людей...

— Назначен к тебе в помощь.

Зворыкин удивленно вскинул брови.

— Не ты один учился, — добродушно сказал Кныш. — Я промакадемию закончил... Поступил в ВСНХ... Ну а в Москве, сам знаешь, автопробегу придается огромное значение.

— Ладно, — сказал Зворыкин, — будем работать.

В этот момент к нему подошел, яростно жестикулируя, французский водитель. Оказывается, у него выкипела вода в радиаторе, о чем сообщает Зворыкину переводчик.

— Огнев! — окликает Зворыкин одного из наших водителей, собиравшегося залить воды в свой грузовик из брезентового ведерка. — Отдай воду мусью!

— А как же я? — огорченно говорит Огнев. — У меня тоже хана.

— Наверное, француз сам виноват, — вмешался Кныш, — почему он не обратился вовремя за техпомощью?

— Отдай воду, — даже не взглянув на Кныша, говорит Зворыкин Огневу, — и зови ребят. Знаешь, как пионеры костры тушат? Сейчас мы заправим твою машину из личных запасов.

Француз удаляется с ведерком.

А у нашего грузовика со смехом собираются водители, чтобы пополнить недостаток воды в охлаждающей системе за счет «внутренних» запасов. Слышится чей-то веселый голос:

— Директора без очереди!

Зворыкин пробирается к радиатору и влезает на бампер..

И снова пески, пески, пески...

Тянется караван машин, но одна машина уже идет на буксире.

Колонна достигла привала — затерявшегося в песках селения. Техники занимаются осмотром и ремонтом машин, шоферы моются, бреются, пьют воду и мутное пиво. Перебрасываются шутками с местными жителями.

С каменистого холма всадники в косматых шапках недобро следят за участниками пробега.

В одной группе, где находятся несколько наших, а также итальянских и французских водителей, техник Сухарик с помощью переводчика рассказывает об ужасах пустыни:

— Это еще вопрос: кто хуже — фаланга или скорпион! У обоих укусы смертельны!

Толмач тут же переводит эти полезные сведения иностранным водителям. На лице маленького итальянца неподдельный ужас.

— Я лично больше уважаю скорпиона, — продолжает Сухарик, — он хоть не прыгает. А фаланга, сволочь, на метр сизает. Присядешь на койку, а она тебе в морду вцепится...

— А много здесь этой нечисти? — через переводчика спрашивает итальянец.

— Хоть завались, — мрачно отвечает Сухарик. — Тут спать надо вполглаза. А то еще змеи или эти... сколопендры...

— Санта Мария! — осеняет себя крестным знаменем итальянец...

В другой группе два американских водителя в компании с русским коллегой Вараксиным угощаются из плоской фляги чем-то явно покрепче пива.

— Совет машин — вери гуд!.. — говорит американец, отпевая из фляги и передает ее Вараксину.

Тот подтверждает это энергичным глотком, и фляга следует дальше.

— Форд — вери гуд!.. — говорит Вараксин, и церемония с флягой повторяется...

У входа в палатку Зворыкин с наслаждением намыливает голову. Подходит Рубинчик.

— Сообщаю счет, — говорит он веселым голосом, — три-два, правда, все еще не в нашу пользу.

— А что случилось? — спросил Кныш.

— Выбыла итальянская команда. Наши хлопцы немножко рассказали о пустыне, о ее фауне, так сказать, о змейках, скорпиончиках и прочих зверушках... Ну, Бенито сообразил, что все это не оговорено в его контракте с «Фиатом» и он может без ущерба вернуться к цивилизации.

Кныш презрительно усмехнулся и щелчком отбросил папиросу.

— Ты ребят подначил? — спросил Зворыкин.

— Брось!.. Я так мелко не плаваю. Но скажу тебе прямо: плакать не стану...

— Странный ты, Кныш...

— Это ты странный! Для тебя пробег — все, а со стороны — ты вроде мечтаешь, чтобы тебе воткнули перо. Воду — иностранцам, запчасти — все в первую очередь иностранцам. На кой черт тебе это надо?

— Я хочу честной игры, не из пижонства. Но мы должны знать, чего стоит наш грузовик по сравнению с лучшими иномарками, имеем ли мы право ставить его на конвейер или он требует доработки.

— Тогда надо было организовать пробег на испытание, а ты сам превратил его в гонки. Тут уже не техника, а политика... Вся страна, естественно, ждет, чтобы победили мы. Сам понимаешь — престиж родины.

— Не пугай меня громкими словами, Кныш. Мы верим в нашу машину.

— Тем не менее пустыня едва началась, а мы лишились трех машин против двух их. У тебя большие цели, Алексей, и нечего исходить розовыми соплями.

— Большие цели должны достигаться чистыми средствами, на том стояли и будем стоять, Кныш!..

Машины идут по самой глубинной части пустыни. Только изредка пройдет караван верблюдов, и снова мертвые пески...

Машины вязнут в песках, набирают скорость на солончаках.

Зной, какая-то стонущая пустота вокруг; обесцвеченное небо; лишь изредка напоминая о том, что в мире есть жизнь, мелькнет пыльный куст саксаула, проскользнет песчаный удав или черной дырой в небе возникнет ворон пустынный. Иногда попадаетея путникам полузасыпанный след верблюжьего каравана. Упрямо ползут машины — маленькие металлические жуки — по бескрайним пескам. Их ведут усталые люди с воспаленными красными глазами, стертymi до крови ладонями, обожженными лицами, запекшимися от жажды ртами.

Ведут с тем деловым, не играющим в героизм упорством, с каким человечество вершит свои лучшие дела на земле, в небесах и на море...

Горизонт подернуло темной наволочью. Зашевелился песок, будто очнулось от забытья огромное тело пустыни, задышало, задрожало, напряглось. Темнеет вокрут, темнеет небо. Солнце становится серебристым пятаком, на который можно глядеть без защитных очков: его лучи ампутированы мутной пеленой, овладевшей простором.

Первая волна песчаной бури хлестнула по лобовым стеклам грузовиков. Стемнело, как при полном затмении солнца. Водители включили фары, но свет бессилён пронизать плотную толщу песчаного мрака.

И вот сквозь эту непроглядь призрачно и вместе с тем убийственно реально видно, как один из грузовиков с заглушим мотором стремительно превращается в песчаный холм. А вслед за тем и другой застрявший грузовик заносит песком. Эти погребенные под песком машины кажутся барханами.

Колонна стала. Забегали люди. За воем бури не слышно голосов, и лишь промелькивают в желтом мраке беспомощные фигурки.

— Стоять нельзя! Стоять плохо. Засыпет песком, — говорит проводник.

А затем из тонущей тьмы доносится сорванный голос Зворыкина:

— Вперед!.. Вперед!.. Не останавливаться!.. Это гибель!.. Вперед!..

Двинулись дальше тусклые огоньки фар, неспособные пронизать злобный кавардак, воцарившийся в природе.

Но вот солнечный диск очистился от песчаной мути, буря улеглась, и только два холма с очертаниями грузовых машин напоминали о недавнем. Еще две машины вышли из пробега.

Колонна грузовиков добралась до горного плато Усть-Урт. Машины «отдыхают», укрывшись под гигантской высоты отвесной стеной. Из радиаторов вырывается пар. В моторах выкипела вода.

Около одной из машин — Рузаев. Он изменился к лучшему: поздоровел, подсушился, глаза живые, ясные. Он лежит на спине, глядя в синеву неба.

Подошел Зворыкин. Он обменивается рукопожатием со старым другом.

— Не скучаешь? — спросил Зворыкин.

— Нет... С мыслями не скучно.

— Это о чем же твои мысли?

— О многом. О нас с тобой, например. — Рузаев добро улыбается. — Все-таки дружба — сила!.. Как хорошо, что ты меня сюда взял. Все дерьмо с меня, как потоком, смыло... Знаешь, Алеха, я учиться пойду!

— Да брось ты?! — Зворыкин растроган признанием Рузаева, но скрывает это.

— Точно! Небось не всю память пропил, да и котелок малость варит, я еще тебя обгоню.

— Валяй! — Зворыкин толкает Рузаева в плечо, тот отвечает ему толчком, оба радостно хохочут, как в прошлые боевые годы.

Зворыкин достает карту.

— Нужна вода! — говорит Рузаеву. — Проводники покажут ближайший колодец.

В один из грузовиков загружают бочки и канистры, водитель тщательно закрывает борта, и Рузаев с шофером отправляются за водой.

Участники пробега находятся на пределе усталости. Они выливают из фляжек последние капли воды, ловя их потрескавшимися, пересохшими губами. Лица черны, кожа вокруг глаз высохла, истончилась. Но американский водитель Джой не хочет сдаваться. С осоловелым видом он бренчит на банджо что-то напоминающее популярную «Кукарачу».

Зворыкин услышал хорошо знакомую со времен учебы на Фордовском заводе мелодию. Он подошел, стал прихлопывать в ладоши, подыгрывая Джою. Американец заиграл веселее, крепче. На «Кукарачу» сходятся шоферы: русские, американцы, французы. Каланча стал притопывать. Сухарик защелкал пальцами, словно кастаньетами.

Грузовик Рузаева подкатил к колодезю. Рузаев выпрыгнул из кузова, хотел откинуть задний борт, и тут раздался выстрел.

Из-за бархана выглядывают узкие, дьявольские глаза, прячущиеся под мохнатой бараньей шапкой.

— Басмачи! — гаркнул водитель грузовика и рванул с места.

Рузаев перевалился в кузов, выхватил револьвер. Грузовик помчался прочь, а наперерез ему выскакивают на маленьких лошадаках всадники и ведут огонь по кабине и кузову.

Звучно ухают, перекатываясь, пустые бочки. Рузаев стреляет из револьвера по басмачам. Один из них вылетел из седла, но запутался ногой в стремя, и лошадь потащила его по песку...

Шоферы поют и пляшут под бешеную мелодию «Кукарачи». Зворыкин топчет твердую лепешку такыра сапогами.

Одни пляшут умело, с вывертом, другие импровизируют что-то странное, диковатое. Но все словно состязаются в мрачной лихости, в какой-то гордой отчаянности...

Мчится грузовик Рузаева. Все большее число всадников участвуют в погоне. Рузаев отстреливается до последнего патрона. Он сумел свалить еще одного преследователя, но кончились пули в барабане.

И тут один из басмачей, заскочив сбоку, прострелил бензобак. Вспыхнувшее пламя охватило машину...

...Пляшут люди. Отчаянно гремит «Кукарача».

Мчится по песку охваченная пламенем машина.

Пляшут люди... И вдруг с высоченного обрыва сорвался пылающий грузовик, ударился оземь.

Оборвалась «Кукарача».

— Рузаев! Степа! — вскричал Зворыкин и кинулся к машине.

Раздался взрыв, и грузовик исчез в столбе огня и дыма. А на краю обрыва заплясали басмаческие кони.

Кныш бросился к своему грузовику, достал из ящика легкий пулемет, ленты и, отобрав несколько человек, побежал к кабине. Оглядевшись, он не нашел водителя.

Он распахнул дверцу машины и тут увидел сладко похрапывающего во сне шофера Вараксина.

Кныш тряхнул его за плечо, приказал:

— Дыхни!

Парень дыхнул.

— Все ясно — пьян как свинья!

— Гражданин начальник, да я только пивка с американцами за дружбу пригубил!

— До окончания пробега будешь считаться под арестом, — решил Кныш...

Место Вараксина занял другой водитель, и машина Кныша рванулась в сторону боя.

К Зворыкину подбежал долговязый американец.

— Что случилось? — спросил он.

Зворыкин отмахнулся. Снова в отдалении гремят выстрелы. Джой выразительно щелкает языком. Он подходит к своей машине, достает винчестер и залезает в машину.

Зворыкин пытается извлечь его наружу, но Джой решительно отстраняет командира пробега и мчится в сторону перестрелки, а следом за ним устремляется и Зворыкин.

Укрывшись за барханами, за краем такыра, басмачи ведут огонь по машинам.

Подкатил грузовик Кныша, развернулся, и заработал пулемет.

У басмачей появились раненые, их оттаскивают за барханы.

Пули пробили баллоны, и грузовик Кныша остановился. Группа басмачей пытается зайти в тыл Кнышу.

Темнота и барханы облегчают их задачу. Но когда они уже достигли такыра, к месту боя подоспели Зворыкин с Джоем и стали на ходу обстреливать басмачей.

Басмачей преследуют до колодца, и здесь они скрываются, перекинув своих убитых и раненых через седла.

Первым достиг колодца Джой. За ним появились машины Зворыкина и Кныша. Джой пьет воду из брезентового ведерка, вода льется ему на лицо, на шею, за пазуху.

— Непростительное мальчишество! — накинулся Кныш на Зворыкина.

— Вот не знал, что ты меня так нежно любишь! — усмехнулся Зворыкин.

— Я отвечаю за тебя перед товарищем Сталиным, — сказал Кныш...

Могильный холм, обгорелый радиатор и дощечка: «Степан Рузаев, матрос революции».

Зворыкин упал на колени.

— Вот ты и обогнал меня, Степа...

Все подняли вверх оружие, грянул прощальный залп...

Зворыкин пьет чай в юрте.

Входит Кныш.

— Дело дрянь, — говорит он, — продолжать пробег могут только пять машин: две наших, два «Форда» и «Ситроен».

— А остальные? — спрашивает Зворыкин.

— Часть осталась в пустыне, часть нуждается в серьезном ремонте.

— Пей чай. — Зворыкин подвигает ему чайник.

— Не хочу.

— Значит, будем загорать?

— Нет. Приказано финишировать отдельно. — Он положил перед Зворыкиным телеграмму.

— Раздельно так раздельно.

— Не слишком ли ты спокоен?

— Самое трудное осталось позади, наши машины прекрасно себя показали...

— Мы понесли серьезные потери, пустая случайность — их уже было достаточно, — и наши грузовики не дотянут до финиша. Ты представляешь, что тогда будет? За пробегом следят руководители партии и правительства.

— Хватит паниковать-то!

— Я не паникую, но мы не имеем права на неудачу! — резко оборвал Кныш. — Мы не такие люди, чтобы проигрывать!..

Вдалеке тоскливо завыл шакал.

...Поселок с парой саманных домиков и несколькими юртами. Кныш идет по поселку и приближается к сложенному из камней очагу, возле которого возится с котелками в руках подвергнутый домашнему аресту водитель Вараксин. При виде Кныша Вараксин оставляет котелок и, вскочив, вытягивается в струну...

— Слушай, Вараксин, ты за что сидел?

— Кто сидел? — заморгал глазами «арестованный».

— Брось! Ты же меня «гражданином начальником» назвал. Ну, говори: воровство, грабеж?..

— Да нет! Молодой был, глупый...

— А сейчас ты старый и умный? Рецидивист ты, Вараксин, я за тебя полушки не дам!

И Кныш двинулся дальше.

И, опять идут машины по пескам Каракумов.

Пять машин...

Четыре машины...

Три машины...

Две машины...

И вот на привале эти машины — советская и «Форд». Ночь. Над печальной тьмой пустыни плывет тощей новорожденный месяц. Он почти не дает света, лишь заставляет слабо взблескивать металлические детали грузовиков.

В палатке — Кныш и Зворыкин. Кныш все время, морщась, хватается за голову.

— Что произошло с «Ситроеном»? — задумчиво говорит Зворыкин. — Вышел вроде исправным и развалился не поймешь с чего...

Кныш подошел к ведру, зачерпнул воды, смочил голову.

— Ребята болтают, тут дело не чисто... — начал Зворыкин.

— Кто болтает? — вскинулся Кныш. — За такую болтовню — к стенке!

— Странная штука — время, — задумчиво проговорил Зворыкин. — Мне с годами людей все жалче... Не жалче, конечно, но ты сам понимаешь... А в тебе все больше злости...

— Ты размяк, Алексей, как дерьмо в оттепель. — Кныш снова сжимает голову. — Помнишь старинную русскую былинку? Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович тьму-тьмущую врагов истребили на рубеже родины. А на место каждого убитого басурмана вставляли двое живых, они и тех порубили, а врагов вдвое больше стало... Смекаешь? Так вот и у нас: враги повсюду, доверять никому нельзя.

— Знаешь, Кныш, — со злой убежденностью говорит Зворыкин, — по-моему, все дело в том, что тебя бабы не хотели.

Кныша передернуло, но усилием воли он справился с собой.

— А мне это не нужно... — сказал он тихо. — Я однолюб. Не вышло — и все, можно жить и без такого счастья, когда служишь большому делу.

Он опять подходит к ведерку и смачивает голову.

— Что с тобой? — спросил Зворыкин.

— Басмаческая пуля на излете...

Он садится на койку, продолжая сжимать голову руками.

— Нечего на рожон лезть... — ворчливо говорит Зворыкин.

— За тебя ж, чертушку, боялся...

— Отчего такое? — задумчиво произнес Зворыкин. — Вечно ты у меня под ногами путаешься!

— А потому, что где есть Зворыкин, должен быть и Кныш. Чтоб не растекались слюнями сила и гнев революции.

— Брось, Кныш, говорить от лица революции. Не надо... Зворыкин усмехнулся и вышел из палатки.

В темноте промелькнула какая-то фигура.

Человек наклонился над фордовским грузовиком, с тихим щелчком открыл капот, и тут кто-то кинулся на него сзади. Человек вырвался и наугад ударил нападающего в лицо. Ответный удар отбросил его к машине, он приложился головой об радиатор и на миг потерял сознание. Но когда противник склонился над ним, он пнул его ногой в живот и вскочил.

Затем они дрались в полной тьме, грузовик отрезал их от слабого света месяца, только слышался тяжелый топот, свистящее дыхание да резкий, как в мясной лавке, хряск ударов. Потом был короткий стон, хрип, и один из дерущихся упал и откатился за границу густой тени. Поверженный открыл глаза, приподнялся, высморкал кровь из носа и поглядел на своего противника, сидящего на ступеньке грузовика. Он увидел разорванную в клочья рубашку, запекшуюся струйку крови в углу рта, увидел крупное и резкое лицо Зворыкина.

— Алексей Петрович! — проговорил он с ужасом.

— Тебя Кныш заставил? — спросил Зворыкин.

— Нет, я сам...

— Ври больше!

— Да чего врать-то!.. Не видите, как он дрейфит?

— Не крути, Вараксин.

— Правда! Зверски дрейфит, что нас обойдут. Ну, я и решил ему услужить.

— Зачем тебе это надо?

— Боялся, как бы из-под домашнего ареста в тюрьму не угодить. Что другому сойдет, мне не в жисть. Я досрочно освобожденный.

— Ладно, пошли!

— А что мне будет?

— Не бойся, Вараксин, за мной не пропадет...

...Утро. Машины готовятся в путь. Шоферы подливают воду и масло, обстукивают каблуками шины. Появляется Зворыкин.

— Джой! — кричит он американцу-водителю. — Хотите пари?

Кныш прислушивается к их разговору.

— Пари — о'кей! — соглашается долговязый Джой.

— Ставлю свои часы против бутылки «Белой лошади», что я финиширую первым.

Джой энергично затряс головой.

— Нет, я! — И он тычет себя пальцем в грудь.

Кныш чуть приметно усмехается.

— По коням! — командует Зворыкин. — Одну минуту, товарищ Кныш, вы останетесь здесь до прибытия отставших участников, чтобы финишировать общей группой. — И, предупреждая возражения, серьезно добавил: — Это приказ, товарищ Кныш... Механиком со мной поедет Вараксин.

Кныш тихо, но жестко:

— Постой, так не пойдет!

— Пойдет! — с не меньшей жесткостью сказал Зворыкин. — Сейчас решающий этап, а ты слишком плохо действуешь на окружающих, на меня в том числе.

— Ладно... — процедил Кныш сквозь зубы. — Еще не вечер. Поговорим в Москве.

Стараясь не встречаться взглядом с Кнышем, Вараксин забрался в грузовик Зворыкина, тот сел за баранку и, высунувшись в окошко, крикнул:

— Джой, все в порядке?

В ответ донеслось:

— О'кей!..

Взревели моторы. Кныш смотрит, как тронулся грузовик Зворыкина, за ним грузовик американца; кажется, он все еще на что-то рассчитывает. Но грузовики, вздымая пыль, устремились вперед, и Кныш до крови закусил губы...

Мчатся два грузовика: вначале по солончаку, потом по дороге, проложенной в песках, затем по грейдерному шоссе. Меняется пейзаж, меняется и население пустыни. Все чаще попадаются заросли песчаной акации, кое-где травяные луга появились и на них овцы. Мечутся под самыми колесами суслики, в небе заливаются жаворонки, славки.

Мы видим поочередно то лицо Джоя и вцепившиеся в баранку пальцы, то лицо и сильные руки Алексея Зворыкина.

Мы видим эту странную гонку в пустыне то с высоты парящего в небе жаворонка, то как бы сторожким глазом джейрана, на миг возникшего за барханом, то с малой высоты пучеглазого варана. И соответственно меняется для нас скорость движения грузовика: малая — когда сверху, с высоты, большая — когда с боку, ошеломляющая — когда снизу, почти от колес. И в этом объективный смысл скорости, всегда относительной, ведь для нас машины тех лет — тихоходы, а тогда они назывались «молниями».

Эта гонка длится очень долго, солнце успевает подняться в зенит, уничтожив и без того скудные тени; слепящее, беспощадное, всепроникающее солнце делает для водителей непереносимым напряжение дороги. Они затеяли свой спор почти в шутку — во всяком случае, для американца, — но сейчас каждому из них трудно и плохо, а упорство и мнимая бодрость соперника злят, превращают спор в судьбу, рок. Пот градом течет с водителей, ест глаза, солью проступает на воротах рубах, под мышками, на спине и

груди. Тепловатая вода из фляжек уже не в силах погасить внутренний пожар. Едва размыкаются запекшиеся губы. И странным было своей отрешенностью, своей «нездешностью» лицо Вараксина, словно наклеенное на бессильно мотающуюся по спинке сиденья голову.

Пока позволяла дорога, вернее, отсутствие ее, грузовики поочередно обгоняли один другого, а когда началось грейдерное шоссе, вперед вырвался «Форд». Зворыкин повис у него на колесах, не давая увеличить преимущество.

Джой вначале частенько оборачивается, чтобы определить, насколько он ушел от соперника, но, поняв, что тот его не отпустит, стал смотреть только вперед, на серебристо мерцающее покрытие дороги. Что-то странное творилось с ним: ему казалось, что дорога то ослепительно и противоестественно светлеет, то меркнет, накрывая черным лучом; когда же черное распадалось, причудливые островерхие здания ис­таивали в воздухе и мир опять погружался в странную бездну. Внезапно Джой вскрикнул и откинулся на сиденье. Но и теряя сознание, он с профессиональной привычкой нажал на тормоз. Его механик перехватил руль, скинул скорость, и машина, вильнув с дороги, круто стала.

Подбежал Зворыкин. Он дал Джойю понюхать нашатыря, влил ему в стиснутые зубы несколько капель виски из фляги, потом стал прикладывать мокрую тряпку к затылку, лбу и груди. Джой открыл глаза.

— ...Солнце, шок... Капут! — пробормотал он.

— А ваш механик может вести машину?

— Механик хорош. Шофер — барахло. — Джой не без удовольствия произнес трудное русское слово. — Пари ваше!..

— Нет, — сказал Зворыкин, — спор ведут машины, а не люди...

Он быстро отошел к своему грузовику.

— Поведешь «Форд», — сказал он Вараксину. — Придешь первым к финишу — ступай к черту!..

Лицо Вараксина проснулось, зажило надеждой, радостью, сомнениями, подозрением и опять надеждой.

— Честное слово коммуниста! — сказал Зворыкин.

Вараксин выпрыгнул из машины.

— Он поведет, — сказал Зворыкин Джюю, — это не барахло!..

Механик Джюя пересел к Зворыкину, и начался последний этап гонок.

Машины вскоре оказались на асфальтовом шоссе, ведущем к городу.

Грузовики на огромных скоростях обходят верблюдов и осликов, груженных всякой всячиной, разъезжаются с неуклюжими арабами, стремительно обгоняют другие машины.

Джюй хорошо, по-спортивному вел гонку, он просто хотел выиграть пари, а Вараксину надо выиграть свободу, и он выжмет из машины больше, чем Джюй.

Свобода или неволя... И Вараксин, едва не завалив грузовик набок, обходит Зворыкина.

Свобода или неволя... И он мчится под уклон шоссе, забыв о тормозах...

Свобода или неволя... И он сворачивает так круто, что грузовик едва не выбросило с дороги...

— О'кей!.. О'кей!.. — шепчет Джюй с удивлением и азартом.

Но Зворыкин не думает уступать. Ведь это минута, о которой он мечтал всю жизнь: поспорить на равных с лучшей американской автомашиной. Та минута, которая решит будущее советского автомобилестроения — рванется ли оно бурно вперед или будет плестись в хвосте других промышленных отраслей. Но есть и еще что-то над всеми высокими соображениями двух людей, сжимающих баранки: самозабвенность до конца претворяющих себя в движении душ.

Спор идет по-русски, и это смутно чувствует восхищенный и слегка сбитый с толку Джюй. Вараксин уже не помнит, что его приз — свобода, он весь отдался мужской борьбе.

Зворыкин забыл о больших и далеких целях, ему важно одно — победить.

И ни один из них не уступил в этом споре, сдался третий — фордовский грузовик. Уже вблизи от города он забарахлил, а на окраине, среди маленьких глинобитных домишек, зачихал, задержался и стал.

С бледным, грязным лицом, перекошенным отчаянием, Вараксин выскочил из машины и кинулся к мотору. Ему достаточно было одного взгляда. «Амба!» — произнес он и привалился к грузовику.

Подкатил Зворыкин, объехал их и резко затормозил.

— Чего загораешь?

— Все пропало, бобик сдох, — дергаясь лицом, сказал Вараксин, — подшипники расплавились.

— Тикай, — говорит Зворыкин.

Вараксин ошалело глядит на него.

— Ты сделал все что мог, это была честная игра. Тикай, тебя не станут искать.

Вараксин исчез. Механик успел закрепить буксирный трос. Зворыкин подошел к Джою и, сняв с руки часы, протянул ему.

— Нет, — замотал головой тот, — я проиграл.

— На память, как другу... — сказал Зворыкин.

Взревел перегруженный мотор, и побежали назад пыльные кусты акаций, стены домов.

Припал к рулю в последнем усилии Зворыкин. Лицо его черно и бледно, покрыто разводами масла и пеплом усталости и, как никогда, прекрасно..

Финиш. Бурлит взволнованная толпа. Покачиваются огромные тельпеки. Сверкают расшитые тюбетейки, белые панамы и кепки.

И вот в конце улицы появился грузовик, пыльный, наломанный чудовищной дорогой, стреляющий паром из перегретого нутра, вихляющий разболтанными колесами и величественный в этой своей неказистости, преодолевший тысячи страшных верст и доказавший всему миру, что советский автомобиль — есть!

Грузовик с другим грузовиком на буксире достиг финиша. Открылась дверца кабины, и на асфальт почти выпал худой, черный, страшный человек. Зворыкин отстранил кинувшихся к нему людей, прошел немного вперед и поцеловал грузовик в радиатор, упал на колени и поцеловал его в облысевшую шину, в порванное крыло, в лопнувший бампер. По лицу Зворыкина градом катятся слезы, оставляя за собой светлые ложбинки, дергаются под вылинявшей, порванной рубахой худые лопатки. Он рыдает, рыдает на глазах тысяч людей, всего города, всей страны, но ничего не может поделать с собой...

И мы оставляем Зворыкина у «ног» грузовика и снова с высоты птичьего полета видим огромную, пеструю толпу...

И просторы земли вокруг: мы видим лик нашей меняющейся от года к году страны с ее великими стройками, с ее плотинами, перекрывшими чистое тело рек.

Огромное колесо самосвала. Ковш крана обрушил в кузов руду. Заревев, самосвал рванулся с места.

Панорама открытого рудника. На уходящих в гору выступах породы краны загружают рудой тяжелые машины.

Самосвалы с рудой. Впереди дымит трубами огромный металлургический комбинат.

Огромная железобетонная конструкция перемычки.

На дамбу въезжают самосвалы с грузом. Дают задний ход к краю дамбы, и в воду летят бетонные болванки, камни.

Поднимаются вверх головки ракет. Замаскированные в заснеженных кустах машины с ракетными установками. Наводчики устанавливают угол прицела.

Парад военной техники на Красной площади. Машины... Машины...

По непролазной, заваленной стгнившими деревьями, еле намеченной просеке в тайге пробираются гусеничные тягачи с длинными трубами на прицепах.

Стрелы кранов пересекли небо. Идет погрузка наших грузовиков на иностранное судно.

С длинными цистернами по аэродрому снуют машины-бензозаправщики. Машина-тягач тащит к взлетной полосе огромный лайнер «ИЛ-62».

Взлетает самолет. И мы тоже с камерой поднимаемся вверх. Под нами с птичьего полета проплывает Москва.

Кольцевая дорога с бегущими по ней машинами.

Тайга со строящимся посреди лесного массива огромным комбинатом.

Северный Ледовитый океан с пробивающимся во льдах ледоколом.

Дымящиеся вулканы на побережье Тихого океана.

Каспий со своими нефтяными вышками.

Горы Кавказа с петляющими и мчащимися по ним машинами.

И вот голубое небо слилось с такой же голубизной моря. А между небом и морем сияет огромный шар солнца.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ДИРЕКТОР» (2 серии). «Мосфильм». 1970.

Автор сценария — Ю. Нагибин. *Режиссер-постановщик* — А. Салтыков. *Операторы*: Г. Цекавый, В. Якушев. *Художник* — С. Волков. *Композитор* — А. Эшпай. *Звукооператор* — В. Кирманбаум.

В ролях: Н. Губенко, С. Жгун, В. Седов, Б. Кудрявцев, А. Елисеев, Б. Закариадзе, В. Шиловский, А. Крыченков, Р. Даглиш, В. Березуцкая, В. Попова, Л. Иванова.

Ба́бье ца́рство

Титры идут на фоне яблоневых садов, изнемогающих под избытком золотистого груза, потом — садов, облетевших, голых. И на черную голизну ветвей мягко и густо ложится снег; ровная сияющая белизна накрыла купы деревьев, и вдруг оказывается, что это не снег, а весенний яблоневый цвет. Когда же кончаются титры, то радостный вид цветущих садов сменяется: ..пожарищем. Горят, гибнут в гигантском костре войны прекрасные суджанские сады.

Крестьянская изба-пятистенка. В чистой горнице немецкий солдат бреется перед зеркальцем, прислоненным к горшку с геранью. Другой солдат ставит пластинки на граммофон с большой трубой. Сквозь хрип и скрежет слышится сентиментальная немецкая песенка: «Tränen mit Tränen da fließen darnieder». Еще один солдат спит, отвернувшись к стенке, четвертый солдат притиснул в угол худенькую светловолосую девушку с тонким, тающим лицом и, заглядывая в записную книжку, обучается русскому языку.

— Mleko...

— Не так... — тихо говорит девушка. — На́до: молоко...

— Kurka, bulka, mjed...

— Не так... курица... булка... мед...

— Devotscka, davai!

Девушка молчит.

— Nuh?!

— Не знаю, — прошептала девушка.

— Schneller!*

* Быстрее! (нем.).

— Девочка, давай! — слышалось, как из-за края света.
— Davai, davai! — с хохотом немец хватает девушку за руки и тянет к себе.

Девушка сопротивляется. Тогда солдат грубо стягивает ее с лавки и тащит к лежанке.

— Schweinerei*! — в сердцах проговорил солдат, брившийся у зеркала. На худом интеллигентном лице — отращивание.

— Ich werde deiner Braut schreiben**, — добавил сентиментальный солдат.

— Das ist nur ein Schräzchen***! — оправдывается их приятель, но его набухшие кровью вѣски подсказывают, что это вовсе не шутка...

На призбе соседней избы сидят четыре женщины: старуха Комариха с лицом как печеное яблоко; средних лет, сухощавая, с кирпичным по смуглоте румянцем Анна Сергеевна; молодая Настеха, высокого роста, широкоскулая, дородная, с сонным обвалом век Надежда Петровна Крыченкова. Сейчас ее сильное лицо кажется не сонным даже, а будто закаменевшим.

Женщины, несмотря на теплый день ранней осени, одеты жарко, рвано и грязно: головы туго замотаны старыми платками, будто на току, когда реют хоботья и полова; драные ватники и длинные юбки с захлестанными подолами скрывают фигуру.

Разговаривая, они не глядят друг на дружку, а прямо перед собой. Из окна пролился бархатный рыдающий голос и смолк.

Комариха. У нас немец куды против всех тихий, уважливый...

* Свинство! (нем.).

** Я напишу твоей невесте (нем.).

*** Но это же шуточка! (нем.).

Сергеевна. В Коростельках опять четверых повесили: двух мужиков, бабу и малова...

Настеха. А у нас мода на конопляные воротники еще не завелась...

Комариха. Я ж и говорю: повезло на немца — мягкий, обходительный...

Из дома выходит сентиментальный солдат, на ходу расстегивая штаны. Не обращая внимания на женщин, начинает мочиться, силясь угодить за кювет. Преуспев в своей шалости и справив нужду, солдат с шумом пускает ветры и убегает по своим делам.

— Одно слово: правильный немец! — с чувством заключает старуха Комариха.

Вышел интеллигентный солдат. Вежливо кивнул женщинам, но не получил даже малого ответного приветов с их мгновенно омертвевших лиц. У солдата обиженно дрогнули губы, он быстро зашагал следом за товарищем.

Из дома раздался хилкий, будто мышинный писк, возглас страха и беспомощности. Что-то сдвинулось, упало, стеклянное разбилось.

Комариха. В Медакине гарнизон стоял... Шестерых баб забрюхатали. Трех дурной наградили...

Сергеевна. А у нас вроде никто еще не понес...

Настеха. А ты почему знаешь?

Комариха. Золотой нам достался немец!

Снова слышится жалкий, какой-то придушенный вскрик.

— Никак Дуняшу насилят?! — охнула Сергеевна.

— Ах, ироды, она ж дитя!.. — вздохнула Комариха.

— Беспременно руки на себя наложит! — сказала Сергеевна.

Настеха сжала челюсти, молчит.

— Она Кольки моего невеста... — проговорила Надежда Петровна.

— Пропади все пропадом! — горестно сказала Настеха.

В вырезе двери соседнего дома мелькнуло светлое платье Дуняши и скрылось — будто махнул кто белым плат-

ком, взывая о помощи. Видимо, немецкий солдат поймал ее за руку и втащил назад в избу.

Надежда Петровна вскочила.

— Ах, сволочи! — взрыднулось в ней.

Она хотела кинуться к дому, но Анна Сергеевна повисла на ней, а Комариха бросилась в ноги и уцепилась за ее подол.

— Сказилась?.. Пристрелят — и вся недолга!

— Пустите!.. Мочи нет!..

— Пропади все пропадом! — повторила Настеха.

Распахнулось окно, и в нем призрачно мелькнула фигурка Дуняши и скрылась.

Надежда Петровна рванулась и едва не высвободилась из цепких рук. Настеха встала. Она скинула с головы платок, и будто золотая пена вскипела над ее головой и рассыпалась по плечам. Она подпернула захлестанную юбку, и открылись сильные, стройные ноги; она сбросила грязный ватник и осталась в тонкой кофточке, обтягивающей грудь.

Из-под безобразной маскировочной оболочки возникла прекрасная молодая русская женщина. С высоко поднятой золотой головой Настеха проходит в дом.

Несколько секунд длится тишина, словно все умерло и в доме и вокруг него, затем на крыльцо выбежала Дуняша в порванном платишке и стремглав кинулась прочь.

Комариха. В Муханове солдатку с груднятами живьем в избе сожгли...

Сергеевна. В Нестерове бабе живот штыком прокололи...

Комариха. А у нас тишь да гладь, слышно, как ангелы летают. Нечего Бога гневить: повезло нам с немцем!..

Издали доносится музыка — видимо, другой музыкальный фриз завел граммофон, но сейчас мелодия браваурная, героическая, напоминающая победный марш.

По улице, всплутнув возившихся в пыли ребятишек, пробегают несколько солдат, деревенский староста, кряжистый мужик с рыжей, впроседь бородой, его хромой помощник и писарь. Они проходят, оставив после себя облако пыли, и

после короткой тишины слышится позвякивание уздечки, лязг железа и возникает причудливая фигура всадника.

На рослой, костлявой кляче с зашоренными глазами подпрыгивает, гремя старинным кованым щитом, медным тазом для варки варенья, нахлобученным на голову, длинным копьём и стременами, худой, длинный как жердь немецкий лейтенант. Острые, словно спицы, усы стоят торчком, белый взгляд устремлен в далекую пустоту.

— Каспа... тьфу! — плюнула Сергеевна.

— Не Каспа, а рыцарь Тонкий Ход! — поправила Комариха.

— Сейчас начнем чудить! — с тоской сказала Сергеевна, встала и, одернув подол, пошла прочь.

Комариха пожевала губами и тоже поплелась восвояси.

Скрылся и всадник, затем возник в отдалении на бугре, где чернеет ветряная мельница.

И вот ожили, задвигались крылья, пошли в свой круговой полет, и — копьё наперевес — устремился на «заколдованных великанов» спившийся до безумия немецкий лейтенант Ганс Каспар, он же «добрый рыцарь Дон Кихот». Ветряные мельницы ведут себя одинаково: мчится ли на них гидальго из Ламанчи или его убогий подражатель из состава вермахта — они ударяют всадника и коня своими крыльями и повергают наземь.

Издалека видно, как староста услужливо подает Каспе медный таз, его помощник — копьё, писарь — щит, а один из солдат подводит захромавшего Росинанта. И вновь Каспа берет разбег, и Надежда Петровна отворачивается, равнодушная к исходу поединка.

Выходит Настеха. Она пытается держаться независимо, свободно, но что-то ущербное проглядывает в ее повадке.

Она хотела что-то сказать и вдруг схватилась рукой за горло.

Ее отшатнуло к плетню. Надежда Петровна кинулась к Настехе, подставила ладонь под ее лоб. Будто судорога проходит по спине молодой женщины. Затем она повернула к

Надежде Петровне взмокшее, искаженное болью и отвращением лицо.

— Рвотно мне... Ох, Петровна, не по силам короб-то пришелся!..

— Не думай о том, Настеха, думай, что девчонку спасла..

Косо, быстро по щеке Настехи покатила слеза. Петровна обняла ее за плечи и повела за плетень в садишко, сбегающий к реке. Она садится под копенку сена и устраивает Настеху возле себя, голову ее кладет на колени. Настеха закрывает глаза и тут же с ужасом открывает.

Над деревней катится стон. Сквозь него — прерывисто грубый лай солдатских голосов, мужицкая матерная брань и браваурная мелодия героического марша.

— Ничего, ничего, — успокаивает Петровна Настеху, — нас здесь не найдут... не тронут..

Та вновь закрывает глаза, Петровна вынимает из пучка гребень и расчесывает золотые волосы Настехи..

К реке приближается странная процессия: толпа полураздетых женщин, которых гонят сюда староста со своими помощниками и деревенские старики. Первые гонят всерьез, а вторые лишь вскидывают руки, словно хозяйка, загоняющая кур на насест. Чуть поодаль с автоматами на шее медленно бредут немецкие солдаты. Позади же всех маячит на коне Каспа, ярко блестит на его голове медный таз.

Толпа женщин все ближе подходит к воде. В их глазах нет ни гнева, ни возмущения, ни стыда, только усталость и скука. Комариха, в длинной белой рубашке, похожей на саван, говорит Анне Сергеевне:

— В Лисовке баб зимой в проруби морозили, а сейчас теплынь, паутинка, вишь, порхает..

— Заткнись, надоела!..

У воды шествие остановилось.

— А ну, бабы, не задерживай, заходи!.. — орет староста, нажимая на баб. — Вперед, бабоньки, а то хуже будет!.. Шагай веселей!..

Немецкие солдаты безучастно глядят на эту сцену, только интеллигентный солдат отвернулся, ему, наверное, совестно.

Женщины входят в воду по щиколотку, затем по колено, по живот, по грудь. Некоторым уже приходится сучить руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности глубокой, омутистой реки.

— Веселей, веселей, бабоньки!.. — орет староста. — Живы будете — не помрете!.. Залазьте, гражданочки!.. Эй вы, мавры! — орет он на деревенских стариков. — Вам чего велено?.. Лютуйте, зверствуйте!.. Слышь, борода, озоруй над полонянками, не то хуже будет!..

— Кыш!.. Кыш!.. — слабым голосом кричит дед-садовник, размахивая руками.

— Вот мы вас!.. — подхватывают другие старики. — Кыш!.. Кыш!..

— Холодно, однако... — замечает Анна Сергеевна.

— У меня вовсе плеврит, — покашливая, отзывается ее соседка Софья.

— Хоть бы спасал скорее, ледящий черт! — в сердцах произнесла Анна Сергеевна.

Но спасение уже не за горами. Рыцарь Каспа, приподнявшись на стременах, окинул гневным взором загнанных маврами в бурный поток пленниц, опустил копьё и дал шпоры Росинанту.

— В Шестоперовке партизанскому связному крутой кипяток в горло лили... — завела Комариха, но ее голос потонул в победном шуме, поднятом Каспой.

Отважный рыцарь достиг реки и врубился в тотчас дрогнувшие ряды мавров. Он колет стариков острием копья, бьет по головам древком, давит конем. Старики, прикрывая руками лысины, обратились в бегство, только один упал и остался лежать на береговой кромке. Староста подошел, пнул его ногой, повернул на спину — это садовник.

— Помер? — спросил помощник.

— Отдышитесь, — равнодушно отозвался староста.

А Каспа, прокричав что-то ликующее, помчался прочь, и женщины вышли из реки.

— Бабы, слушай сюда! — закричал с бугра староста. — Приказ господина лейтенанта. В деревню прибыла наша старая барыня Игошева Татьяна Владимировна. Господин лейтенант объявляют их своей... — староста вынул из кармана порток записку, глянул в нее, — Дульсинеей и велят оказывать всякое почтение, а также робить на них по совести и умению. Всякого, кто ослушается, будут публично пороть на деревенской площади. А теперича разойдись!..

— Вот и поиграли, — заключила Комариха...

Поздний вечер. В небе горят звезды. Над притихшей деревней разносится дорогая каждому немецкому солдатскому сердцу песня «Вахт ам Рейн».

В курень отдышавшегося, как и предсказывал староста, деда-садовника набились бабы: здесь и Надежда Петровна, и Сергеевна, и Настеха, и спасенная ею Дуняша, и старая Комариха, и молодая Софья с плевритом, и многие другие.

— Дедушка, — просит Софья, — расскажи сказку.

— Сказку?.. Не умею.

— Умеешь! Помнишь, третьего дня сказывал?

— А-а!.. — улыбнулся старик. — Значит, так... В некотором царстве, в некотором государстве...

— Дальше, дедушка!..

— А ты не торопись. Воробьи торопились да маленькими уродились... Жили не короли с принцессами, а простые землешцы. Робили они в летнюю пору от зари до темна, после колодезной водой умывались и садились ужинать. Подавали им запеканку картофельную, или пшеник, или запущенку, огурчики, конечно, помидорчики, молока парного глечик да хлебушка ржаного или пшеничного каравай. Поснедав, выходили за порог. Старики сигарки смолили, старухи, коль зубы сохранились, подсолнухи лускали, а молодежь гуляла. Ходили улицей с гармонью, с мандолиной и разные песни играли, и веселые и грустные про любовь...

— Неужто правду все это было?! — воскликнула Софья.
— Это ж сказка, дура! — зло прикрикнула Настеха.
— Давайте, девки, споем! — попросила Софья.
— Тебе Каспа так споет!..
— А мы тихо... шепотом... Ну, давайте!.. — И шепотом она завела:

Средь полей широко-оких я, как лен, цвела!..

И шепотом подхватили женщины:

Жизнь моя отрадная, как река, текла.

Сблизив головы, поют без голоса:

В хороводах и кружках — всюду милый мой

Не сводил с меня очей, любовался мной...

Слезы в глазах девок, слезы в глазах баб, а снаружи над русским простором, под русскими звездами разносится «Вахт ам Рейн».

Напрягаясь, тащит плуг лошаденка. За плугом, прихрамывая, идет парень лет семнадцати, рыжеватый, скуластый, с веснушчатым седлом на переносье. Он уже хочет развернуть плуг, как вдруг замечает двух девушек, идущих по тропинке в сторону деревни. Сейчас девушки поравняются с ним.

— Тпру... закуривай!.. — баском говорит парень лошаденке, сворачивает плуг на бок, быстро и ладно выпрягает коня и, пустив его на траву, тянется за тавлинкой.

Он успевает свернуть папироску из табачной пыли и прикурить от кресала, когда подошли девушки. Это Дуняша и ее подруга — быстроглазая Химка. Девушки поздоровались с парнем, и Химка отошла в сторону, как и полагается при встрече тех, кого в деревне давно уже объявили женихом и невестой.

— Ты чего не пришла вчера? — спросил Колька Крыченков Дуняшу. — Я до самого комендантского часа ждал.

— Не могла... — ответила та тихо.

— А чего ты делала? — с тревогой спросил Колька.

— Стирала я. С фрицевыми поносками допоздна на реке провозилась...

— Вчера потеха была, — со смехом говорит Колька. — Каспа баб спасал! — Он огляделся, обнаружил старое воронье гнездо, нахлобучил на голову, из нескольких соломинок сделал себе усы и, подобрав кривую орясину, взобрался на костлявую спину лошаденки. У Кольки — несомненные актерские способности.

Он вытянул тонкую шею, выпучил глаза, задвигал соломенными усами и стал, ни дать ни взять, Каспа в излюбленной роли.

Девчата рассмеялись.

— Юные поселянки, — важно и тупо проговорил Колька, — я есть добрый рыцарь Дон Кихот...

Испуганно охнула Химка — из оврага вылез кривой помощник старосты.

— Вон-на! — проговорил он с каким-то удовольствием. — В рабочее время тиятрами пробавляемся!.. Так и запишем. — Он вынул из кармана засаленную книжицу.

— Не, пан! — испуганно вскричала Дуняша. — Мы свой урок выполнили. Домой идем.

— Петриченкова и Носкова?.. — Помощник старосты поглядел на Дуняшину подругу. — Ладно, это мы проверим. А ты, скажешь, тоже выполнил урок? — обратился он к Кольке.

— Уж и покурить нельзя? — независимо, хоть и с беспокойством, ответил тот.

— Всыпят десяток горячих, будешь знать перекур... и за тиятры еще набавят! — пообещал помощник старосты и, спрятав книжицу, зашагал прочь.

— Коль, что же это?.. Неужто тебя накажут? — со слезами заговорила Дуняша.

— Еще чего! — хорохорился Колька. — Подумаешь, испугал!.. Пусть только тронут, сразу к партизанам уйду.

— Будь я мужчиной, дня бы здесь не осталась, — заметила Химка.

— Нешто я виноват? — обиженно сказал Колька. — Когда наши в лес уходили, у меня, как на грех, пятку нарвало... А знаете, третьего дня пошел я в Крупецкий бор и

стал сигналы подавать. И куковал, и глухарем щелкал, и дроздом свистел — ни черта!..

— Тс! — предупредила Химка. — Может, этот черт кривой где хоронится.

— Ну его к дьяволу!.. Дунь!..

Он быстро нагибается и целует Дуняшу в краешек рта.

— С ума сошел!

— Есть маленько!.. — Колька пытается повторить маневр, но сейчас Дуняша начеку и ловко увертывается.

Девушки со смехом убегают. Колька победно глядит им вслед...

Раннее утро. Задами деревни пробираются Надежда Петровна и Анна Сергеевна.

— Помощник старосты донес, — говорит Анна Сергеевна.

— Теперь одна надежда, что Каспа бухой, — говорит Надежда Петровна. — Коли он Дон Кихотом себя мнит, будет нам защита.

— Это точно! — подтвердила Анна Сергеевна. — Но если трезвый, лучше не суйся, Петровна...

— Слава богу, тверезый он редко бывает...

Женщины подошли к избе, выделяющейся среди других изб своим опрятным, даже нарядным видом.

— Ты поувертливей будешь, пошукай, какой он, — попросила Надежда Петровна. — Главное, на усы гляди. — Ежели торчком стоят, значит, пьяный. Ежели...

— Да знаю!.. — Анна Сергеевна скользнула под ветку рябины и скрылась в зарослях.

Некоторое время слышны лишь шаги прохаживающегося возле крыльца часового и знакомая песня о «любящихся слезах», которую он мелодично насвистывал. Затем из-за кустов бесшумно выскользнула Анна Сергеевна.

— Беда, Петровна, усы книзу висят!..

Староста Большов отпил рассолу из глиняной посуды и поставил ее на стол.

— Помилуй малова, пан, — смиренно просит Надежда Петровна. — Неровен час — забьют.

— Не забьют, — скучным голосом отзывается Большов. — Всыпят горяченьких в пропорции, только умней станет.

По огуречной лужице на столе поползла, увязая лапками, крупная изумрудная муха. Большов прихлопнул муху и счистил с ладони мушиную грязь.

— Нельзя, пан, молодого юношу, как нагадившего кобеля, перед всем народом сечь. Нельзя, чтобы соседи, дружки, невеста, чтобы мать, его рожавшая, видела, как он, голый, в своей крови вертится. Да это ж хуже, чем сто раз убить человека!

— Вон как заговорила, комиссарша! — с насмешкой и горечью произнес Большов.

— Какие же мы комиссары? Мы всю жизнь с косою и плутом дружили, с зари до зари робили, смертельно уставали...

— Бреши больше, комиссарша!

— Если ты насчет мужа моего намекаешь, что он партийный, так с него и спрашивай.

— Придет время — спросим... А меня и мою семью вы помиловали? — распаляясь гневом, загремел староста. — Когда наше хозяйство, трудом и потом нажитое, отобрали, а нас по этапу погнали, хоть один из вас заступился? Хоть один из вас детей моих пожалел?.. Я тогда себе зарок положил: все перенести и не сдохнуть, и с вас, сволочей, ответ взять!.. Меня в тюрьмах и лагерях гноили, по ссылкам мытарили, детей от меня отторгли, жену в могилу свели, а я все сдюжил, все стерпел и вернулся, и теперь я над вами как господний карающий меч!

Большов громко икнул.

— Да, пан, ты — власть. Помилуй сына, век буду Бога за тебя молить! — Надежда Петровна опускается на колени, низко кланяется. — Вот весь мой нажиток, ничего не утатила. — Она достала из-за пазухи и развязала узелочек: в

нем серьги, обручальное кольцо, брошки, мониста, нателный серебряный крест, оклад с иконы, две старинные золотые монеты и золотая зубная коронка. — Прими в благодарность.

Большов небрежно берет узелок и швыряет в ящик комода.

— Ладно! За филон его сечь не будут.

— Спасибо, пан!.. — По лицу Надежды Петровны покатались слезы. Она взяла милостиво протянутую руку старосты и поцеловала.

— А что тиятры показывал, за это его высекут.. И брысь отсюда, комиссарша!.. — с ненавистью гаркнул Большов.

Над деревней неумолчно разносятся тяжкие вздохи подвешенного к ветви дуба чугунного рельса, по которому помощник старосты колотит железной полосой.

Немецкие солдаты выгоняют из домов людей. Неохотно, медленно бредут люди к деревенской площади. Солдаты подталкивают их в спины прикладами автоматов.

Уныло стонет рельс. Растет толпа на площади. Над толпой маячит на коне Каспа. Усы его обвисли, в белых глазах смертная тоска. В переднем ряду, ближе к лобному месту, — Надежда Петровна, рядом — преданная Анна Сергеевна, чуть поодаль — Дуняша, Комариха..

— В Сужде молодых ребят да девок бензином облили и живьем сожгли.. — бормочет Комариха.

Из темной деревенской тюрьмы двое понятых приводят Кольку. Он мертвенно бледен, рыжеватые волосы торчат перьями — несчастный, затравленный, полумертвый от страха звереныш.

Ухает, стонет било..

Что-то крикнул с коня Каспа, к нему посунулся художавый, подслепой толмач. Понятые сорвали с Кольки одежду. Он сжался, прикрыл ладонями низ живота. Толпа дружно потупилась. Каспа снова что-то проорал. Толмач перевел его слова старосте. Большов поднял руку, замолкло било.

— Слышь! — гаркнул староста. — Не отворачиваться!.. Голов не опускать!.. Глаз не отводить!.. Плетей захотели?..

Понятые повалили Кольку на траву. Один сел ему на плечи, другой — на ноги, помощник старосты поднял ременную плетъ, и первый удар обрушился на Колькину спину.

Колька молчит. То ли старание начало превосходить умение, то ли мало силы в его кривом теле, но Каспа прохрипел недовольно:

— Schwach!..

И староста понял его без переводчика. Он сорвал с себя широкий флотский ремень с медной пряжкой и принялся с оттяжкой и точностью, выверенной ненавистью, охаживать беззащитное тело.

Толпа охнула, качнулась.

— Не гляди! — шепнула Анна Сергеевна Крыченковой.

Та будто не слышала. Губы ее шевелились, она то ли считала удары, то ли молилась, то ли проклинала.

— Кровь, — шепчут в толпе, — кровь текет..

Беззвучно зарыдала Дуняша.

Большов озверел. Всю годами скопленную злобу, всю жажду мести, что томила его в тюрьмах и лагерях, высвобождает он сейчас в бешеном ликовании. Это его час. Ради этого он смирял в себе сердце, терпел, покорялся, влачил жалкое существование. Он сечет не мальчишку, не комиссаровского сына, а всех своих недругов, всю Советскую власть.

Дикий крик размыкает спекшиеся Колькины губы. Он кричит истошно, неумолчно, на одной пронзительной ноте. И вдруг смолк, и молчание его стало общей, невыносимой тишиной.

— Genug! — крикнул Каспа. — Genug*!

Но Большов не сразу остановился. Наконец он кончил размахивать ремнем, вытер пучком травы пряжку, отрянул с лица пот.

* Хватит! Хватит! (нем.).

Надежда Петровна кинулась к сыну. Мимо Каспы, мимо солдат, и никто не успел ее остановить. Она прикрыла шалью иссеченное тело сына, скинула головной платок и стала стирать кровь с его шеи, плеч, спины.

— Fort! — крикнул Каспа, направляя на нее коня. — Geh fort*!

И тут произошло нечто странное, о чем потом долго говорили в деревне, да и по всей окрестности, как говорят в сельских местностях о явлениях непонятных, будто порожденных потусторонними силами. Услышав окрик Каспы, Надежда Петровна подняла на него глаза. Свидетели утверждали, что такого взгляда у живого человека не бывает. В темном, ночном ее взоре была не злость, не ненависть, а то, что больше злости, страшнее ненависти, что-то заворазживающее, как взгляд василиска, грозное, как судьба.

Каспа чуть завалился в седле, словно наскочил на незримую преграду. Вскрапнул и косо выкатил голубоватый белок его тощий конь.

— Augen neider!.. Hösttu**? — закричал Каспа.

И переводчик, бледный как бумага, шепнул Петровне:

— Глаза!.. Глаза опусти!..

Но толи не слышала Надежда Петровна, то ли не хотела слышать, она не отвела взгляда. Казалось, ее страшно выкаченные глаза выскочат из орбит и раскаленными каплями падут на обидчика. Не властна была Надежда Петровна над своим взглядом. В огне его сотворилось рождение из простой женщины, труженицы, жены, матери — неистойвой Петровны, крестьянской предводительницы.

Не выдержали надорванные алкоголем нервы Каспы, он повернул коня и, разломив толпу, поскакал прочь...

Под вечер. Надежда Петровна — у постели сына. Наклоняется над ним — слава богу, уснул. Поправив

* Прочь! Пошла прочь! (нем.).

** Глаза опусти! Слышишь? (нем.).

одеяло, выходит в сени и жадно пьет воду из кадки. Нашаривает в потемках огурец и начинает его жевать. На крыльце темнеет какая-то фигура. Кроваво-красное закатное небо за спиной человека позволяет видеть лишь его силуэт.

Надежда Петровна вышла на крыльцо.

— Простите, — тихо говорит солдат с интеллигентным лицом. — Может быть, вам нужны медикаменты... Вот, я принес... — Его русский язык чист и лишен акцента, лишь чрезмерная отчетливость произношения выдает иностранца.

— Нет, пан, нам ничего не надо, — равнодушно говорит Надежда Петровна.

— Это для вашего сына.

— Спасибо, пан, вы уж довольно для него постарались. — Надежда Петровна хрустит огурцом.

— Но при чем тут я?! — покраснев, вскричал солдат.

— А здорово все-таки ты по-русски балакаешь, — тем же равнодушным голосом сказала Надежда Петровна.

— Я — славист... Скажите, за что вы так ненавидите нас? У вас случилось огромное несчастье, я понимаю. Но разве ваша ненависть до этого была меньше?

— Неглупый!.. — сухо усмехнулась Надежда Петровна.

— Разве каждый немецкий солдат — фашист! — понизив голос, продолжает немец. — Мы подневольные: нас гонят — мы идем. Мы бессильны против государства, как и все маленькие люди на земле. Но у меня и у многих товарищей нет ненависти к русским...

— Слушай, пан! Кто к кому пришел? Мы к вам или вы к нам? Твой сын лежит избитый и опозоренный или мой?.. Почему ты на моей земле, почему в моей хате? Мы вас звали, мы вас обижали?..

— Это правда!.. Но поймите меня. Война кончится когда-нибудь, а ненависть останется. Но Германия вовсе не заслуживает ненависти. Ведь кроме настоящего есть еще и прошлое. Прошлое великого народа с великой культурой.

Германия делала мир лучше, добрее, богаче мыслями и чувствами... Я говорю впустую?

— Впустую, пан.

— Горько это и страшно!..

— Вот когда вы вернетесь в свои пределы и хоть маленько почувствуете, что значит жить под врагом, тогда посмотрим. Может, мы вспомним, что вы когда-то хорошее людям делали. А пока, пан, промеж нас может быть только один разговор, сам знаешь какой... — Надежда Петровна отшвырнула недоеденный огурец и прошла назад в дом.

Немецкий солдат медленно и задумчиво побрел по улице, озаренной последним багрянцем заходящего солнца...

...Ночь. Надежда Петровна сидит у постели сына. Слышится слабый шорох, дверь чуть приоткрывается и в горницу заглядывает Дуня.

Надежда Петровна выходит к ней.

— Как он ?..

— Затих... спит.

— Можно мне остаться?

— А коли обход? Забыла: ночевать по чужим хатам запрещено.

— Да ну их!..

— Не «нукай»! Хватит их нашим горем тешить. Ступай домой. Огородами иди, часовые не заметят.

— Тетя Надь!..

— Ступай!.. Ступай!..

Дуняша уходит. Надежда Петровна возвращается к постели сына. Колька сидит, упираясь спиной в подушку, но глаза его закрыты. Неожиданно он начинает смеяться, вначале тихо, потом все громче и громче.

Надежда Петровна склоняется над ним, обнимает, пытается уложить.

— Что ты, сыночек?.. Успокойся... Хочешь пить?..

— Дунь?.. — говорит Колька и открывает ярко заблестевшие в темноте глаза. — А здорово я их обхитрил!.. Они

меня по всей деревне искали, а я в лесу отсиделся. Дунь, давай вместе в лес уйдем...

— Это я, сыночек, матери...

Но Колька не слышит и не узнает матери.

— Дунь, ну пойди сюда... Что ты такая робкая?.. О-о-о!.. — закричал он вдруг и сбросил прочь одеяло. — Жарко!.. Не могу, жарко! — И он принялся сдирать с себя рубашку.

— Что ты, сыночка!.. Ляжь! Я водичкой тебя полью... Только ляжь!..

— Жарко!.. Мама!.. — вскричал Колька, и с этим последним сознательным словом он вскочил, кинулся к двери.

Петровна хотела его удержать, но он с дикой силой отшвырнул ее, выскочил в сени, затем на улицу.

Петровна приподнялась с полу, взгляд ее упал на лампаду, теплившуюся под образом. Желтый огонек трепетал на суровом лице Саваофа.

— Господи!.. — ударила трехперстной щепотью в лоб, в грудь, в плечи Петровна, но больше не успела произнести ни слова.

На улице раздался выстрел, затем — второй. Петровна подползла к окну, отдернула занавеску. Посреди улицы, в лунном свете, серебристо растекающемся по белой рубашке, лежал ее мертвый сын.

Петровна отвернулась. Под руку ей попал металлический ковшик. Она размахнулась — и погасла разлетевшаяся вдребезги лампада, грохнулась на пол разбитая икона. Все погрузилось во тьму...

...Курень садовника на краю черного спаленного сада. За горизонтом слышится непрерывный грохот. Порой сияя туча озаряется трепетным, бледно-зеленым светом, похожим на сполох. Вокруг садовника по-давешнему расположились бабы и девки.

— Дедушка, ну сказывай дальше! — пристает к старику Софья. Дед прислушивается к далекому шуму боя.

— Об чем это я?.. — спрашивает в рассеянности.

— Ну как дракон жителей полонил, и светлый витязь к ним явился...

— Да, значит, явился к полонянам светлый витязь. Был он из наших — курянин, потому еще древний Боян рек: «А мои куряне — ведомые кмети...».

В курень быстро входит Петровна, кивнула Дуняше, чтоб покараулила снаружи. Девушка сразу вышла.

— Слушай сюда, бабы! Наши ведут бои за Суджу, через день-другой будут здесь. Велено помочь наступлению и освободиться своей мочью. Нынче партизаны выйдут из леса, мы должны подготовить встречу.

Бабы заволновались:

— А чего мы можем, Петровна? У нас, окромя рогачей да вил, никакого оружия.

— У меня дробовик есть! — сказала Настеха. — И карточка к нему.

— А у меня шомполка, — сказал дед-садовник.

— Дробовое ружьишко и у меня найдется, — заметила Анна Сергеевна. — Да ведь у них автоматы, пулеметы, пистолеты...

— Любое завалящее ружьишко согдится, — сказала Надежда Петровна. — Но не в том расчет. Главную работу сделают партизаны, а наше дело — навести страху на фрицев, не дать им к отпору изготвиться.

— Мудрена штука, Петровна! — усмехнулась Настеха. — Может, Комариха на помеле промчится?

— За твое гузно держась! — огрызнулась Комариха.

— Тьфу на вас! — прикрикнула Петровна. — Дед, помнишь легенду, как княгиня Ольга половцам отомстила?

— Вроде бы воробьев с горящей паклей на дома их наслала?

— Точно!..

— Хату жалко! — вздохнула одна из женщин.

— Дурища! Немец все равно спалит!

— Из Нетребилówki немцы уходили. — с четырех концов зажгли деревню, — сообщила Комариха.

— Факт! У него такая мода: ни себе, ни людям!..

— Откуда же воробьи возьмутся? — спросила Анна Сергеевна.

— А нам воробьи ни к чему. Как фрицы уснут, пусть каждая подкинет на сеновал уголек из печи. И сразу забирайте детей и до куреня тикайте. А как фрицев припечет и они начнут из хат выскакивать, вот тут их и встренут... — И каким-то зловещим весельем полыхнули глаза Петровны.

...Длинные языки огня вылизывают ночное небо. Захлебываясь, строчит немецкий пулемет на околице деревни. То и дело раздается треск автоматных очередей. Трассирующие пули вычерчивают в темноте диковинную телеграфную строчку.

Мечутся по деревне немецкие солдаты. Одни из них, в форме и при оружии, пытаются что-то спасти в неразберихе пожара и внезапного нападения; другие, полураздетые, очумевшие от сна и невыветрившегося хмеля, бессмысленно носятся по улице, увеличивая панику.

Партизаны ведут бой на подступах к деревне. Но и в самой деревне сквозь треск пламени, крики, грохот осыпающейся черепицы и рушащихся стропил прорываются глухие звуки ружейных выстрелов. Старик садовник из своей шомполки, Настеха из дробовика, заняв выгодную позицию, стреляют по пробегающим мимо немцам.

В одном белье из горящего дома выскочил Каспа. Распахнул дверь сарая, вывел своего Росинанта и попытался вскочить на его костлявую спину. Но это увидели женщины. Они содрали Каспу с коня и потащили к горящему дому. Он пытался вырваться, что-то кричал, его опаленные усы жалко шевелились над искривленными от ужаса губами.

Горящий дом все ближе. Безумный страх придал Каспе силы. Он ударил в живот одну женщину, отшвырнул другую, рубаха треснула на нем, и он едва не вырвался, но тут подоспела с тройником в руках Надежда Петровна. Она

схватила Каспу за горло и потащила к пустой оконнице, за которой бушевало пламя.

— Остановитесь!.. Что вы делаете?.. — раздался крик.

Надежда Петровна обернулась. Солдат-славист, держа автомат стволом вниз, медленно подходил к ним. Их глаза встретились. Надежда Петровна уступила Каспу товаркам и вскинула тройник. Немец отбросил автомат и поднял руки. Его губы дергались, пытаясь сложиться в улыбку. И вдруг он улыбнулся беззащитной, слабой улыбкой. Он улыбался Надежде Петровне, веря, что простое, слабое, человеческое погасит сжигающую ее ненависть. Конечно, Надежда Петровна узнала его, но ничто в ней не дрогнуло.

Он понял, что сейчас грянет выстрел, и, ловя последнее мгновение, сказал:

— За что?.. Я ж не такой немец!..

— Ты хороший немец, — почти ласково отозвалась Надежда Петровна. — Но ты неприятель! — И спустила курок.

Улыбка сползла с его лица, сменившись гримасой — не боли, а горького удивления...

Надежда Петровна вернулась к Каспе, схватила его за гашник и за ворот рубахи и опрокинула в дыру окна, в самую топку.

— Петровна!.. Петровна!.. — слышался срывающийся крик. — Большова слымали!..

Петровна и остальные женщины кинулись на деревенскую площадь.

...Большов стоял возле двух берез, руки его скручены обротью за спиной, измазанное кровью и сажей лицо странно спокойно. Так мертвенно спокоен бывает проигравшийся до последней полушки игрок. Но совсем не спокойна жадно разглядывающая его Петровна. Она просто и деловито застрелила немецкого солдата, она швырнула Каспу в огонь с тем ясным и надежным ощущением содеянного добра, с

каким кидала зерно в борозду, но сейчас ею владеют иные, куда более сложные и острые чувства.

— Что же ты не гордишься, Большов, ты, карающий меч Господень?

— Я не горжусь — нечем, — медленно усмехнулся Большов, — но и на коленях не ползаю.

— А я ползала, правда твоя... Так ведь сыночек, родная кровинка, другого у меня не будет...

— Пошла ты знаешь куда?.. Надоела!..

— Ты не боишься смерти?..

— Плевал я на все: и на вас, и на себя, и на жизнь, которую вы изгадили. Кончайте скорее, и баста!

— Тебе не для чего жить, да?.. Вот ты и задаешься...

— Да уж ручки целовать не стану, — усмехнулся бывший староста.

— Ну, прощай, Большов, ты мне на всю жизнь запомнишься.

Две женщины подошли к Большову и, прежде чем он сообразил, что они делают, затянули по веревочной петле на каждой его ноге. А другие женщины пригнули к земле стволы двух соседних берез. Землистая бледность разлилась по лицу Большова.

— Очумели?! — заорал он. — Креста на вас нет!.. Помогите!.. Помогите!..

— Тащи! — приказала Надежда Петровна.

Большова подтащили к березам.

Он стал вырываться, глаза его выкатились из орбит, страшный звериный вой вырвался из перекошенного рта.

Он повалился на колени перед Петровной и целовал землю у ее ног.

И все же Большов избежал страшной казни. Прежде чем березы распрямились, рослый партизан, подойдя сзади, выстрелом в затылок избавил его от мук.

— Ты зачем, гад, нашему суду помешал? — вскричала Надежда Петровна и в ярости плюнула в лицо своему мужу.

— Ну что ты, маленькая, успокойся, — ласково сказал Крыченков...

И тут замечает Петровна, как затихло в окружающем мире. Только огонь трещит и гудит, но ни выстрела — замолк шум боя. Подоспевшая из-под Суджи воинская часть помогла партизанам добить противника.

Ярко пылают в ночи Конопельки. Отблеск огня на лицах баб, на бородатых лицах партизан, на лицах бойцов под глубокими касками, на мертвых лицах немцев и пособников их...

...Раннее утро. В прозрачное голубое небо истекают последние дымки спаленных домов. Пожар не вовсе уничтожил деревню. От большей части изб остались либо обгорелые стропила, либо печь — памятник погибшему дому, но кое-где огонь пожрал лишь сарай, лишь крытый двор, пощадив жилое строение, а то и вообще ограничился крышей, крыльцом...

Возле своей дотла сторевшей избы ведут прощальный разговор Надежда Петровна и Крыченков, одетый по-походному, с вещмешком и при оружии:

— ...и где они его зарыли, ума не приложу. Вишь, не сберегла я тебе сына, даже могилки его не могу показать.

— Зря я вчера тебе помешал!.. — Крыченков заскрипел зубами от боли и ярости. — Рвать их на куски, гадов!.. А ты не казись, Надь, на тебе вины нету.

Мимо них быстрым шагом прошли деревенские мужики — вчерашние партизаны — в сопровождении плачущих жен.

— Матюш, пора! — крикнули Крыченкову.

— Уже? — помертвела лицом Надежда Петровна.

— Нас всем отрядом в один батальон берут, так и будем своей деревней воевать, — сказал Крыченков и добавил тихо: — Надь, ты прости меня, коли назад не буду.

— Зачем вперед загадывать? На войне никто своей судьбы не знает. Ты вот партизанил, возле смерти ходил, а причина мальчонке нашему вышла.

— Нет, Надя, по моей душе мне выжить нельзя. Я в каждом фрице Колькиного палача вижу.

Надежда Петровна посмотрела мужу в лицо.

— Понимаю тебя. А все-таки буду ждать... Знаешь, Мотя, после Колькиной гибели я чего-то новое в себе чую. Будто ничего для себя во мне не осталось, а все другим принадлежит... Нет, близко, да не то...

— То, — сказал Крыченков, — я понял.

Они обнялись и постояли так, молча.

— А хорошая была у нас семья!.. — сказал Крыченков и заплакал, и, оттолкнув жену, побежал к площади, где уже строился отряд...

...У колодца-журавля Настеха дает напиток красивому сержанту в танкистском шлеме. За околицей виднеется танк «КВ», в открытом люке стоит танкист и смотрит в голубую пустоту неба, населенную одинокой медленной вороной.

— Значит, вы не верите в чувство с первого взгляда? — спрашивает танкист Настеху.

— Ни с первого, ни со второго, ни с третьего, ни с десятого.

— Может, вы вообще не верите в любовь? — испуганно спрашивает танкист.

Он высок, строен, плечист, но при всей своей мужественной стати по-мальчишески наивен, прост, по-телячьи пухлогуб.

— Нешто ты не знаешь? Любовь померла двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года, — со скрытой горечью усмехнулась Настеха. — Ее первой же бомбой убили, не то под Одессой, не то под Брестом.

— Это неправда! — как-то слишком горячо для шуточного разговора воскликнул танкист. — Ее не убили. Она пропала без вести, а теперь нашлась.

— Ладно трепаться-то!..

— Меня, например, зовут Костя, — сообщает танкист. — Константин Дмитриевич Лубенцов. Мы росошанские.

— Настя... — неохотно проговорила девушка.

— Конечно, Петриченко?

— Да... — удивилась Настеха. — А вы почему знаете?

— В вашем районе каждый второй Петриченко. Разрешите еще водички?

Настя подымает ведро, танкист пьет, не обращая внимания на то, что вода льется мимо рта, на лицо, шею, за пазуху.

— А вы, значит, к каждой второй подъезжаете? — спросила Настеха.

— Не имеем такой привычки! — серьезно ответил танкист. — Вы разрешите написать вам письмецо в перерыве между боями?

— Пишите, кто вам запрещает...

Подходит Софья и, кивнув танкисту, наклоняет коромысло журавля.

— Я в рассуждении ответа, — поясняет танкист. — Желательно в знак дружбы получить от вас фотографическую карточку.

— Ладно! — вдруг рассердилась Настеха. — Отчаливай!

— Я напишу вам, Настя, — уже не искусственно-галантерейным тоном, а просто, тепло, взволнованно сказал танкист. — До свидания после победы. Не забывайте, за ради Бога, одного уважающего вас чудака.

И Лубенцов побежал к танку.

— Вот трепач! — пренебрежительно, но и словно бы чуть огорченно произнесла Настеха. — «Напишу», «напишу», а даже адреса не взял!

Добежав до околицы, танкист поднял валявшийся в грязи столб с названием деревни, провел рукавом по дощечке, прочел название: «Конопельки», воткнул шест в землю, словно вернув деревне ее имя, и побежал к танку.

— Не такой уж трепач! — Софья посмотрела на подружку и рассмеялась.

Настеха хотела что-то ответить, но тут взревел танк и пошел, пошел, жуя землю гусеницами, унося в проклятое пекло приглянувшегося Насте парня...

...В полустогоревшей, кое-как залатанной избе собрались женщины и старики деревни Конопельки. Сквозь дырявую соломенную крышу просвечивает голубое небо. В дверях, как и на всех сельских сходках, толпятся ребятишки.

За колченогим столом — заведующий сельхозотделом райкома партии Круглов и сухощавая, похожая на красную даму женщина, ее длинный, хрящеватый нос оседлан старомодным пенсне.

Мы попадаем в помещение колхозной конторы вместе с чуть запоздавшими Софьей и Настехой, когда собрание уже началось. Слово держит Круглов, средних лет человек с серым измученным лицом и нестибающейся в локте левой рукой. На морском кителе — полоски за ранение.

— ...Мы не хотим оказывать на вас давление, товарищи колхозники, но поскольку у вас тут, не в обиду почтенным старичкам, бабье царство, хорошо бы и председателем выбрать женщину.

— Это точно! — подтвердила активная Анна Сергеевна. — Баба-председатель нас скорее поймет, да и в баню сможем вместе ходить.

По собранию пробежал смешок. Круглов чуть смутился.

— Давайте серьезнее, товарищи!.. Райком рекомендует на должность председателя товарищу Кидяеву Марту Петровну. Она заведовала парткабинетом в райкоме, хорошо проявила себя в период эвакуации...

— Нам бы, милоч, интересней, кабы она себя проявила в период оккупации, — вставила Комариха.

Круглов то ли не понял замечания, то ли не захотел понять.

— Это очень развитой, упорно работающий над собой, выдержанный товарищ. Давайте голосовать!

— Постой, милоч! — опять высунулась Комариха. — Больно ты быстрый, а у нас ум медленный, земляной.

— Можно? — вскочила Анна Сергеевна. — У нас от колхоза одно прозвание осталось. Да и то не упомяну ка-

кое: «Заря», «Восход» или, может «Закат»?.. Пускай она выдержанная, развитая, а тут дьявол нужен! Тут такой человек нужен, чтоб нам житья не дал, а поднял дело. Мы согласные. Такой человек у нас есть. Надежда Петровна, от народа прошу тебя: стань нашим председателем!

— Даешь Крыченкову!..

— Надежду Петровну!..

— Это не баба — антонов огонь!.. — слышались возгласы.

Круглов хотел что-то возразить, и тут раздался знакомый, прерывистый, хватающий за сердце вой, звонкий цокот рикошетищих о стены и деревья пулеметных пуль — низко над деревней пролетел, на миг открывшись в прозоре соломенной крыши, немецкий разведывательный самолет и хлестнул очередью.

И по привычке все, кто был в избе, грохнулись на пол бабы, старики, дети, выдержанная районная деятельница. Лишь Круглов, храня свое мужское и воинское достоинство, не пал на заплеванный пол, а вжался в стену. Да Надежда Петровна осталась на ногах. Лицо ее горело, глаза сверкали. Самолет еще гудел, делая, видимо, разворот, а властный голос Крыченковой превозмог его докучный и страшный гул:

— Встать!.. Не смей перед фашистом ложиться!.. Встать, не кланяться! Мы тут хозяева!

Первой вскочила Настеха, за ней — Дуняша. Отряхивая подол, поднялась смущенная Анна Сергеевна. Тяжело — с четверенек на карачки — поднялись колхозные деды.

— Слухай, бабы! — кричит Надежда Петровна. — Которая перед немцем валится, та не колхозница. Пусть летает, мы ему хвост перебьем!..

Не глядя друг на дружку, встали остальные бабы. Только бывшая заведующая парткабинетом, не привыкшая к обстрелу, оставалась распростертой на полу, пока Круглов не тронул ее деликатно за плечо.

— Я ж говорю: дьявол она, не баба! — подвела итог происшедшему Анна Сергеевна.

И тут немецкий самолет, сделав новый заход, полил длинной очередью деревню. Но уже ни один человек в избе не кинулся на пол. Иные подняли кверху искаженные ненавистью лица, другие потупили головы, третьи, стиснув зубы, смотрели прямо перед собой.

Замер вдали гул фашистского самолета.

— Надежда Петровна, — добрым голосом сказал Круглов, — как вы относитесь к выдвижению вашей кандидатуры?

— Я хочу быть председателем! — впрямую рубанула Петровна. — Я тоже без колхоза жить несогласная. Пусть народ меня слушает, будет у нас колхоз!

Круглов улыбнулся.

— Давайте проголосуем. Кто за Надежду Петровну, прошу поднять руки.

Мгновенно вырос лес рук. Круглов начал считать и бросил:

— И так видно: избрана единогласно.

Руки опускаются, и тут Круглов начинает смеяться, и смех его подхватывают все колхозники. Опустив голову, красная от напряжения и боязни, что вдруг да не выберут, Надежда Петровна сама за себя поднимает руку...

...И снова стонет, гудит над деревней чугунное било.

Посреди площади расстелен брезент, на нем горка зерна, с мешок, не больше, и над жалкой этой горюшкой стоит, твердо упираясь ногами в землю, Надежда Петровна. Вокруг — колхозники.

— Давайте семена, люди добрые! — кричит Петровна. — Запозднились мы с севом. Уходит золотое время!..

— Какой может быть сев, Петровна? — говорит смазливая, хотя и не первой молодости, Марина Петриченко. — Наши, слышать, обратно отступают. Всем нам тикать придется.

— Об этом не мечтайте! — веско произнесла Петровна. — Наши не отступают, немец не придет. И давайте, женщины, забывать про немца, Давайте помогать фронту, чтоб наши мужья с победой вернулись и нас любили.

Подходит Софья и опорожняет мешок с зерном в общую кучу.

Дуняша приносит меру зерна.

Приносит зерно Настеха.

Анна Сергеевна привозит на тачке два мешка.

— Усе, Петровна! — сообщила она. — Подобрала до зернышка!

— Ты-то подобрала, а другие дорожатся. Не хватит нам площадь обсеменить. Женщины! — гаркнула Петровна. — Давайте хоть по горсти!

— Петровна, — опять высунулась Марина Петриченко. — Как же мы переживать будем, коли все отдадим?

— Освоим площадь — переживем. Не освоим — все равно с голоду подыхать!

...Удлинились тени, день склоняется к вечеру. Медленно-медленно растет горюшка зерна. Несут буквально по горсти, по кружке, по совку.

— Слухай, женщины, так не пойдет! — кричит Петровна. — Тут все равно не хватает. Я буду в рельсу колотить, пока на всю посевную площадь не наберется.

Тягостный, неумолчный звон, казалось, навечно поселился над деревней. Хозяйки захлопывали двери, окна, чтобы не слышать этого звона. Дети плакали в зыбках, тревожно ревели уцелевшая скотина.

— Г'шь, разывает ее, дьявола! — со злобой сказала Софья свекровь. — На кой только ляд мы ее выбирали!

— Нешто она для своей выгоды?

— Так где ж взять зерно-то? Все подчистую снесли.

— Ой ли? — прищурилась Софья. — А если по сусекам поскрести, может, и у нас семечко-другое найдется?

— Тс, дурища! О детях подумай! — шикнула на нее свекровь. — Снесем последнее, а назад — хрен да маненько получим!

— Петровна не обманет.

— Ну, как знаешь! Коли у тебя о детях сердце не болит..

— То-то и оно, что болит! Сообща мы, может, переживем, а поединоличности все равно сохнем...

...Поздний вечер. Деревня словно вымерла. Неумолчное било разогнало людей по домам. Все схоронились за дверьми и ставнями своих полусожженных домов.

К Надежде Петровне подошли Анна Сергеевна и Дуняша.

— Кончай, Петровна, свое занятие. Больше все равно никто ничего не даст.

Петровна выпустила железную полосу, вернее, она сама выпала из ее ослабевшей руки.

— Как же так?.. — проговорила Петровна. — Цельного мешка не хватает.

— Ну и леший с ним! — плюнула Анна Сергеевна. — Обсеменимся чем есть!

— Не хочешь ты меня понять! — Петровна утерла взмокшее лицо. — Коли в малом уступить, и большое между пальцев уйдет.

Пошатываясь, она побрела к своему жилью, Анна Сергеевна и Дуняша сочувственно последовали за ней.

— Ложись-ка спать, — посоветовала Анна Сергеевна, — утро вечера мудренее.

— Утром сеять надо, — угрюмо отозвалась Петровна.

Они вошли в избу. Петровна сорвала с себя чистую рабочую кофточку и натянула на круглое тело какой-то рваный азамчик, повязалась обгоревшим платком, скинула сапоги, а босые ноги сунула в драные калоши. Анна Сергеевна и Дуняша с удивлением следили за этим переодеванием.

— Чего это ты оделась, как от долгов? — поинтересовалась Анна Сергеевна.

Петровна не ответила. Прихватив мешок, она вышла на улицу и под окнами соседского дома завела протяжным голосом нищенки:

— Подайте, люди добрые, хоть полгорсточки, хоть единое семечко!

Открылось окошко, чей-то стыдливый взгляд упал на Петровну, и ставня захлопнулась.

— Будет тебе срамиться-то на старости лет! — укорила подругу Анна Сергеевна.

— Подайте, люди добрые, хоть полгорсти, хоть семечко!

И вдруг Дуняша подхватила тонким голоском:

— Подайте, люди добрые!..

Из дома донеслось:

— Пойди отнеси, она, дьявол, все равно не отвяжется.

Истово, с поклоном Петровна приняла от Софьи «подавание» и пошла дальше.

— Подайте, люди добрые, хоть полгорстки, хоть единое семечко!

— Подайте, люди добрые!.. — тоненько подхватывает Дуняша.

Из окна высунулась Комариха.

— Некрасиво, Петровна! Председательница колхоза, а как побируха, с рукой ходишь.

— Для вас же, черти! Для вас на старости лет с рукой пошла!

И уж из многих окон — кто с ухмылкой, кто с недоумением, кто с проблеском стыда — следят люди за странным и невеселым представлением Петровны. И все видят, что по лицу председательницы градом катятся слезы.

— Эй, бабы! — крикнула Анна Сергеевна. — У кого совесть есть? — Она забрала мешок из рук Надежды Петровны, широко распахнула ему горло. — Сыпь, не жалеи!..

Из домов, полуодетые, показались женщины с ведрами, полными зерна...

— Я сделаю вас счастливыми, сволочи, — полуслепая от слез шепчет Крыченкова, — насильно, а сделаю...

...Летняя ночь, светлая, как день, но не от полной луны, не от звездной россыпи — от зарниц артиллерийских залпов, охвативших весь горизонт, от прожекторов, ошаривающих голубыми лучами рваные облака, от ракет, стекающих каплями на землю. Красная строчка трассирующих пуль прошивает небо. Гудят в выси самолеты, то и дело сбрасывая ракеты. Тяжелый грохот сотрясает воздух. Не спит деревня. Бабы и девки сгрудились вокруг Надежды Петровны.

— Опять Суджу бомбят...

— Городок с ноготок, а сколько беды принял!

— Не более других! Что Суджа, что Рыльск, что Льгов, что сам Курск — одной кровью мазаны...

— Тикать надо, бабы, бо немец нас лютой смертью казнит, — сказала Комариха.

— Теперича не жди пощады! — поддакнула Софьина свекровь.

— Хотите — раздам паспорта, и тикайте кто куда горазд, — предложила Надежда Петровна. Голос ее отравлен горечью.

— Тикать — так всем миром, поврозь — нам сразу капут.

— Не придет немец, бабы, бросьте плешь на плешь наводить! — напористо сказала Петровна.

— А ты почем знаешь?

— Ей генерал сказал!

— Маршал!

— Сам Верховный Главнокомандующий!

— Архистратиг Михаил мне ноне являлся в светлых латах и плащ-палатке. Пушай, говорит, бабы не беспокоятся, ваши воины поломают Курскую дугу.

— Смеешься!.. Как бы плакать не пришлось!

— Только не через немца, ему я все отплакала. Может, я через сеноуборочную плакать буду — дюже гадко мы робим...

Знакомый, прерывистый, тошный подвыв обернулся осветительной ракетой, повисшей над деревней и со страшной отчетливостью озарившей все дома, палисадники, плетни, складки грязи вдоль улицы, фигуры и лица людей.

— Сергеевна! — заорала Петровна. — Колоти в рельсу! Вишь, свету сколько! Айда до клеверища!..

...Поле. Бабы ворошат граблями тяжелое клеверное сено. Гудят самолеты, скидывают ракеты — будто длинные свечи горят над полем. В их свете, по-русалочьи зеленые, движутся бабы. Красиво, страшно и сказочно вершится этот простой труд посреди войны.

Но вот одна ракета вспыхнула над самыми головами работающих, замерли грабли в руках женщин. Петровна задрала голову кверху.

— Спасибо, господа фрицы, нам работать светлей!.. — заорала во все горло. — Дуняша, запевай!..

Дуняша запекает маленьким чистым голосом. Родившийся в ее горле звук вначале кажется непрочным, слабым, готовым вот-вот умереть в грохоте наводнившей мир злобы. Но он не умирает — в него вплетаются другие женские голоса, и песня живет под небом, озаренным нечистым светом, на бедной измученной земле...

...Утро. Бабы работают в поле. Подъезжает на велосипеде девчонка-почтальон. Бабы со всех ног кидаются к ней.

Первой подбежала Софья, взяла письмо, развернула и, закричав дурным голосом, ничком повалилась на землю.

— Неужто похоронку получила? — зашептались женщины.

Комариха наклонилась к Софье, старыми, цепкими руками повернула ее за плечи.

— Сонь, Сонь, ты чего?

— Ранили!.. Васятку моего ранили!.. — рыдая ответила Софья.

— Тьфу на тебя! Зазря испугала. Не убили, и ладно.

— В госпиталь его свезли! — надрывалась Софья. — Полево-о-ой!

— Так это же хорошо, дура! Вон Матвей Крыченков в госпитале лежит, Жан Петриченков из госпиталей не вылазит.

Все женщины, кроме Комарихи, оставили Софью и окружили почтальона. Не из душевной черствости, а потому, что одно лишь было страшно в те лихие дни: похоронная. А ранен — что же, отлежится, крепче станет.

— Анна Сергеевна, держите!.. Матрена Иванна, держите!.. — Девчонка огляделась, нашла Настеху, и что-то лукавое появилось в ее взгляде.

Она увидела, как мучительно и безнадежно ждет письма Настеха.

— Настеха, пляши!

— Вот еще! — из остатков гордости независимо ответила Настеха.

— Пляши, Настеха, а то не дам письма. — Девчонка помахала солдатским треугольничком.

— Нечего дурочку строить! — Настеха попыталась вырвать письмо, но девчонка успела схоронить его за пазуху.

— Не дам!..

И Настехе почудилось, что она впрямь никогда не получит письма. У нее вскипели слезы. Злясь на себя, на свою зависимость от случайного мальчишки-танкиста, Настеха несколько раз притопнула ногами.

— Нешто так пляшут? — презрительно сказала девчонка, но письмо отдала. — Вот Петровна покажет, как надо плясать.

Надежда Петровна вспыхнула и, взяв треугольничек, стала приплясывать, помахивая им, будто платочком. Ее массивное тело полно скрытой грации и неожиданной легкости. Облилось румянцем помолодевшее лицо, заиграли густые брови. Женщины невольно залюбовались своей председательницей. Не прекращая пляски, Петровна развернула треугольничек.

«...Обратно пишет Вам сосед по койке уважаемого Матвея Ивановича. Вчерашний день ваш супруг Матвей Иванович скончался от осколка...».

Запрокинулся простор в глазах Надежды Петровны. Машинально она продолжала плясать, но ей кажется, что это отплясывают вокруг нее какой-то дикий пляс поле, лесной оком, облака и солнце.

— Надь!.. Надь!.. — встревоженный голос Анны Сергеевны привел ее в чувство. — Надь, что с тобой?

— Ничего.

— Как ничего? У тебя лицо серое. Беда, что ль, какая?.. Матвею хуже?..

Надежда Петровна поглядела на свою подругу, на притихших женщин. Конечно, хорошо и сладко повалиться по софьиному лицом в траву, закричать в голос, чтоб облегчилось сердце, хорошо отжаться на поруки чужой жалости.

— Да нет... куда ж лучше... — сказала она с короткой усмешкой.

— Не врешь? — допытывалась Анна Сергеевна. — Ты на себя не похожа.

— Тяжело плясать-то на старости лет, — сказала Петровна. — Ну, пошли, бабы, хватит посидухи разводить.

...Прекрасное летнее утро полно цветения, тепла, солнечного блеска. У колодца-журавля чернявый парень допризывного возраста поливает себе на голову из ведерка. Он ежится от холода, фыркает, даже поскуливает, но, опорожнив одно ведро, тут же вытягивает другое и опять льет себе на голову.

— Чего даром воду льешь? — спросил его подошедший средних лет человек в военной форме без погон и в стоптанных сапогах.

— Башка гудит, цельную ночь гуляли, — сиповато, но с гордостью отозвался парень.

— С каких таких радостей?

— Петровну в партию приняли, — пояснил парень и опрокинул на себя третье ведро.

— Понятно, — сказал человек и двинулся дальше.

Он шел по прямой и ровной деревенской улице, обстроенной новыми избами под тесом. В ухоженных палисадниках пенились белым цветом яблони и вишенье. Человек шел, зорко приглядываясь к окружающему небольшими зелеными глазами, и на его хорошем, терпеливом лице отражалась работа мысли. Обогнав человека, проехал крытый брезентом грузовик и круто стал возле сельмага. Водитель выпрыгнул из кабины и сдернул тяжелый, сырой от росы брезент. Из магазина показались два продавца и стали поспешно разгружать машину. На свет появились празднично блестящие калоши, яркие шелка, ситцы, сапоги, картонный ящик с папиросами «Казбек» и другой — с парфюмерией.

Возле грузовика возникла крупная, живописная фигура Надежды Петровны. Человек поглядел на нее и уверенно направился к грузовику.

Одобрительно поворотив пальцами шелка, покомкав ситцы, Надежда Петровна достала из ящика флакончик одеколona, понюхала пробочку.

— Це гарно! Добрый дух от девок будет... «Джиоконда», — прочла она под изображением безбровой женщины, по странной игре судьбы осужденной быть вечной спутницей парфюмерных изделий. — Кто такая?

— Бис ее знает! — равнодушно отозвался шофер. — Мабуть, из бывших.

— Из бывших? Зачем же тогда ее портрет на советский одеколон прилепили?

— Это итальянка Мона Лиза Джиоконда, — вмешался человек. — Портрет ее написал в пятнадцатом веке Леонардо да Винчи, самый великий из всех художников. Считается, что в ее улыбке он запечатлел тайную душу женщины.

— Вон-на!.. А ты кто такой будешь? — потрясенная осведомленностью незнакомца, спросила Надежда Петровна. — Заготовитель?

— Вроде того, — улыбнулся человек.

— Наше вам, Надежда Петровна, а с вас магарыч!

Подошла целая плотницкая артель: дед, долговязый парень и мужиковатый подросток. Подошли весело, с улыбочкой.

— Это на каких же радостях? — осведомилась Петровна.

— На тех, что конюшню мы ноне закончили.

— Хватит врать-то! Там еще работать да работать!

— Доделочки — дело плевое, а руки, сама знаешь, золотые, — засуетился дед. — Только уж и ты нашу просьбу уважь.

— Эх, дедушка-дед, — ласково заговорила Надежда Петровна. — Нешто не русский я человек, не понимаю? Всю ночь вы гуляли, в мою партийную честь шкалики опрокидывали. А у нас закон: пей да не опохмеляйся. Вы же народ пришлый, балованный, вам, поди, с утра не терпелось...

— Надежда Петровна!.. — уныло протянул долговязый. Глаза Крыченковой метнули искру.

— На кого робите? На колхоз робите! Чтоб как в сказке, чтоб как мечта! Тогда приходите — четверть ставлю!..

— Говорил я тебе, Егорка, — пробурчал укоризненно дед обмякшему подручному. — Привык: тяп-ляп да за воротник!..

— Ты еще здесь? — повернулась Крыченкова к «заготовителю». — А чего ты сейчас заготавлиешь? Для грибов и ягод рано...

— Я инструктор райкома партии Якушев.

— Новенький?.. А приехал на чем?

Якушев улыбнулся.

— Пешим строим.

— Слушай: если ты взаправду инструктор, ты мне скажешь одну вещь. Никто не мог мне сказать, к кому только

не обращалась. Понимаешь, я думала, меня без этого в партию не примут, — добавила она доверительно.

— Может, и я не знаю.

— Коли инструктор, должен знать. — Надежда Петровна понизила голос. — Назови три источника, три составные части марксизма.

— Английская классическая политэкономия, немецкая философия, французская революция.

— И все?... Все, я тебя спрашиваю? Русского там ничего нет?

Якушев развел руками.

— Тогда это лаферма! — разочарованно произнесла Надежда Петровна. — Мы революцию сделали, и нас же затирают. — Надежда Петровна приметно огорчилась. — Ладно, вы зачем приехали? Сальца, свининки, гусятин — чего надо?

— А других у меня, значит, не может быть дел? — без малейшей обиды спросил Якушев.

— По другим делам в район вызывают. А коли собственной персоной заявились — все ясно. Небось порядки знаем. Который до вас инструктор был, завсегда так действовал.

— Интересно! — сказал Якушев и вытащил пачку «Прибоя».

— Мы подгородный колхоз — раз, зажиточный — два. Начальство исключительно при таких колхозах кормится.

— У нас так не будет.

— Ох ты! А нам не жалко, — с внезапной злобой сказала Надежда Петровна. — Завсегда можем подбросить кусок с нашего богатого стола.

— Откуда у вас столько злости?

— Спросите лучше, откуда во мне доброта. Тут потрудней будет ответить... Эй! — закричала она продавцам, тащившим ящик с душистым мылом. — Ходи хорошеньче!

Ящик развалился, и несколько кусков мыла выпало на землю.

— Это мы к приезду наших мужиков готовимся, — сказала Надежда Петровна, кивнув на товары. — Как вы думаете: скоро они начнут с Германии возвращаться?

— Теперь уж скоро.

— Дай-то бог! Приустала наша бабья карусель. Что ни говори, а на земле мужик — царь. Да и нужно бабенкам маленько радости. А то можно и вовсе сердцем зачахнуть. Как все съедутся, мы пир горой закатим. Тогда — милости просим!..

— Спасибо... Надежда Петровна, мне ваша помощь нужна.

— Какая еще помощь? — подозрительно спросила Крыченкова.

— Я фронтовой политработник, после в горькоме партии работал, в крупном промышленном центре. Деревня для меня — книга за семью печатями.

— Зачем же вас сюда послали?

Якушев развел руками.

— Или сослали? — остро глянула на него Петровна. — Похоже, вы вниз растете?

Якушев усмехнулся.

— Со стороны судить — да, а для себя — пожалуй, что и нет.

— Вон как! — добро сказала Петровна. — Какой же вы помощи ждете?

— Объясните мне: почему вы так быстро поднялись?

— Берите лучше гусями, — сказала Надежда Петровна.

Якушев засмеялся.

— Английская политэкономия, — важно начала Петровна, — ленинское учение и русская смекалка.

Якушев снова засмеялся.

— Первое я понимаю — рентабельность хозяйства. Так?

— Точно! — одобрила Надежда Петровна. — Но дальше не угадывайте, не срамитесь. Ленина-то вы все только на словах помните... А Ленин сказал: сельский кооператив — это когда все труженики участвуют в прибылях.

Мы эти выполняем. Третье же условие нацелено, чтоб нам с прибылью быть. Знаете, я еще в сорок третьем, когда немцы в последний раз наступали, раздала колхозникам паспорта, а назад не взяла. И хоть бы один ушел!.. А ведь тикает народ с деревень, ох, тикает!.. Конечно, не с подгородных. У них под боком... — Надежда Петровна сделала значительную паузу, — как говорил Карл Маркс, рынок сбыта.

— Был я в этих деревнях, — сказал Якушев. — Картина обычно такая: колхозники наживаются, колхоз разваливается.

— Точно! Потому — торговлишкой больно увлечены. А у нас свой устав. Приходит пора овощей, молодой картошки или там фруктов — колхозники весь излишек сносят на баз. Покупаем место на рынке, выделяем транспорт и какую-нибудь вредную старушку. Народ — в поле, а старушка коммерцию робит. После каждый получает сколько следует. Мы даже к поездкам уполномоченных ребятишек высылаем... Химка!.. Носкова!.. — заорала вдруг Надежда Петровна.

Этот окрик вызвал замешательство у двух празднично одетых девушек, сделавших поспешную попытку спрятать на груди еще сырые листки фотографий.

— А ну, пойдите сюда!.. — загремела Петровна.

Химка и Дуняша подошли с понурым видом.

— Хороши, нечего сказать!.. — накинулась на девушек Петровна. — Вы поглядите, люди добрые!.. Товарищу инструктор райкома, полюбуйтесь! И это — звеньевая! В рабочее время в город подорвала да еще подругу сманила!.. Все!.. Со звеньевых тебя сымаю, сдашь звено Настехе!

— Надежда Петровна!.. — вскинула умоляющие глаза Химка.

— Молчи, паразитка!.. А ну, покажи, как тебя изуродовали, — отдуваясь, сказала Петровна и протянула руки за карточками.

После легкого колебания Химка отдала карточки председательнице.

— И вовсе ты на себя не похожа. Нос голосует, а глаза мутные. Зачем только ходите вы к этому мордописцу? Уж послушай моего совета, Химка: спрячь ты эту карточку подальше, не дари ее трактористу. Зараз разлюбит.

Химка скисла, надула губы.

— Дуняша, — произнесла Надежда Петровна с неизъяснимой нежностью, — а ты, дурочка, чего с ней ходила?

Дуняша не ответила, потупила голову.

— Она тоже сымалась на карточку, — сказала Химка.

У Надежды Петровны будто тень прошла по лицу.

— Подари мне твою карточку, Дуняша, — попросила она тихо.

Дуняша еще ниже опустила голову.

— А то ей, кроме вас, некому карточки дарить! — дерзко сказала Химка. — У Дуняши тоже заетка объявился.

— Ври больше, вертихвостка! Это у тебя одни романы на уме.

— Ничего я не вру, она вам сама скажет.

— Правда, Дунь?

Дуняша подняла голову. В глазах ее блеснули слезы, но, мужественно пересилив себя, она трижды кивнула головой.

— Слава богу! — от всей души проговорила Надежда Петровна, и голос ее сел в хрипотцу. — Счастья тебе, Дуняша, самого, самого золотого!.. Ну, ступайте, милье... — И когда девушки отошли, она сказала проникновенно: — Вот радость-то какая!.. Еще один человек от войны спасся..

Верно, она почувствовала, что надо объяснить Якушеву происшедшее:

— Дуняша — сына моего невеста. Его немцы лютой смертью казнили, а она... замерла. Так и жила при мне тихой тенью. У меня за нее все сердце изболелось. И вот... видите... — Она поднесла руку к горлу.

Якушев как-то странно посмотрел на председательницу.

— Пойду я, товарищ Якушев, у меня еще делов полно, а сейчас мне малость с собой побыть надо...

— Папаня приехал! — звенит детский голос.

На Василии Петриченко, Софьином муже, повис десятилетний пацан, а пятилетняя дочка, даже не соображающая толком, что этот человек в военной форме, пахнущий сукном и кожей, ее отец, на всякий случай завладела ногой в кирзовом сапоге.

Василий целует жену в помертвевшее от счастья лицо, целует плачущую мать... Его ширококостное, грубо красивое лицо стало слабым от нежности и любви. Софья оторвалась от мужа, как от родника с ключевой водой, метнулась сама не ведая куда и опять прикинула к мужу.

— Ну будет, будет!.. — пытается овладеть положением Василий. — Я ж насовсем прибыл в ваше распоряжение... Вот гостинцы привез.

Трясущимися руками он развязал заплечный мешок и достал банки с американскими консервами.

Софья в растерянности трогает банки.

— Красивые!.. Я их на комод поставлю!

— Вот чудачка! — смеется Василий. — Нашла чем любоваться!.. — Осекся, помрачнел. — Наголодались вы, бедные!

Достал из рюкзака пачку сахара, разорвал, протянул кусочек дочери. Та не берет.

— Да это ж сахар, дурочка! Нешто ты сахара не видала?

— Как — не видала? — вмешалась мать. — Что ты, Вась, не такие уж мы бедные.

— А мы тебе баньку стопили, — сказала Софья. — Зараз пойдешь или раньше перекусишь?

— Мы чисто ехали, с банькой можно и погодить. А нельзя ли штофик «Марии Демченки» спроворить?

— Мы думали, ты от «Демченки» отвык. Московской купили.

Василий благодарно чмокнул жену.

— Ну, а закусочка у нас своя — берлинская! — нарочито бодро сказал он, чтоб жена не стыдилась понятной своей бедности.

— Мы в садике накрыли, — сказала Софья.

— Пошли в садик! — согласился Василий. — И это с собой заберем! — Он прихватил свой консервный запас, дал по свертку ребятишкам. — Мы по-солдатски: рраз-два, и готово!

Вся семья выходит в садик. Здесь под рябиной накрыт стол, не так чтобы роскошный, но обильный, а по трудному послевоенному времени даже и более того: подовые пироги, толстая яичница на сале, холодец, разные соленья и моченья, бутылки с водкой, жбан с квасом.

— Уж не обессудьте... — робко сказала Софья.

— Гм... гм... — закашлялся Василий и поскорее сунул под лавку свои консервы...

...В первый момент не понять даже, что это — рука или нога в причудливых золотых браслетах. Потом становится ясно, что это голая по локоть, загорелая, крепкая мужская рука, на которой застегнуты браслеты золотых и позолоченных часов. Чьи-то пальцы расстегивают браслеты и снимают часы: сперва с одной, потом с другой руки. А вот и нога обнажилась, с лодыжки снимают еще две пары часов.

— Баяли, будто на границе в вещмешках роются, — поясняет, распрямляясь, жене Марине Петриченко ее выдающийся супруг Жан, только что прибывший в родные пенаты.

В горницу заглянула дочь.

— Брысь! — прикрикнула Марина, закрывая собой стол, на котором навалены часы. — Гуляй, покуда не позову!

— Надо нам побыстрее отсюда подрывать, — говорит Жан. — Сейчас можно чудно в городе устроиться.

— Ты глупый, Жан, или поврежденный? — накинута на мужа Марина. — У нас гарантированный трудовень, какого с роду не было, а рядом — Сужда, рынок. Я вон свинью резала, десять тысяч взяла.

— Ого! — с уважением сказал Жан, черный, костистый, похожий на хищную птицу, но по-своему привлекательный. — Стало быть, тут есть где развернуться?

— Что это ты — приехал и сразу о делах? — обиженно сказала Марина. — Видать, не больно скучал.

— Скучал вот так! — Жан резанул ребром ладони по горлу. — Я ведь не как другие ребята: берут первую попавшуюся немку и заявляют: я мстю! Нет, я сильно болезней опасался. Как вы тут себя при немцах вели — другой вопрос, — сказал он, неприятно клацнув зубами.

— У нас немец не озоровал, — серьезно сказала Марина. — Окромя Настехи, никто с ихнем братом делов не имел.

— Какой Настехи?

— Петриченко, Надежды Петровны крестницы. И то я скажу — она девку собой прикрыла.

— Как амбразуру! — усмехнулся Жан.

— Будя зубы-то скалить! Настеха все ж таки дамка, а та — девчонка, дитя.

— Ладно защищать-то!

— Смотри, Жан, при других не ляпни, бабы за Настеху зараз поувечат.

— Больно вы тут большую власть забрали!..

— А то как же — бабье царство!

— Сроду я бабьим подгузником не был, — проворчал Жан...

...Изда Анна Сергеевны. В галифе, на босу ногу, в трикотажной рубаше в горнице сидит, отдыхает пожилой — тип старого шофера — муж Анны Сергеевны. Он уже и в газету заглянул и сейчас, отложив в сторону очки, наблюдает мечущуюся по горнице супругу. Его взгляд словно приклеен к Анне Сергеевне, глаза, как шарнирные, поворачиваются в ее сторону, ловя каждое движение ее плотно сбитого тела, коротких, круглых, с ямочками над локтями, загорелых рук.

— Хватит суетиться, — говорит он. — Отдохнула бы.

— На то ночь есть, — отвечает Анна Сергеевна, продолжая судорожно хозяйствовать. Это у нее от волнения встречи, от смущенной отвычки, что в доме мужчина, от радости, в которую еще трудно поверить.

Снова округло заходили в глазных орбитах голубые шары Матвея Игнатьевича. Анна Сергеевна, как и всякая женщина, даже спиной чувствовала настойчивый взгляд, и все валялось у нее из рук: рогац, спички, конфорка. Разбив фаянсовую чашку, она не выдержала:

— Чего ты мне под руку глядишь?!

— Ты о чем, Аня?

— Уставился тоже...

— Да ведь соскучился! — Матвей Игнатьевич поднялся.

— Шш!.. — Анна Сергеевна кивнула на черную горницу.

— А долго она еще тут торчать будет? — шепотом спросил Матвей Игнатьевич.

Он недооценил чуткого слуха председательницы.

— Да ушла я, ушла, молодожены, чтоб вам ни дна ни покрывки! — раздался голос Надежды Петровны.

— Не слушай ты его... дуrolома! — крикнула в сердцах Анна Сергеевна.

В ответ лишь хлопнула входная дверь.

— Холерик тебя побери! — накинулась на мужа Анна Сергеевна. — Ты зачем Надьку обидел?

— Да ведь хочется вдвоем побыть...

— А Надьке не хочется?.. Но вдвоем ей не с кем, а одной, чтобы горе свое выплакать, негде. Нету у нее своего угла. Мы все отстроились, а она по чужим хатам мается.

— Ань, ну скажи на милость, почему я мог знать, что у председательши своей хаты нема?

— Вот и нема! Ей район добрую хату поставил, а Надька ее под школу отдала. И вообще, хочешь со мной ладом жить, Надьку пальцем не задевай!

— Ишь ты! — ревниво сказал Матвей Игнатьевич. — Какое сокровище!

— Да, сокровище! — твердо сказала Анна Сергеевна. — Знаешь, как окрест люди бедствуют! Лебеду в муку подмешивают, крапивными щами пробавляются, запущенкой — по большим праздникам. У нас в Конопельках одно бабье, а мы такой жизни и до войны не видели. И все — от Надькиного таланта, от ее великой ограбленной души! — Неожиданно для себя самой Анна Сергеевна всхлипнула.

Матвей Иванович тихо обнял жену за плечи.

— Не сердчай... не знал я, право, не знал...

..Выйдя от своей подруги, Надежда Петровна наткнулась на тоскующую, неприкаянную Настеху.

— Настя!.. Настеха!.. — позвала она, но девушка сделала вид, что не слышит, и скрылась в бузиннике.

Не так-то легко отделаться от председательницы. Надежда Петровна тоже вломилась в бузинную заросль и возле речки перехватила Настеху.

— Чего убегаешь? — спросила она, заглядывая в измученное лицо девушки с выплуканными, в черных окружающих глазами.

— А я тебя не видела, — соврала Настеха.

— Хочешь, погадаем? — предложила Петровна.

— Пустое! — отмахнулась Настеха.

— Тебе ж раньше нравилось?.. Айда до Комарихи, у нее ярый воск есть. Будем его лить, ты своего суженого увидишь.

Настеха передернула плечами.

— Пустое!..

— Ладно, девка, хватит тьму наводить, меня бы хоть постыдилась!.. Ты вон ждешь, тоскуешь, надеешься, а мне кого ждать, мне на что надеяться?

На высоком бугре над рекой красиво стала скамейка, а на скамейке, робко держась за руки, сидели Дуняша и узкоплечий паренек с детски хохлатой макушкой. На лице Петровны — давешняя нежность, радость, затаянная боль.

— Вишь... — Она взяла Настеху за руку. — Кабы не ты, не было б у них счастья.

И что-то отпустило Настеху.

— Пойдем до Комарихи, — сама предложила она...

...Они подошли к невзрачной избе Комарихи.

— Хозяйка, принимай гостей! — крикнула с порога Надежда Петровна.

Появляется Комариха, в белой кофте, в чистой, стиранной юбке, в пучочке сивых волос торчит старинный роговой гребень.

— Заходите... — говорит она без особого восторга. — Только тихо.

— Аль боишься — мышей распугаем?

— Нет, мой старичок отдыхать прилег.

— Он с того света пожаловал или ты, мать, последнего ума решилась? — осведомилась Петровна.

На ее громкий голос из горницы вышел в домашней затрапезе знакомый нам старик садовник.

— Это что же значит? — потрясенно спрашивает Петровна.

— А мы того, значит... — смущается дед, — решили сочтаться...

— Поздравляю... — все еще в обалдении сказала Надежда Петровна. — Ладно, старая... тьфу ты, молодуха, дай нам воску.

— Гадать надумали?..

Выйдя от Комарихи, Надежда Петровна и Настеха поглядели друг на дружку и громко, с наслаждением расхохотались...

...А потом, при свечах, они лили воск в большую фаянсовую чашу с водой. Надежда Петровна истапливала светлый, чистый ком в прозрачную воду, воск застывал на дне чаши причудливым узором, а Настеха вглядывалась в этот узор с надеждой и жадностью, веря сердцем, вновь ставшим детским, что она узнает свою судьбу. Но ведь с дав-

них времен Ярилы для всех девушек истаявший воск находит последнее воплощение в облике светлого воина на светлом коне.

Верно, и Настеха не была исключением, и со дна чаши к ее глазам воспарял тот же образ, вечный образ девичьей мечты. И она была счастлива...

...Гирлянды лампочек горят над деревенской площадью. Длинные столы уставлены снедью и питьем. Шум. Музыка. Смех. Песни, визг. Богатырски гуляют Конопельки, справляя победу своих мужиков над гитлеровской Германией, восславляя добрыми тостами живых и погибших. Уже не первый час идет веселье, лица порядком раскраснелись, и в празднике наметился вполне законный разнобой.

И тут, взобравшись на скамейку, Анна Сергеевна замала руками, требуя внимания, и закричала зычно:

— Слухай сюда!.. Слухай, бабы, слухай, весь народ!.. — И было что-то в ее голосе, отчего затих шум и развалившийся праздник вновь обрел стержень. — Давайте выпьем полную чарку за Надежду Петровну, за нашу колхозную мать!

— Будь здорова, мати!

— Счастья тебе и долгой жизни!

— Сто лет без печали!..

— За доброту и гнев спасибо!.. — слышатся искренние голоса.

К Петровне тянутся с чарками ее верные соратницы, делившие с ней все тяготы военного лихолетья, сивые колхозные деды, молодняк, с ней чокаются и блистательные кавалеры, еще не испытавшие на себе ни доброты ее, ни гнева. Петровна всем кланяется в пояс, но впервые речистая председательница не может слова вымолвить — ей слезной влагой забило горло. Почтительно сдвигает с ней бокал инструктор райкома Якушев.

И минула лучшая, быть может, минута в жизни конопельской председательницы, когда народ назвал ее самым дорогим и важным словом: мать.

А веселье вновь пошло своим ходом. Кокетничает напропалую смазливая Химка, без отказа пьет с каждым красивая, нарядная и печальная Настеха. Рванул мехи трофейного аккордеона Василий Петриченко, выметнулась на круг Настеха, за ней чертом заскакал сухой, костистый Жан.

Пара была — будь здоров! Оба быстрые, гибкие, с легким дыханием. Они были равны друг другу. Он шел всюду, куда она его звала. Путь его был нелегок. Горы, реки, пропасти, дремучие леса метала она ему под ноги. Но он не боялся трудных путей. Птицей проносился он над всеми препятствиями и, настигая, кричал:

— А ну, еще!..

Странно было лишь невеселое, застылое лицо Настехи, будто не в радость, а в наказание ей эта пляска.

У Надежды Петровны завязался свой, отдельный разговор с Якушевым.

— Побойтесь бога, Надежда Петровна, — говорит Якушев, — вам ли жаловаться — столы трещат!

— Да мы, знаешь, как к этому пиру готовились? Все подчистую подобрали, выложились до последнего за-ради наших мужичков!

— С такими орлами вы свободно дадите два плана, — убежденно сказал Якушев.

— Гляньте, до чего быстро научился! — всплеснула руками Петровна. — Без году неделя в райкоме, и уже знает, как с передовых колхозов три шкуры драть!

— Ну уж и три! — улыбнулся Якушев. — Пока речь о двух идет. Надо, Надежда Петровна, надо помочь стране. Народ из армии возвращается. Как всех прокормить?

— На износ робить — сроду сельского хозяйства не поднять.

— Но ведь бывают такие моменты в жизни, когда приходится все отдавать!

— Не надо жить моментами. Так только временщики живут. А народ живет в истории.

— Я неверно выразился: бывают такие периоды.

— Один леший! Война — все отдай, разруха — все отдай, восстановление — все отдай. Обратное коммунизм строить начнем — тоже скажут: все отдай. И получится — которые все отдали, больше уж ничего дать не смогут. А мы все отдавали, да маленько себе оставляли, чтоб крестьянское тело сохранить, не то и душе обитать будет негде. И мы есть и будем!.. — И не в лад этим словам лицо ее притуманилось.

Но не от разговора с Якушевым — она увидела, как пляшет Настеха, и что-то больное, надрывное почудилось ей в этой лихой и невеселой пляске. Выпростав из-за стола свое крупное тело, она направилась к пляшущим. Якушев тоже поднялся и пошел следом за ней.

Поединок на плясовом круге продолжался: Настеха не уступала Жану, а тот не уступал своей партнерше. Сдался третий — аккордеонист.

— Слабак! — презрительно сказала Настеха и, разломив толпу, вышла из круга.

Взяв со стола кувшин, она налила себе стакан красного вина. Внезапно рядом очутился Жан.

— Не пойдет! — крикнул он, выхватил у Настехи стакан, выплеснул вино и наполнил доверху водкой. — Портвейничик нехай лошади пьют, а мы — беленькое! — И, налив водку себе, добавил:

— Поехали!

Настеха духом выпила водку.

— Это по-гвардейски! — одобрил Жан. — Пошли на реку, искупаемся натурель.

— Как?

— В доверительном виде..

— Жан! — послышался голос Марины. — Вон-на!.. — Она зло сверкнула глазами. — Ах, дрянь, к чужим мужьям клеишься? Сраму захотела?

— Да на кой он мне сдался! — равнодушно проговорила Настеха, отвернулась и снова налила водки.

— Чего на девку кидаешься? — сердито сказал Жан, не терпевший, чтоб кто-то действовал ему наперекор.

— Ее не убудет! Пойдем в жмурки играть! — И Марина увлекла мужа за собой.

Настеха отпила из стакана, водка толкнулась назад, и она с трудом удержала глоток в себе.

— Не надо, Настя, — мягко сказала, подойдя, Надежда Петровна.

Настеха поглядела на председательницу светлыми от боли и ярости глазами.

— Оставьте меня!.. Хватит! Пожила я вашим умом, сыта по горло!.. — И, сжимая стакан в руке, Настеха непрочно и непрямо побрела прочь.

Надежда Петровна понурилась.

К Настехе подошла Дуняша.

— Не нужно, тетя Настя! — попросила она жалобно.

— Какая я тебе «тетя»? — мутно глянула на девушку Настеха. — Я твоя подменщица у господ фрицев. — Она повела вокруг глазами и увидела Дуняшиного парнишку с хохолком. — Пристроилась, тихоня! А кабы не я, чего бы с тобой было, а?..

— Я это знаю, — тихо проговорила Дуняша.

— А коли знаешь, молчи! Рюмку водки для Настехи жалеют, ишь, гладкие! Для своей благо-де-ятельница, тьфу на вас!.. — Настеха оттолкнула Дуняшу. — Пошла ты!.. Я, может, через тебя несчастной стала... — Она опрокинула стакан в горло, часть водки пролилась ей на подбородок, за пазуху. — Брысь!.. — И той же неверной поступью Настеха устремилась вперед...

— Это в ней последняя боль кричит, — обращаясь к Якушеву, говорит о Настехе Надежда Петровна.

— Последняя?.. — переспросил Якушев.

— Ну да! Бывает злая боль: от зависти, самолюбия, ревности — тогда сердце не умирает. А коли боль на любви — плохое дело, человек может в ней вконец истратиться. Я на себе испытала. Когда сыночка моего истребили, я

Богово лицо разбила... Думала — все, жить не для чего. А потом другое пришло: надо жить, чтоб вокруг меньше боли стало. А вот, поди ж ты, чем Настехе поможешь?

— Да, помочь не всегда можно, — меланхолически согласился Якушев.

— Слушайте, товарищ Якушев, — насмешливо и грустно сказала Надежда Петровна. — Почему такое? О чем бы мы с вами ни говорили — хоть о сенокосе, силосе, прополке или навозе, — всегда разговор на личное свертываете.

Якушев смутился, покраснел.

— У вас что, в семье нелады? — напрямик спросила Петровна.

— Тишь да гладь, да божья благодать! — неловко усмехнулся Якушев. — Одного только нет — любви.

— Куда ж она делась?

— Поиздержалась в дороге. Мало я в семье жил — все разъезды да войны. Отвыкли мы с женой друг от друга.

— Постель-то общая?

— А стыдно в ней, как в чужой.

— Эк же подло человек устроен! — сказала Надежда Петровна. — Когда у него чего есть, сроду не ценит!

— А когда нет ничего? — подхватил Якушев. — Чего тогда ценить? Пустой взгляд, взгляд насквозь, словно ты воздух или стекло. А когда тебя замечают — усталая брезгливость: неудачник, шляпа, заел век...

— Может, я слишком счастливая в своей семье была, только мне этого не понять. Чтоб близкие люди не могли договориться!..

— Договориться!.. Да разве мы слышим друг друга?

— Дети-то есть?

— Дочь. Замужем. Живет на Дальнем Востоке. Мы не видимся.

— Плохо это, товарищ Якушев. Но со мной вам не утешиться, прямо скажу.

— Этого можно было не говорить.

— А я думала, вы на жалость бьете.

— Нет! Я к жене — намертво... Она неприспособленная, злая и несчастная, у нее никого нет, и никому она не нужна, даже родной дочери. И я не имею права отойти от нее ни на шаг...

...Захмелевшая Настеха оказалась на лужке, где и большие и малые играли в жмурки. Сейчас водит Жан. Растопырив клещеватые руки, он кидается то в одну, то в другую сторону, силясь кого-нибудь поймать. Парни и мужики уклоняются ловко и молча, бабы и девки — с испуганным визгом.

Настеха и внимания не обратила на эти игры, она шла себе и шла через лужок и неожиданно оказалась возле Жана. Тот услышал близкие шаги, коршуном кинулся на добычу и сжал Настеху в объятиях.

— Попалась!.. Попалась!.. — закричали вокруг.

— Отпусти ты ее! — ревниво сказала Марина. — Чего шарить-то!

— Чтоб узнать, кого поймал, — возразил Жан. — Настеха! — И он сорвал с глаз повязку.

— Водить!.. Настехе водить!.. — закричали играющие.

Марина накинула Настехе повязку на глаза, двойным узлом связала концы на затылке и, раскрутив девушку за плечи, сильно толкнула вперед. Настеха засеменила, чтоб не упасть, и с трудом удержалась на ногах.

Марина сделала знак: молчок! — и увлекла всех играющих с лужайки.

Вконец одуревшая Настеха попыталась снять повязку, но не поддастся ее пальцам туго стянутый узел.

— Ужо я вас! — погрозила она кулаком и, широко раскинув руки, стала бегать по опустевшей лужайке.

Хмель заплетал ей ноги, швырял из стороны в сторону, она падала, подымалась и вновь начинала свое бессмысленное кружение. Настеха не заметила, как перевалила через кювет, продралась сквозь колючий кустарник, оставив на ветках клочья одежды, и оказалась на большаке. Смутно

сквозь затуманенное сознание в нее проникло ощущение горькой обиды. Из-под косынки, туго перехватывающей ей глаза, выкатывались слезы. Она ловила руками воздух, и жалко выглядела эта слепая, нелепая погоня за несуществующим.

Но вот руки Настехи, обнимавшие лишь пустоту, сомкнулись на живом теле человека. Прохожий остановился на дороге, чтобы прикурить из горсти. Занятый своим делом, он не заметил приближения девушки.

— Попался! Попался! Не уйдешь! — закричала с бедным торжеством Настеха. — Ты кто такой? Ты не Жан... не Васька... не Павлик... — Ее руки трогали грудь и плечи прохожего, поднялись к его лицу, коснулись губ, щек, скул. Настеха слабо, смертно охнула и отстранилась. — Господи!.. — произнесла она и стала валиться на землю.

Прохожий человек удержал Настеху, он сорвал с ее глаз повязку, и девушка увидела возле своего лица загорелое, возмужавшее лицо своего суженого Кости Лубенцова.

— Пришел!.. — сказала Настеха и заплакала...

...Медный свет близящегося к закату солнца стелется по стерне скошенного клевера, по валкам еще сыроватого сена, которое бабы ворошат граблями. Сеноуборочная в разгаре. Хотя колхоз обогатился мужским поголовьем, фигуры, оживляющие пейзаж, все те же: бабы, девки, два-три деда. Некоторое разнообразие вносит лишь Костя Лубенцов, работающий бок о бок с Настехой.

Действуют бабы старательно, но без обычного огонька. То одна, то другая вдруг станет, опустит бессильно грабли и потянется сладко, всем телом, как с недосыпа. И частенько поглядывают бабы из-под ладони на солнце: мол, скоро ли загорится вечерняя заря — предел долгого-предолгого страдного дня?

Вот остановилась Марина и, закрыв глаза, с хрустом повела плечами и томно, сонливо улыбнулась не то воспоминанию, не то радостной думе вперед.

— Ходи веселей! — подогнала ее звеньевая Настеха.

Марина медленно открыла глаза. С ней поравнялась Софья и передразнила Марину. Обе молодые женщины понимающе рассмеялись.

— Гляньте, Петровна! — сказала Даша...

Краем поля в сторону деревни шли Надежда Петровна и Якушев.

— Так как же насчет второго плана? — спрашивает Якушев.

— Рано, дайте нам прежде с мужиками управиться.

— А что, все не работают?

— Какой там! Гуляют с утра до поздней ночи.

— Хотите, я с ними поговорю?

— Ну а чего вы им можете сказать?

— Найду чего... пристыжу.

— Зачем же их стыдить? Они кровь проливали, они смертельно устали на войне. Это понимать надо. И вообще, давайте условимся, товарищ Якушев: мы сами будем свои болячки лечить. Народ не кобель, чтоб его носом в лужу тыкать!

— Вечно вы из-под меня почву вышибаете! — полушутливо-полусерьезно сказал Якушев.

— А по-моему, наоборот: я стараюсь вам жизнь облегчить. Ну чего вы, что ни день, сюда повадились? Нешто мы дети малые, своим умом жить не можем?

— Да ведь с меня тоже требуют!..

— То-то и оно! — вздохнула Надежда Петровна. — Мой дед извозом на Курском тракте занимался. Он рассказывал: попадетса, бывало, нетерпеливый седок и ну деда по шее лупить! Дед вывернется и давай лошадей охаживать. Так и мчатся: седок —деда, дед — лошадей, а лошади что?.. Лошади свое нутро тратят, перегорает в них сила, случилось, околевали прямо на скаку. Разорился дед...

— Мрачная притча!

— Не притча — правда! Колхозники — самые незащищенные люди. С рабочим не помудришь — взял расчет и

на другой завод подался. Профсоюзы опять же... А колхознику куда деваться? Он к земле прикован, у него и паспорта нету, попробуй уйди! И оттого иному дуrolому кажется, что нет никакого предела давлению. Еще поднажми, еще сок выдавишь — ан, то уже не сок, а кровь!.. Вот вы второй план с нас требуете. Знаю, нужно дать, такое сейчас положение в стране. Но как бы это сделать, чтоб поменьше людей ущемить, чтоб не обманом, не давлением это получилось, а по сознательности, по сердцу? Иначе на другой год не то что двух планов — одного не сробят. Филон начнется, как при немцах. Все в поле, а работы нет. Сельское дело — нежное, боже упаси его силой ломать. Не то что человек-труженик — сама земля обидится, перестанет рожать... А у нас к тому же лишняя трудность — наши почтенные мужички. Вон — гляньте!..

Последнее восклицание относилось к Жану Петриченко, на рысках спешившему в сельмаг с авоськой, полной пустой посуды...

...Сельмаг. Заведующий в грязном фартуке и донской папахе наваливает на прилавок гору различной снеди.

— Осетринки маринованной не будет, пойдет тюлька в томате.

— Давай тюльку, — соглашается Василий Петриченко, красный, разомлевший от затяжной пьянки.

— «Казбек» кончился, могу предложить «Беломор».

— Ты бы еще «Прибой» или «Волгу» предложил! — презрительно говорит Василий.

— Завтра обеспечим «Казбек»! — с готовностью говорит заведующий.

Василий кидает на стол деньги: «Сдачи не треба!» Забирает в кошелку водочные бутылки, консервы и прочую снесь, идет к выходу. В дверях сталкивается с Жаном.

— Коль мужики еще с недельку так погуляют, — шепчет завмаг продавцу, — выполним квартальный план. А ну-ка, — заметил он нового посетителя, — обеспечь подкрепление.

Жан подошел к завмагу, шмякнул авоську на прилавок, огляделся.

— Реализуем, папаша, чудные дамские часики системы «Омега»?

— Это как понять — «реализуем»?

— Культурное, заграничное слово! У них, понимаешь, есть деньги — «реалы» называются. Получил за товар деньги — значит, «реализовал». Реализуй мне две косых и забери эти чудные часики на шестнадцать камнях.

— Ну-ка, покажи...

...Гуляют конопельские мужики. Фарсовито, истово, без суеты и спешки. В разных концах деревни могучие, промытые «Демченкой» и «Особой московской» глотки исторгают лихие и грустные песни. Звучат и неизбывные «Степь да степь крутом», «Молодая пряжа», и «Крепка броня», и «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». На всех кавалерах — галифе, суконные кителя и воинские фуражки; подворотнички сверкают белизной, сапоги надраены до зеркального блеска.

С поля устало возвращаются бабы. Проходят мимо пирующих фронтовиков, умиленно прислушиваясь к пению, в котором основной упор делается на громкость.

— Мой-то, ну чисто Лемешев! — глядя на широко открытую пасть Василия, умиляется Софья.

— Уважаю мужские голоса, — заметила Марина, — не то что наша бабья визготня.

— Красиво гуляют! — присоединила свой голос Комариха...

— Нет, вы как клали? У вас кирпич с кирпичом не сходится! — орет Надежда Петровна, выстукивая новую печь в зимнем птичнике.

Перед ней в испачканных известкой фартуках стоят Матвей Игнатьевич и Матренин муж по кличке Барышок. Мастера исполнены чувства собственного достоинства, чуть презрительной обиды, но отнюдь не смущены и не подавлены упреками председательницы.

— Нешто может баба понимать в печах, а, Матвей Игнатъич? — говорит Барышок, разминая в пальцах папироску.

— Никак не может, — степенно отвечает Матвей Игнатъевич.

— Вот что, — устало говорит Петровна, — разбирайте эту печку к чертовой матери!

— Сроду этого не было, чтоб разбирать, — не теряет спокойствия Матвей Игнатъевич. — Не хотите платить — не надо. Мы как старые члены партии проявили сознательность, вышли на работу, а терпеть издевательства неумной женщины не намерены.

В дверях и проемах окон птичника показались встревоженные лица женщин: Анны Сергеевны, Матрены, Марины, Софьи и других, привлеченных сюда громким голосом председательницы.

— За такую работу гнать бы вас из партии! — с горечью произнесла Петровна.

— Ты, Надежда Петровна, привыкла бабами верховодить, — сказал Барышок, — а с нами номер твой не пройдет. Мы войну сделали, знаем, что почем.

— Войну вы сделали — честь вам и хвала. Но неужто вы на войне работать разучились? Ты мне так клади: где дырка, там глинка, где бугорок, там молоток! — И Надежда Петровна вышла из птичника.

— Чего ты на мово-то кинулась? — обиженно сказала Анна Сергеевна. — Он хоть на работу вышел..

— Подумаешь, герой! Может, ему за это еще в ноги кланяться?

— Кланяться нечего, а другие мужики вовсе филонят. Только и знают, что водку дуть да песни играть.

— Мой Василь надьсь междуурядья перепыхивал, — заметила Софья.

— Да, — подхватила Анна Сергеевна, — борозду пройдет и ну дымить! Две сигарки искурит, тогда дальше ползет.

— Он контуженый, — потупилась Софья, — ему табак для головы полезен.

— Хорош контуженый — бугай бугаем, а такой куряка — не приведи господи!

— Ну а Маринин Жан вовсе на поле носа не кажет! — обиделась Софья.

— Да что Жан — один, что ли? — вступилась за мужа Марина.

— А ведь правда, бабы! — вскричала Матрена. — Мы горбину гнем, а мужики наши, словно панычи. Зажрались, аж лоснятся. Капризничают — того им подай да этого!

— Я б в охотку! — от души сказала Софья. — Я все для него рада, лишь бы работал как человек.

— Хотите, бабы, чтобы они фасон свой бросили, за работу, за дело взялись? — сказала Надежда Петровна.

— Ой, помоги, Петровна!

— Пускай каждая сама себе поможет. Посуровой с ним будь, лиши его ласки, не охаживай да не обслуживай. Удивится — поясни: мне, скажи, нужен муж, друг, работник, хозяин, а не всадник-нахлебник.

— Ой, не знаю, бабоньки! — вскричала Софья. — Может, и хорош совет, а только мой Васька глянет — и нет моей воли.

— Смотри, Сонька, уговор общий. Не подведи! — сказала Настеха.

— Ты в бабье дело не лезь! — прикрикнула на нее Марина.

— Это почему же? — растерялась Настеха.

— А кто ты есть? Не девка, не баба, ни богу свечка, ни черту кочерга..

— Молчи ты! — остановила Петровна. — Вот кончим сеноуборочную — и справим Настехину свадьбу. Ну что, бабоньки, принято условие?

— Принято!.. Принято!.. — отозвались бабы, кто с задором, кто в сомнении, кто с явной неохотой.

— Не знаю, как другие, а за себя я ручаюсь, — твердо сказала Комариха...

...Со страшным грохотом летит с печи престарелый супруг Комарихи. Он падает на поленницу, разваливает ее и остается бездыханным.

— Говорила тебе: нельзя! — свесила с печи седые космы Комариха. — Ты живой там? Эй, дыши, старичок!

— Подсоби! — слышится слабый голос. — Я в дежу угодил...

— Не пушу, — тихим, жалким голосом говорит Софья, — право, не пушу. — В длинной ночной рубаше она припала к двери, ведущей из горницы в кухню.

Василий с другой стороны дергает дверь так, что дрожит изба и сыплется пыль с притолоки.

— Детей разбудишь... Не мучай ты меня, — просит Софья, — ступай на сеновал, там постелено.

— С последнего ума спятила? — рычит Василий.

— Замучил ты меня, мочи нет. Не пушу, вот те крест, не пушу! — рыдает Софья...

...У Настехиной хаты идет тихий ночной разговор. Настеха, в спальном рубаше, облокотилась о подоконник. Снаружи, возле окна, стоит Костя Лубенцов в накинутой на плечи курточке.

— Когда поженимся? — спрашивает Костя.

— Нешто мы не женаты?

— Я по закону хочу.

— Ишь какой законник... Я тебя мало знаю.

— Чего меня знать-то? — простодушно сказал Лубенцов. — Я весь на виду.

Глаза Настехи потемнели.

— А может, я не вся на виду. Много ли ты про меня знаешь?

— Чего б не знал, моего к тебе ни убавить, ни прибавить, — серьезно сказал Лубенцов. — Я с тобой без остаточков.

— Ой ли?.. — Какая-то хрипотца в Настинем голосе. — Хватит болтать! И вообще, иди отсюда. Нам запрещено с вашим братом водиться.

— Что так?

— Карантин.

— Нет, правда?

— Прочитать вас надо, чтоб работали!..

— Это я-то не работаю?

— Ты у меня, Костя, золото. Но только давай от ворот поворот, нечего нам баб дразнить.

— Поцелуй, тогда уйду.

В этом Настя не могла ему отказать...

...У деревенского колодца толпятся с ведрами мужики. По утренней улице идет злой, непроспавшийся, но обуянный какими-то соображениями Жан. Он видит столпившихся у колодца и судачащих мужиков, и высокомерная улыбка змеится по его тонким губам. Это не остается незамеченным.

— Ишь, задается! — говорит Василий. — Чего-то он надумал!..

— Братцы, сколько этот Жан барахла привез, и-их!.. — восторженно ужасается подошедший с ведрами Барышок.

— Ты почему знаешь?

— Одних часов — сто пар, а браслетов, бусиков, колец — сосчитать невозможно!..

— Точно! — подхватывает рыжий парень. — Мне намедни Францев с Выселок стренулся. Они с Жаном вместе в Берлине были. Так он говорит... — Рыжий таинственно понизил голос, и все дружно посунулись к нему, чтобы, упаси боже, не пропустить интересную сплетню.

— Други, — говорит Матвей Игнатьевич, — а вам не кажется, что мы хуже баб стали? Чешем языками, как заправские кумушки...

...Жан приближается к ручью, обтекающему деревню за огородами.

Под сенью ив расчесывает мокрые волосы конопельская Манон — Химка. Короткий сарафанчик плотно обтягивает ее влажное тело.

— Химка, — проникновенно сказал Жан, — пойдешь со мной в рошу?

— Дядя Жан, нешто вы с утра закладываете? — Из-под красноватого полога волос заинтересованно проглянул темный Химкин глаз.

— Хочешь, дыхну?

— Верю! Верю! — поспешно сказала Химка.

— Ну пойдём, я тебя отблагодарю.

Химка чешет волосы, не обращая внимания на Жана.

— Убудет тебя, что ли? — обиделся Жан. — Одним больше, одним меньше — какая разница?

— Сроду с женатиками не гуляла, — последовал ответ.

— Я все равно что холостой, жена отставку дала, — с наигранной горечью сообщил Жан. — Слушай, Химка, я подарю тебе чудные швейцарские часики.

— Какие?

— Фирма «Онемаханизмус»...

— Без механизма, значит?

— Почем ты знаешь?.. Да нет, в них все чин чинарем. Шестнадцать камней. Это только название такое, потому облегченный механизм.

— Дядя Жан, катись-ка ты отсюда, не то тетке Марине скажу.

— Тоже мне невинность! — разозлился Жан и, наподав сапогом Химкины тапочки, пошел восвояси...

...На колхозном базу конюх проваживает Эмира, чудожеребца чистейших орловских статей. Надежда Петровна любит дивным конем, словно выточенным из цельной черной кости. Эмир дышит из ноздрей сухим жаром, скашивая на председательницу диковатый, настороженный зрак.

— Рацион строго соблюдаешь? — спрашивает конюха Петровна.

— Обижает, Петровна! Я, бывает, сам не пожру, но Эмир у меня всегда обухожен.

Петровна хотела еще что-то спросить, но тут внимание ее было властно отвлечено. К базу подходил глубокий овраг, густо заросший травой и полевыми цветами: ромашкой, резедой, колокольчиками. По отлогой пади оврага ползал Софьин муж Василий и собирал цветы. Петровна устремилась к оврагу.

— Ты что, Василий? — крикнула Петровна. — На подножные корма перешел?

Василий не ответил, только спрятал за спину букет.

Надежда Петровна приблизилась к нему.

— Никак сударушку завел? Так Софье и передам.

— Для нее и рву, — буркнул.

Чувствуется, что Надежду Петровну прямо-таки разрывает от смеха, но она сладила с собой и — сочувственно:

— Нешто она к вам охладела? Давайте я вам букетик составлю, а то у вас между цветами лошадиный клевер торчит.

Обалдев от срама, Василий сунул ей букет. Петровна быстро подобрала его по цветам, сорняк повыдернула.

— Может, вам с гитарой у ней под окнами посидеть? Женское сердце на музыку падкое. Да и детишкам вашим будет занятно.

— Хватит насмешничать...

— А я не насмешничаю. Я к тому, что травка тебе не поможет. Вспомни лучше, каким ты раньше плутарем был, каким чертом был на работе. Тем и взял ты Софьино сердце.

Василий не отличался особой сообразительностью, но тут его осенило:

— Так это ты, значит, бабу с панталыку сбила?

И сжал букет, как топор, вот-вот ахнет Петровну по голове. Но и та зашлась, ей сейчас все нипочем.

— Нишкни, лодырь! На твою бабу молиться надо. Она по шестнадцать часов робила, траву жрала, чтоб детей твоих сохранить. Ангел она, а не баба. А ты ряшку разлопал, а

робишь, будто поденный. Ей бы гнать тебя в шею, Аника-воин! — размахивая кулаками перед самым носом Василия, орала разбушевавшаяся председательница...

— Ну-ну, ты полегше... — отступая, бормотал Василий...

...По улице идут Якушев и Надежда Петровна. Якушев громко, заразительно смеется.

— Неужто помогло? — спрашивает он сквозь смех.

— А как же! Конечно, не то помогло, что почти в смех задумано, — совесть в мужиках заговорила.

— Знаете, Надежда Петровна, — закуривая, сказал Якушев, — а ваш метод уже известен в истории. Была такая древнегреческая дама Лисистрата. И она предложила своим согражданкам объявить любовный бойкот мужьям, если они не перестанут воевать.

— Когда это было? — остро спросила Надежда Петровна.

— Да более двух тысяч лет назад.

— Во-на! И помогло?

— Еще как!

Надежда Петровна чуть задумалась, потом сказала с торжеством:

— И ничего похожего!.. У них — война, а у нас — мирный труд. Совсем, значит, наоборот... А все ж ки эта твоя, как ее?.. Лизасрата — умная баба! Я бы ее к нам в правление взяла.

Мимо проходит Жан, небрежно здоровается и подымается на крыльцо сельмага.

Сельмаг. Заведующий в грязном фартуке меланхолически озирает полки, тесно заставленные бутылками и дорожными папиросами. Берет пачку «Казбека», раскрывает ее, нюхает.

— Так и есть — залпсневели, — уныло говорит он.

Жан кидает на прилавок мелочь.

— Спички!

Завмаг с понурым видом кладет перед ним пачку спичек. Жан пытается прикурить, спички шипят и гаснут.

— Отсырели, не горят.

— Зато мы горим, — тяжело вздохнул завмаг, — горим, как шведы под Полтавой.

Жан окинул взглядом магазин и понимающе присвистнул.

— Подорвали бабы нашу коммерцию. Слушайте, товарищ Жан, а вы не возьмете назад свои часики? Шестнадцать камней.

— Не дешевись! — презрительно сказал Жан. — Еще не вечер. — Он наклонился к завмагу. — Ты что, твердо решил сгноить весь табачок?

— А что с ним делать? Не берут.

— Что делать? Ребята, инвалиды войны, герои, мучаются, где бы раздобыть папирос для штучной продажи, а он тут дерьмо в слезе размешивает! Да в Судже, в Рыльске, в Льгове, в самом Курске твою плесень с руками оторвут!

— Так ведь туда ехать надо, а на кого я магазин брошу?

— Съездить можно... — тягуче и равнодушно сказал Жан.

— Товарищ Жан, пройдем в кабинет... — попросил завмаг...

...Возвращаются с поля колхозники. Видать, крепко устали: чуть не на версту растянулась полеводческая бригада, идут в тишине — ни разговора, ни песни, ни шуток. Поравнялось с конторой звено Настехи. Из окошка высунулась Надежда Петровна, зыркнула рысьим взглядом.

— Опять Жан не вышел?

— Опять.

— Хватит с ним цацкаться. Сколько у него прогулов?

— Вся неделя.

— Штрафуй — и баста!

Ничего не подозревавший Жан спокойно покуривал на крылечке своего дома, отдыхая от трудов неправедных.

— А Марина чего не идет? — поинтересовался Жан.

— Идет... маленько отстала, — отозвалась Настеха. — Завтра с утра отнесешь в контору двести рублей штрафа.

— Не жирно будет? — думая, что с ним играют, беззлобно огрызнулся Жан. — Может вытошнить!

— Ничего не попишешь — систематические прогулы.

— В каких купюрах платить — в крупных или мелких? — резвится Жан.

Подошла огорченная и разозленная Марина.

— Думаешь, она шутит? — завела на высокой ноте. — Здесь так положено!

— Нет такого закона, — сказал Жан, все еще пребывая в странной беспечности.

— А у них есть! — бессознательно отделяя себя от колхоза, крикнула Марина.

— Вы что?.. — побледнел Жан. — Ты что?.. — Он с ненавистью поглядел на звеньевую. — Сдурела, зараза? Да я за двести рублей горло перегрызу. Катись отсюда, не то сыплю горячих — небось срамотно будет!

— Но-но, полегче! — сказал Лубенцов и загородил собою Настю.

— Ты кто такой? — Жан встал, одернул рубаху. — Ты-то чего лезешь?

— Не встречай, Костя, сами разберемся, — сказала Настеха. — А штраф платить придется.

— Поговори еще, фрицев матрас!

— Сволочь! — Кулак Лубенцова обрушился на челюсть Жана. Тот упал, сильно приложившись затылком о ступеньки крыльца.

— Чего дерешься, дурашлеп?! — яростно закричала Марина. — Правда глаза ест? Хошь не хошь, а невесточка тебе досталась с брачком! С фрицевой зазубриной!

— Настя!.. — беспомощно сказал Лубенцов. — Настя, чего она?!..

Странная полуулыбка забила на лице Насти.

— Вишь, молчит! — с торжеством сказала Марина. — Не может соврать перед народом! — Опустившись на корточки, она пыталась поднять Жана.

— Настя!.. Ну чего ты молчишь?.. Настя!.. — потерянно бьется голос Лубенцова.

Он оглядывает людей, ищет у них защиту Насти, но люди отводят глаза, не зная, как объяснить внутреннюю неправду позорного обвинения. Лубенцов понимает это по-своему, лицо его становится жалким, потерянным.

— Настя, как же так?..

— А вот так! — звонко сказала Настя, повернувшись и пошла.

Заплакал бывший танкист и, как был, не разбирая дороги, через буерак, потащился вон из деревни.

Жан очухался, сбегал в сени и вернулся с колуном.

— Где он, сволочь? Я его обрублю!

— Ты уже его и так обрубил... да и ее тоже... — с печалью и презрением сказал Василий.

— Ищи ветра в поле! — добавил кто-то.

И люди видят, как Лубенцов, выйдя на большак, остановил полуторку и перевалился в кузов.

— Сука ты, Жан! — сказал Василий.

Жан замахнулся колуном. Василий без труда обезоружил его и зашвырнул колун в палисадник. Оттуда с квохтаньем выскочила наседка. Все дружно проследили за рябой курицей, которая, взмахивая крыльями и теряя перышки, перебежала улицу и юркнула под створку ворот. Люди чувствовали какую-то свою вину в случившемся, но не знали, как поступить, и потому цеплялись за мелочь внешних впечатлений.

Беда, как предгрозовой ветер, захлопала створками окон, дверьми, калитками, заметала по улице бабьими подолами,

и не узнать, кто первый крикнул тут же подхваченное всеми:

— Настеха повесилась!..

..Казалось, Надежда Петровна спокойна до бесчувствия, если б не тяжкая, страшноватая краснота в лице; кровь вздула вески толстыми венами, налила выкатившиеся из орбит глаза. А голос звучал деловито и ровно, когда, быстро шагая деревенской улицей, она выспрашивала у Анны Сергеевны:

— Кто ж первый обнаружил-то?..

— Дуняша. Она сразу почуяла недоброе — и за Настехой... Прибежала, а та уже распорядилась. Дуняша, молодец, схватила косу и обрезала гужи...

— Настеха не поуродовалась?

— Маленько шею ободрала.

— Плачет?

— Нет, молчит.

— Это плохо, надо, чтоб плакала.

...— Что же ты наделала? — сказала Надежда Петровна непривычно маленькому Настехиному лицу, потонувшему в подушке. — Ты же не себя казнила, ты всех нас казнила, а лютей всего Дуняшу и меня. Жестоко это, Настя...

Лицо молчит, хотя глаза открыты, не понять, доходят ли слова председательницы.

— Нельзя так, Настя... Из-за подлости мелкой шушеры губить такое чудо чудное, как жизнь!..

Лицо молчит.

— Ведь ты любишь Костю. Разве его тебе не жалко? Думаешь, стал бы он жить, когда б ты в своем зверстве успела?

Лицо плачет.

Надежда Петровна сразу вышла из горницы. Конюх и тренер держат Эмира, запряженного в легкий шарабан.

— Загубишь коня, Петровна! — с тоской говорит тренер.

— А хоть бы!.. Это всех коней дороже! — Петровна забралась в шарабан, взяла вожжи, кнут. — А ну, пускайте!..

Конюх и тренер рассыпались по сторонам. Эмир повелся в оглоблях, чуть осадил, всхрапнул и полетел.

— Быть ей без головы! — сказала Комариха.

Осталась позади деревенская улица, сивый старик сторож едва успел откинуть околицу, и шарабан вынесся на большак.

Густая пыль, позлащенная идущим под гору солнцем, скрыла шарабан, а когда он вновь возник, то под ошинованными колесами дробилась щебенка шоссе.

Деревянный мосток кинулся под ноги коню, мягко прогрохотал гнилыми бревнами, будто сыграл какую-то мелодию, и часто забисерил гравий о днище шарабана. Широко, мощно шел Эмир, подлинно «холсты мерил», и не сбился гордый конь с рыси, когда Петровна круто завернула его на целину.

По скошенному клеверицу и пару ровно прошел шарабан, а затем началось дикое поле, поросшее колокольчиками и ромашками, а в цветах скрывались серые лобастые камни — знаки ледового плена земли. Объехать их не было возможности. Шарабан резко подкидывало вверх, заваливало набок. Петровна держалась в нем лишь весом грузного тела да злостью. Стоило Эмиру раз сбавить скорость, как она вытянула его кнутом, и оскорбленный конь понесся вперед, грудью рассекая цветы и рослые травы.

Поле пошло оврагами, балками. Упряжка то скрывалась из виду, то над краем пади возникала узкая голова коня. Они пронизали березовую рощу, ободрав ступицами колес белые стволы, и вымахнули на асфальтовое шоссе под носом у полуторки. Впереди уже виднелись железнодорожные постройки и печально сигналил маневровый паровозик.

Костя узнал председательницу и, не раздумывая, на всем ходу выпрыгнул из кузова. Он упал, больно ударившись об асфальт, вскочил и побежал к ней.

Надежда Петровна уже сошла на землю и оглаживала взмокшую морду Эмира.

— Сядь, — сказала она Косте.

Он покорно сел на краю кювета, она тяжело опустилась рядом.

— Слушай: была девочка, был парень, дружили. И вся деревня, как положено, дразнила их «жених и невеста». Парня взяли на финскую, и он замерз у погранзнака «ббб», легко запомнить. Девочка подросла, стала девушкой, полюбила хорошего человека. Он ушел на Отечественную. Через неделю ей доставили похоронную... Потом другую пару дразнили «жених и невеста», и немецкий солдат хотел эту «невесту», девочку, ребенка, чести лишить. Чтоб спасти ее, Настя себя, как кусок мяса, тому солдату кинула. Нынче девочка Насте долг вернула — вынула ее из петли.

— Как?! — Он схватился рукой за горло.

— Так вот, Костя Лубенцов, чистенький мальчик... Ну куда тебя везти: на станцию или?..

Он только мотнул головой, говорить не мог...

...Ухает, стонет над деревней чугунное било, как в старь, как в самые трудные для конопельских людей времена.

В паузах между ударами слышится надсадный рев дизельных моторов.

— Зачем они так колотят? — большим голосом спросила Настя сидящую у ее изголовья Комариху.

— Народ на правез собирают, — отозвалась старуха. — Обидчиков твоих судить.

— К чему?.. Не нужно... Что мне до них?.. — Настя зажала уши.

— Нужно, девушка, нужно! — сказала Комариха. — Не ради тебя, а ради всех это нужно...

— Ну, иди! — говорит Надежда Петровна Лубенцову, остановив запаренного коня возле Настинного дома. — Сам

иди... Может, она тебя и не выгонит. Я бы выгнала, а она — добрая душа... Ступай!

Лубенцов медленно идет к дому, подымается на крыльцо, толкает дверь. Надежда Петровна следит за ним с напряженным лицом. Проходит несколько пустых секунд, затем дверь распахнулась, и вышла Комариха. Старуха перекрестилась и торопливо зашагала в сторону набатного звона.

Надежда Петровна глубоко вздохнула, зашла к голове коня и поцеловала его в большой лиловый глаз.

— Прости, Эмирушка... вишь, не зря...

...Все конопельцы, от мала до велика, запрудили деревянную площадь. Замолк чугунный рельс, и над затихшей площадью звучит голос Надежды Петровны:

—... когда вы землю нашу врагу отдавали, когда вы драпали от немецких танков и пехоты, разве сказала хоть одна русская женщина слово упрека солдату? Когда вас, пленных, рваных, чуть не голых, через деревни гнали, нашлось ли хоть у одной женщины недоброе или насмешливое слово? Нет. Мы вам хлеб выносили, молоко выносили. Нас штыками кололи, прикладами били, а мы все равно вам служили. Вы нас немцам в добычу оставили, а мы ваше место берегли, детей ваших берегли, себя для вас берегли до последней человеческой возможности. Что нам на долю выпало, то вам не снилось. На войне один раз убивают, а нас каждый день убивали. И никто нам не судья. Насте подвиг ее святой грязью обернулся, гибелью сердца обернулся, петлей обернулся. Но ты, гнида куриная, Жан Петриченко, не одной Настасье — всем русским женщинам в душу нагадил и мужскую честь в дерьмо затоптал. Народ тебя приговорил, нет тебе пощады. Да будет всем неповадно на горькой нашей земле какой ни на есть малостью женщину попрекнуть!..

— Помилуйте, люди добрые!.. — раздался звенящий крик Марины.

Она билась в руках односельчан. Рядом, бледный в черноту, молча извивался в железных тисках Василия ее муж Жан.

— Давайте, ребята! — крикнула Крыгченкова.

Взревели моторы, толпа расступилась. Дом Марины и Жана опетлен толстой, витой железной проволокой по оконницам, стойкам крыльца, балкам, поддерживающим кровлю. Свободным концом каждая проволока прикреплена к тракторам, пнекорчевателю, грейдерной машине. По знаку Надежды Петровны машины двинулись. Рухнули стойки крыльца, зашатались стены, поползла соломенная крыша сарая.

Надежде Петровне показалось, что один из трактористов недостаточно радив, она согнала его с трактора и сама села за штурвал. Задним ходом наезжала она на дом, ударяла в него тяжелой массой трактора, а затем мощно рвала вперед. И дом начал поддаваться по всему своему составу, и многие в толпе, не выдержав, отводили взор, зажимали уши, чтоб не вмдеть, не слышать смерти дома.

Под дикие вопли Марины, матерный лай Жана рушилось, уничтожалось крестьянское жилье с большой русской печью, клетями и подклетями, чуланами и сусеками. Страшновато обнажалось мудро устроенное нутро дома.

Но вот рухнула крыша, повалились стены, взмыла густая пыль, и все было кончено.

Подкатила поганая телега, на какой возят назем, скупо выстланная соломой. Туда посадили полумертвую Марину, толкнули Жана, затем им подали завернутую в одеяло, сонную, ничего не ведающую дочку. Старик сторож подобрал вожжи, причмокнул и, шагая рядом с телегой, повез семью Петриченко прочь из родной деревни...

...Полдень. Краем деревни идут Надежда Петровна и Якушев, одетый по-дорожному.

— Неужто вас из-за меня сняли? — похоже не в первый раз спрашивает Надежда Петровна.

— Надо же кому-то отвечать... — пожал плечами Якушев. — Но сняли меня не только за это, а по совокупности:

и со вторым планом не проявил я должной твердости, и вообще сею гнилой либерализм.

— Что же с вами теперь будет-то?

— Учиться посылают.

— Надо же! Так, глядишь, до яслей дойдете!.. Ну и как, научат вас «должной твердости»?

— Не думаю, — улыбнулся Якушев. — Я многому у вас научился, Надежда Петровна, — сказал он тепло. — Меня не столкнешь на такой путь. Сельское дело — нежное, а колхозники — самые незащищенные люди, так вы говорили? Я этого никогда не забуду. Да и вас я никогда не забуду..

Они остановились у околицы.

— Спасибо, — сказала Надежда Петровна. — Коль мы расстаемся, могу вам признаться: я вас тоже помнить буду. Благодарна я вам. Не только за то, что защитили, а что открыли вы мне мое живое сердце. Ничего у нас с вами быть не могло — тому и живые и мертвые помехой. Но одному никто не помешает: буду я о вас думать, скучать, может, всплакну. А для меня это очень много, почти счастье.

— Спасибо, — хрипло сказал Якушев. — Не ждал я этого. Спасибо. И до свидания.

Он подал ей руку. Надежда Петровна притянула его за шею.

— Прощай, милый мой, жалкий мой человек! — И она поцеловала Якушева.

Он повернулся и, не оборачиваясь, быстро пошел по дороге. Она глядела ему вслед. Потом поднялась на бугор, где под рослыми плакучими березами зарастало бурьяном и лопухами заброшенное сельское кладбище. Отсюда она еще долго видела Якушева.

Видела, как он остановил грузовик и забрался в кузов, как оглянулся на деревню, как скрылся грузовик за поворотом. Тогда она поднялась еще выше, на самую макушку бугра, взобралась на поверженный гранитный памятник и опять увидела грузовик и стоящего в кузове Якушева.

А затем она услышала било. Спрыгнула на землю и пошла тяжелой походкой немолодой, усталой женщины...

...Когда Надежда Петровна вошла в помещение колхозного клуба, перевыборное собрание уже началось.

— ...Мы не хотим оказывать на вас давление, товарищи колхозники, — звучит голос заведующего сельхозотделом райкома партии Круглова, и поначалу кажется, что мы перенеслись в военные годы. Тем более что сам Круглов нисколько не изменился: тот же поношенный морской китель с полосками за ранение, так же прижата к боку несгибающаяся в локте рука, то же бесконечно усталое, серое лицо. — И хоть у вас нынче уж не бабье царство, — продолжает Круглов, — вон сколько королей и принцев, но по-прежнему тон задают уважаемые женщины, и мы решили, что и председателем лучше выбрать женщину.

— Опять же в баню сможем вместе ходить, — словно поддаваясь гипнозу бывшего, послышался чей-то звонкий голос.

— Давайте серьезнее, товарищи! Райком рекомендует на должность председателя товарищ Кидяеву Марту Петровну. Она заведует парткабинетом в райкоме, хорошо проявила себя на разных участках и вообще развитой, упорно работающей над собой, выдержанный товарищ.

Теперь мы видим и Марту Петровну, сухощавую, похожую на классную даму, ее длинный нос все так же оседлан старомодным пенсне, она, видимо, навсегда застыла в своем безнадежно скучном образе.

— Постой, милоч! — раздался голос Комарихи. — Больно уж ты быстрый!..

И с Комарихой, неведомо для себя повторившей собственные слова, вошла новизна. Теперь видно, как не похож нынешний день Конопелек на те далекие, горькие дни. И Комариха и остальные колхозники одеты справно, даже нарядно. Собрание происходит в просторном, красивом помещении клуба, и состав собрания иной:

конечно преобладают женщины, но не мала и «мужская прослойка».

— Можно? — поднялась Софья. — Мы товарищу Якушеву второй план дать обещали. Думаете, легко это? Ой как не легко! Пусть Марта Петровна выдержанная, сознательная, а тут дьявол нужен. Тут нужен такой человек, чтоб нам бубну выбил, а своего б достиг. У нас есть такой человек. Анна Сергеевна, от лица колхозников прошу: стань нашим председателем!

— Анну Сергеевну!..

— Даешь Петриченко!

— Это не баба — антонов огонь!.. — слышались возгласы.

— Как вы относитесь к выдвижению своей кандидатуры в председатели, Анна Сергеевна? — с улыбкой спросил Круглов.

— Что ж, коль Петровну велено переизбрать, я согласна быть председателем. Думаю — справлюсь!..

— Кто за Анну Сергеевну Петриченко, прошу поднять руки.

Мгновенно вырос лес рук. Круглов начал считать, на миг столкнулся глазами с Крыченковой, высоко поднявшей руку, и бросил ненужный счет.

— И так видно, избрана единогласно!..

...Колхозная площадь. Перед выходом на работу Анна Сергеевна впервые напутствует колхозников своим председательским словом:

— ...так решило правление, и я смекаю в своей голове: при этой расстановке сил мы и второй план дадим и себя, бог даст, не шибко обидим. Если возражений нет, начнем робить.

Молчание, затем все головы поворачиваются к Надежде Петровне.

— Ну чего ж ты, — обратилась к ней Анна Сергеевна, — скажи людям: так или не так?

— Нет уж, отговорилась, теперь я человек рядовой. Ты председательница, тебе и карты в руки.

— Я-то — председательница, — Анна Сергеевна улыбнулась легкой, прекрасной, от души идущей улыбкой, — да ведь ты МАТЬ!

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«БАБЬЕ ЦАРСТВО» «Мосфильм». 1967.

Автор сценария — Ю. Нагибин. *Режиссер-постановщик* — А. Салтыков. *Операторы*: Г. Цекавый, В. Якушев. *Художник* — Е. Свидетелев. *Композитор* — А. Эшпай. *Звукооператор* — Е. Индлина.

В ролях: Р. Маркова, Н. Сазонова, С. Жгун, А. Дорохина, В. Столбова, В. Попова, С. Суховей, А. Кузнецов, П. Чернов, Е. Копелян, А. Грузинский, Б. Кудрявцев, Ф. Одинокоев, Б. Соломин, В. Граве, Д. Шутов, Г. Соколова, А. Крыченков, В. Березуцкая.

Председатель

Часть первая. БРАТЯ

..Околица деревушки. Покосившиеся избы под сопревшими соломенными крышами. Пыльный большак огибает деревушку. На бугре под березами пасется бедное стадо: десятка полтора худых коров, несколько телят, овец, коз. Пожилой пастух играет на жалейке что-то тихое, грустное. Рядом с ним лежит на животе подросток лет шестнадцати, босоногий, в ситцевой рубашке без подпояски и портах «ни к селу ни к городу». Он задумчиво слушает жалкую мелодийку.

Старик, видимо, хочет передать ему свое искусство. Он вынимает ивовую дудочку изо рта, накладывает пальцы на лады, снова подносит ко рту, дует, и неожиданно слабое его дыхание рождает мощный, волнующий звук боевой трубы.

Парень вздрагивает, подымается на локтях. Из-за перелеска к деревне, клубя пыль на дороге, выходит конная красноармейская часть. Парень вскакивает и стремглав сбегает с бугра.

Как замороженный глядит он на бойцов в остроконечных шлемах с красными звездами, на их усталые, обветренные лица, на их худых, поджарых коней, глаза его горят, каждая мышца тонкого мальчишеского тела напряжена.

Из деревни выбегают ребяташки и подростки, но в них приметны лишь обычное молодое любопытство и та простая радость, с какой дети глядят на конников.

Один из конников держит на поводу оседланного коня, то ли владелец его пал в бою, то ли, раненный, отстал от

части. Он замечает страстное напряжение босого паренька и полушутя-полусерьезно подзывает его взмахом руки.

Тот неуверенно подходит. Конник показывает: садись! Парень глядит на него, все еще не веря. И вдруг одним взмахом вскакивает на спину коня и твердой рукой хватается повода.

— Егорка!.. Егорка! — кричит ему с околицы коренастый, широколицый мальчонка. — Ты куда?..

— На войну! — обернувшись, бросает Егорка.

Конники на рысях удаляются прочь от деревни...

Титр: ГОД 1947-й.

Ночь. В мутном свете месяца чернеют стропила сторевших изб, голые печи похожи на кладбищенские памятники. Сиротливо горбятся соломенные и тесовые крыши уцелевших изб. Где-то тоскливо воеет собака.

К околице, разбрызгивая сапогами весеннюю грязь, приближается человек с рюкзаком за плечами. На околице уцелел лишь покосившийся столб, перед ним ямина, полная воды. Человек протягивает вперед левую руку, хватается за столб и перескакивает через яму.

Бешенный, взалхб, лай прорезает тишину ночи. Черным клубком на человека насккивает большой худющий пес. Человек замахивается на пса, тот отскакивает, давась лаем. И в это время другой пес налетает сзади и хватается человека за шинель. Человек оборачивается и ногой отшвыривает пса. При этом сам едва не падает.

Со всех сторон, внезапно отделяясь от тьмы, будто рождаясь в ней, на человека насккивают тощими призраками голодные, одичавшие псы.

А один пес, посмелее, кидается прямо ему на грудь. Острые клыки звонко клацнули у самого горла человека.

Человек быстрым, цепким взглядом оглядывает «поле боя». Он делает несколько быстрых шагов и прислоняется к стволу обгорелого тополя — теперь он защищен с тыла. Двигая плечами, он стягивает со спины рюкзак. Тут обна-

руживается, что у него нет правой руки, пустой рукав засунут в карман.

Внимательно следя за собаками, порой отбиваясь от них ногами, человек, кружась на каблуке, беспорядочно молотит рюкзаком по собачьим головам. С визгом, с рычанием худые призраки разбегаются.

Человек быстро пересекает улицу.

Собаки устремляются за ним следом, но человек уже достиг крыльца большой, справной избы под железом. Он колотит в дверь рукой.

Никто не отзывается. Человек колотит в дверь сперва носком, потом каблуком сапога. Наконец в сенях послышался слабый шум, под притолокой возникла узкая полоска света.

С лязгом упал железный засов, тренькнул крючок, и ржаво закрипел в замке ключ. Дверь приоткрывается едва-едва.

— Да пустите же наконец, — говорит человек. — И так кабыздохи чуть не сожрали.

Дверь распахивается во всю ширь. Защищая рукой фитилек керосиновой лампы без стекла, наружу выглядывает кто-то небритый, с широким плоским лицом, на котором написаны испуг и смятение.

— Егор! — Губы небритого поползли в расслабленной улыбке. — Братуша!..

— От кого запираешься? — с усмешкой спрашивает Егор.

— Братуша! — будто не слыша, повторяет Семен и, пятась, входит в дом.

Егор кидает рюкзак на лавку, сбрасывает шинель, он слышит, как Семен снова накидывает на дверь многочисленные запоры.

— Дочь! — приглушенно зовет Семен, глядя на печь. — Дочь, слазь, Егор приехал.

— Не ори, детей разбудишь! — слышится с печи женский голос.

Ситцевая занавеска колыхнулась, показалась полная белая нога. Отыскивая опору, нога заголяется все выше, открылось круглое, полное колено, мясистая ляжка, тут Доня наконец сообразила откинуть подол.

— Здравствуйте, — говорит Доня, протягивая Егору маленькую толстую руку. Она невысока ростом, лицом, белым и румяным, красива.

Семен тем временем повесил лампу на длинный крюк, выкрутил по сильнее фитиль. По стенам к потолку пополз трепещущий свет, озарив все углы большой неопрятной избы. Жестяной умывальник, под ним лохань с помоями, почерневшая печь, сальные чугушки; на железной кровати крепко спят двое мальчиков, на лежанке вытянулся долговязый подросток, на сундуке — девочка лет тринадцати, в зыбке, подвешенной к матице, видимо, помещается младенец.

— Сколько их у вас? — спрашивает Трубников, присаживаясь на лавку.

— Шестеро, — отзывается Доня, — в зыбке близнята.

— Живем тесно! — балагурским голосом заговорил Семен. — В темноте все друг на друга натываемся... А ты обзавелся наконец?

— Провоевал я свое потомство... Мы с женой за все время, может, и года вместе не были.

— А все ж хватит, чтоб пацана родить, — замечает Доня, собирая на стол.

— А я и на дочку был согласен, только жена боялась остаться вдовой с ребенком на руках. Не вышло — и все!

Доня зачем-то отправилась в сени.

И вдруг, остро глянув на брата, Егор спрашивает шепотом:

— Все свои? Фрицевых подарков нету?

— Один, — так же шепотом, нисколько не удивленный вопросом, отвечает Семен. — Петька.

Брезгливая жалость на лице Егора Трубникова. Неловкое молчание.

— А что мне было — на пулю лезть? — сумрачно оправдывается Семен. — Зато дом сохранил, семью сохранил...

— Даже с прибавком! — зло бросает Егор.

С миской соленых огурцов и квашеной капусты входит Доня. Подозрительно поглядела на шептавшихся мужчин, подвинула Егору хлеб и сало.

— Привозной? — спрашивает Егор, беря сыроватый, тяжелый хлеб.

— Факт, не колхозный! — с вызовом говорит Доня.

— А что так?

— Колхоз тут такой: что посеешь — назад не возьмешь.

— Одно прозвание — колхоз, — бормочет Семен, роясь в стенном шкапчике.

— Это почему же?

— Председателя силового район прислал, — весело говорит Доня, — из инвалидов войны, вроде вас, только без ноги. Так он два дела знал: водку дуть да кровь улучшать.

— Это как понять?

Семен ставит на стол бутылку мутного сырца и граненые стопки. Разливает спирт по стопкам.

Жена следит за его движениями.

— Дамочек больно уважал. Я, говорит, хороших кровей и должен вам породу улучшить...

— Ну, со свиданьем, братуша!

— Не пью.

— Брезгуете с братом выпить? — язвит Доня.

Помедлив, Трубников холодно объяснил:

— Меня мой комиссар от этого отучил, ненавижу, говорил, храбрость взаимы, воевать надо с душой, а не с винным духом. Я и зарекся.

— Мы не воюем, — говорит Семен, — а храбрость нам и взаимы сгодится. — Цокнув стопкой по стопке Дони, он опрокинул водку в рот и, зажмурившись, стал тыкать наугад вилкой в ускользающие огурцы.

Доня тоже выпила в два глотка и, услышав плач, прошла в детский угол поправить сползавшее с дочери одеяло.

— Скажи, Семен, только честно: ты при немцах подличал?

— Ладно тебе, — печально и серьезно говорит Семен. — Меня уже таскали-перетаскали по этому делу. Ни с полицаями, ни с какой сволочью я не водился. А партизанов насчет карательного отряда предупредил. Где надо, о том знают.

— Так чего же ты боишься?

— А всего, — так же серьезно и печально говорит Семен. Налив себе водки, он выпивает одним духом. — Всего я теперь боюсь. И чужих боюсь, и своих боюсь. Начальства всякого боюсь, указов боюсь, а пуще всего — что семью не прокормлю.

— Ну, это тебе вроде не грозит: хлеб-то с салыцем едите. Вернувшись, Доня взяла соленый огурец и стала сосать.

— На соплях наша жизнь, чужой бедой пробавляемся...

— Барахолишь?

— Когда в доме восемь ртов, выбирать не приходится, — спокойно подтверждает Семен.

Гримаса сдерживаемой боли исказила лицо Егора.левой рукой он схватился за культю правой.

— Ты что?

— Рука, — трудным голосом говорит Егор. — Болит, сволочь, как живая.

— Эка страсть! — равнодушно ужасается Доня.

Чтобы заглушить боль, Трубников встает из-за стола, берет свой рюкзак и протягивает Доне.

— Гостинцы вам привез... — Он присел на лавку.

Запустив руку в рюкзак, Доня достает оттуда бостоновый отрез на мужской костюм. Оторвав нитку, подносит ее к светильнику, нюхает. Нитка не горит и пахнет паленой овечьей шерстью: порядок! За отрезом следует полушалок, который тоже подвергается придирчивому осмотру.

Трубников заинтересованно следит за ней, сидя на лавке; он убирает руку с культи — видимо, боль его отпустила.

— ...Такая, Егор, наша житуха, — напрашиваясь на сочувственный разговор, вздохнул Семен, — хоть репку пой... — махнул он рукой.

— На шармачка, известно, не проживешь... — замечает Трубников.

— А как же еще прикажешь?

— Колхоз надо подымать!

— Что? — Семен поднял чуть захмелевшие, невеселые глаза. — Какой еще колхоз?

— Не ерничай...

— Я думал с тобой по-серьезному, — обиженно говорит Семен, — думал, может, помощь какую окажешь, хоть присоветуешь... Неужто нет у тебя для меня других слов?

— Других слов нет и быть не может, — жестко говорит Егор. — Советскую власть не отменяли. А пока есть Советская власть, будут и колхозы. И тому, кто землю ворочает, нет другого пути.

— Помолчал бы уж о земле, — тихо, но с не меньшей жесткостью говорит Семен. — Что ты в земле понимаешь? Ты еще пацаненком от земли оторвался. Тебе чины и награды шли, а мы эту землю слезой и кровью поливали...

— Нешто он поймет тебя? — вмешивается Доня. — Начальство. Известно, по верхам глядит.

— Бросьте, какое я начальство?! А только еще раз напомню: живем мы при Советской власти.

— Плохо нас твоя Советская власть защитила, — медленно проговорил Семен, — ни от фрицевых пуль, ни от фрицевых лап... — Он мельком взглянул на Доню, и скулы его порозовели. — Не защитила. Хватит! Ничего нам от вас не надо, только оставьте нас в покое с нашей бедой, будем сами как-нибудь свою жизнь ладить.

— В одиночку никакой вы жизни не заладите, да и не дадим.

— Вон как!.. Это по-братски, спасибо, Егор. Только тебе-то какая в том корысть? Ты в наших делах посторонний...

— Ты так думаешь? — улыбается Егор.

Острый, чуть испуганный взгляд Семена.

— Я у вас председателем колхоза буду, если, конечно, выберете.

На плоском широком лице Семена — глубокая, искренняя жалость.

— Друг ты мой милый, за что же тебя так? Чем же ты им не угодил? Сколько крови пролил. Руки лишился. Ты ли у них не заслужил?

— Брось чепуху городить! Я сам попросился.

— Вот дьяволы, что с людьми делают! Разве на них угодишь?

— Да перестань ты, дура-голова! Говорю тебе: по своему желанию пошел.

— Хочешь от меня совет?.. Переночуй, отдохни и утречком прямым рысом на станцию.

— Шутишь?

— Нет! — с твердой печалью произносит Семен. — Какие уж тут шутки. Не лезь ты в нашу грязь. Мы к ней прилипшие, а ты человек пенсионный, вольный. Ничего не добьешься. Только измучаешься и здоровье даром загубишь.. Может, думаешь, тебе тут кто обрадуется? — Голос его окреп гневным напором. — Мол, приехал герой, избавитель.. Да кому ты нужен? Устали мы, изверились. Любой пьяница, бабник, вроде того хромого старшины, людям доходчивей, он по крайности никого не трогал. Я четыре класса кончил, а знаю: помножай нуль хоть на миллион, все равно нуль останется.. Уезжай-ка ты подобру-поздорову, не срамайсь понапрасну.

— Да.. — коротко вздохнул Егор. — Хорошо поговорили. Но только, — и в голосе его звучит угроза, — в колхозе я вас всех заставляю работать: и тебя, и ее, — кивок на Доню, — и старших ребят. Не думайте отвертеться, я человек жестокий.

— Ладно вам, — зевая, говорит Доня. — Разошлись петухи! Спать надо ложиться.

— И то правда, — как-то разом остыв, соглашается Семен. — Утро вечера мудреней.

Доня стелет Егору на лавке, Семен забирается на печь, вскоре туда же отправляется и его супруга.

Егор Трубников начинает разуваться. Сапоги разбухли, и одной рукой сделать это нелегко. Он упирается пальцами в подъем, носком другого сапога силится сдвинуть пятку.

— Он так и будет у нас жить? — явственно слышится с печи шепот Дони.

— Куда ему деваться? А потом он же мне деньги на дом давал...

— Слушай, Сень, а он нам жизнь не изгадит?

— Брат все-таки... — неуверенно произносит Семен.

Трубников приподнимается на лежанке и толчком распахивает окно.

— Чего там? — крикнула Доня.

— Душно у вас, окно открыл.

— Ишь, распорядитель! Избу выстудишь!

— Ладно!.. — Трубников захлопывает окно...

Утро.

Русоволосый, голубоглазый мальчонка помогает Трубникову натянуть сапог.

— Еще раз, взяли! — командует Трубников.

Они тянут сапог за ушки и обувают ногу.

— Молодец, Петька, силен, — хвалит Трубников мальчонку.

— Это на войне тебе руку оторвало? — спрашивает мальчик.

— Ага.

— У, фрицы проклятые! — повторяя не раз слышанное от взрослых, говорит Петька.

Попив воды из кадки, Трубников накидывает шинель и выходит на улицу.

Улица густо замешана толстой черной грязью. По закраинам апрельское солнце уже просушило землю, выгнало из нее зеленую траву, желтые и синие цветочки. Сейчас видно, что уцелело куда больше изб, нежели казалось ночью.

Перебравшись по мостку через канаву, бурлящую водой, Трубников увидел слева по другую сторону улицы длинный приземистый сарай под соломенной, зияющей огромными прорехами крышей. Возле распахнутых ворот высится груда раскисшего навоза. Он осторожно переходит улицу. Сапоги вязнут в грязи, его заваливает влево, в перевес тела, — словом, это ему не просто, вроде как перейти речку вброд.

Из ворот коровника выходит старуха с подоткнутым подолом и, прикрыв козырьком ладони глаза, глядит вверх, на остатки крыши.

— Здравствуй, бабушка, — говорит Трубников, подходя. — Ангелов божьих высматриваешь?

— А тебе что за дело? — огрызнулась старуха с узким носатым лицом и сухими, тонкими губами.

— Так, к слову, на земле сейчас больше интересу. Это у вас что — коровник?

— Аль ослеп? Не видишь?

Трубников видел в полутьме сарая загаженные стойла, желоб, полный мочи и навоза, смутно темнеющее тело лежащей коровы. Дальше хлев не проглядывался.

— А ты кем тут работаешь? — спрашивает он старуху.

— Скотницей, — неохотно отвечает старуха, вычесывая граблями соломенную крышу.

— А доярки где?

— По домам сидят.

— Это почему же?

— Чего им тут делать! Оголодала вконец скотина, навозом доится. — В нудном, скрипучем голосе старухи горечь.

— Ну-ка, зайдем!

Трубников шагнул в смрадную полутьму коровника. В навозной жиже лежит около десятка коров, похожих на рогатых собак — так мелки и худы их изможденные голодом тела. Голубое небо глядит на них в разрывы соломенной крыши, отблескивая в печальных глазах.

— Корма еще осенью кончились. Подстилку скормили, вон крышу скармливаем. — И старуха тонко всхлипнула.

— А чего на луг не гоните?

— Да, милый, они ж подняться не могут!

— Ступай по домам, старая, приведи сюда доярок. И кнут раздобудь. Ясно?

— Так точно! — по-солдатски гаркнула старуха.

Длинноликая, носастая, угрюмая, она вдруг поверила, что этот незнакомый, умеющий приказывать человек спасет от гибели несчастных животных, улыбнулась ему тонкими губами, еще выше забрала подол и кинулась вон из хлева.

Трубников медленно идет вдоль закутков, читая написанные чернильным карандашом прозвища коров. Будто в смех, прозвища все красивые, нежные: Белянка, Ягодка, Роза, Ветка... А владелицы этих красивых, любовно выбранных имен валяются в навозной жиже — скелеты, обтянутых залысевшей шкурой.

Возвращается старуха в сопровождении нескольких женщин и ребятишек. И кнут она принесла, старый кнут с отполировавшимся в шелк кнутиком. Лица женщин холодны, настороженны, ни одно не ответило Трубникову тем слабым светом, какой исходил сейчас от лица старой скотницы.

Трубников попробовал щелкнуть кнутом, но волосяной конец завяз в навозном болоте. Среди женщин слышится смех. Трубников рванул кнут, веревка спетлилась и упала у его ног — не так-то легко управиться с кнутом левой рукой. Женщины смеются уже громко. Мысленно выверяя каждое движение, Трубников снова взмахнул кнутом. Звонко, крупно ахнул выстрел. Еще и еще!

И, заслышав знакомый звук, вещающий о пастбище, о сладкой траве, коровы зашевелились, повернули к Трубникову худые грустные морды, а Белянка даже попыталась встать на ноги.

— Подымайте! — кричит Трубников женщинам.

Старуха скотница ухватила Белянку за облезлый хвост, на помощь ей приходит статная женщина в белом вязаном платке. Но вот и другие женщины с ленцой и неохот-

той следуют их примеру. И ребяташки включаются в это дело, как в игру.

Трубников палит кнутом, порой жалит им задние ноги коров, чтобы поддать жару. Хлюпает навозная топь, шумно и жалостно дышат коровы, ругаются друг на дружку и на детей доярки, и командирски покрикивает старуха скотница...

Первой, разбрызгивая вонючую жижу, оскальзываясь, разъезжаясь ногами, будто телок, впервые пытающийся стать на слабые ножки, поднялась Белянка. Поднялась, зашаталась. Трубников подскочил и привалился плечом к ее ребрастому, зелено облипшему боку, помог устоять. Коровы одна за другой становятся на ноги, оставая в грязи, крившей деревянный настил, отпечатки своих тел.

Лишь Ветка, несмотря на все усилия людей, так и не сумела подняться. Она тянулась мордой вверх, сучила ногами, но не смогла оторвать тела от земли.

Коровы стоят, прислонясь к столбам, поддерживающим кровлю, и кажутся теперь еще худее и меньше.

— Коровье кладбище, — пробормотал про себя Трубников.

Вокруг него жили голоса. Люди сделали какое-то маленькое общее дело, это сблизило их, развязало языки.

— Моть, у тебя навоз на роже...

— Одерни мне сзади, Петровна...

— Знала бы, хоть фартук надела б...

— А трудодни нам начислят?..

— Ясное дело! Раньше задаром работали, теперь будем за так...

— Хватит трещать, сороки! — сказала женщина в белом вязаном платке.

Трубников глянул на женщину, и ее свежие, розовые скулы ярко вспыхнули.

— Толкайте их к воротам! — кричит Трубников и вновь принимается палить кнутом.

Бедные животные упираются, будто там, в голубом прозоре, их ждет неминуемая гибель. Две коровы снова плюхнулись наземь.

— Стой! — кричит Трубников. — Найдется у вас тут, кто на дудочке играет?

— На чем? — переспросила старуха скотница.

— На жалейке.

— Да вот дедушка Шурик, я ему наказала прийти, только он пьяненький с утра.

— Надо его сюда доставить.

Но дедушка Шурик появился сам. Щупаль, крошечный, похожий на лесного гнома; в белых хмельных глазах дедушки теплится хитреца.

— Здравствуй, дед! Ты меня помнишь?

Дедушка Шурик молча моргает седыми ресницами.

— Громче говорите, — предупреждает Трубникова старуха скотница. — Он только про водку хорошо слышит.

— Понятно!.. — И Трубников звонко, обещающе щелкает себя по щеке: мол, хочешь?..

Дедушка Шурик радостно кивает в ответ, его белые глаза зажглись сознательным интересом.

— Тогда играй! — орет Трубников в большое, заросшее седым волосом ухо старика. — Играй, дед, и помалу катись к выходу!.. Надо этих одров на луг свести!.. Понял?.. А вечером тебе водочка будет. Понял?

Дед без слова отходит от Трубникова и подносит жалейку к губам.

Тоненько, нежно и жалостно запела под пальцами старика ива. Она пела о грустном, одиноком человеческом сердце, но для коров то была песнь росистого луга, пробудившегося зимой, песнь сочной травы, теплого солнца, прохладной реки.

Тоненький, готовый вот-вот оборваться звук будил память о трудолюбивой жвачке, ленивой сытости, блаженной отягощенности чрева. И сквозь эту влекущую мелодию разрядом весеннего грома прогремел бич.

Робко, неуверенно шагнула вперед одна из коров. Остановилась, поводя шеей, будто прося о помощи, и вдруг засеменила к старику, к его дудочке. Пятясь, дедушка Шурик повлек ее за собой. Следом двинулись другие коровы, поднялись две упавшие и, шатаясь, побрели к выходу.

Заливалась, звала жалейка, пугал, жалил, гнал вперед кнут.

Тоскливо замычала, забилась Ветка и вдруг рывком отняла от земли свое тело. Старуха скотница и женщина в вязаном платке, подпирая Ветку с боков, поволокли ее к воротам.

Мимо расступившихся женщин Трубников выходит из хлева.

По-прежнему пятясь и будто пританцовывая — его плохо держат пьяные ноги, — ведет за собой дедушка Шурик жалкое коньковское стадо. В ясном свете утра коровы кажутся призраками, выходцами из навозных могил, но они идут и идут, ниточка звука не дает им упасть.

Волоча за собой бич, Трубников зашагал им вдогон. Поравнявшись со старой скотницей, он крикнул ей с веселой яростью:

— Наша взяла, старая!

За околицей со стадом повстречался мотоциклист. Он объехал стадо и взял путь к коровнику.

Трубников оборачивается на треск подъехавшего мотоцикла. Мотоциклист слезает со своего бензинового конька, снимает очки. У него молодое лицо с гладкой розовой кожей и тугая морщинка между бровей, придающая ему не столько серьезный, сколько озадаченный вид. Он подходит к Трубникову.

— Товарищ Трубников?.. Инструктор райкома партии Раменков.

— Добрый день, — отзывается Трубников.

— Мы вас в райкоме ждали.

— Так ведь я еще не председатель, — усмехается Трубников. — Частное лицо.

— Ну, это мы мигом... Я за тем и приехал, чтобы выборы провести...

— Хорошо, что вы на колесах, — говорит Трубников, — мне надо в Турганово за водкой съездить.

— Как?.. — поперхнулся Раменков.

— Я пастуху пол-литра задолжал.

— Простите... Но удобно ли? — мнется Раменков.

— Давши слово — держись. Старик мне помог... а пешком я к вечеру не обернусь.

Вздохнув, Раменков идет к мотоциклу. Трубников следует за ним.

— Бабушка, — на ходу обращается он к скотнице Прасковье, — мы по-быстрому съездим, а ты тем временем собери народ.

Они садятся на мотоцикл. Трубников вцепляется своей калеченой рукой в пояс курточки Раменкова; и мотоцикл мчится прочь в голубых клубках дыма.

— Егор Иванович, — поворачивается к Трубникову Раменков, — вы когда будете выступать, то покороче... Так, в общих чертах о международной обстановке, о задачах на сегодняшний день... а то пойдут вопросы, то да се — не выкрутишься. — Он резко поворачивает руль, чтобы разъехаться со встречной подводой.

— А ну как провалят? — усмехается Трубников.

— Да что вы! — искренне удивлен его наивностью Раменков. — Мы таких охламонов проводили... А вы — это вы! Только предоставьте все мне.

— Вон как! — иронически приподнял брови Трубников.

Мелькнул колхозный двор, кузня, возле которой свалены поковки, однолемешные плуги, старые бороны.

Пожилой, в прожженном фартуке кузнец, оставив молот, поглядел вслед Трубникову и задумчиво погладил опаленные волосы.

— Ширяев... — повернув голову к Трубникову, говорит о кузнеце Раменков. — Единственный тут член партии.

— А ну-ка остановите!

Трубников соскакивает с мотоцикла и идет к кузнецу.

— Товарищ Ширяев, будем знакомы — Трубников.

— Да я ж тебя пацаненком помню, — отвечает кузнец.

— Тогда, дядя Миша, я тебя как коммуниста прошу: обеспечить, чтоб все трудоспособные колхозники пришли на собрание. Не «кворум» формальности ради, а действительно все.

— Будет сделано, — спокойно отвечает Ширяев, наклонив кудлатую голову.

Трубников возвращается к Раменкову.

Унылый звук гонга разносится над деревней.

Мотоцикл скрывается вдали.

Маленькое, тесно набитое помещение конторы. За колченогим столом, крытым кумачовыми полосами — сквозь тонкую ткань можно различить перевернутые буквы каких-то лозунгов, — сидят Трубников и кузнец Ширяев. Раменков стоя держит речь. Собрание состоит сплошь из женщин, если не считать парня на деревяшке и двух-трех подростков.

— Товарищ Трубников ваш односельчанин. С юных лет связал свою судьбу с Красной Армией, — говорит Раменков. — Он участник боев в Маньчжурии, под Хасаном и Халхин-Голом, штурма линии Маннергейма, участник Великой Отечественной войны...

В дверях появляется дедушка Шурик и делает Трубникову какие-то знаки.

Трубников машет рукой, встает из-за стола и пробирается к выходу.

— Товарищ Трубников награжден четырьмя боевыми орденами и пятью медалями! Инвалид Великой Отечественной войны, пенсионер, он по собственному желанию поехал на работу в деревню! — с пафосом продолжает Раменков. Неожиданно он умолкает, глядя в сторону Трубникова.

Трубников вытаскивает из бокового кармана пол-литра и дает дедушке Шурику, тот радостно кивает.

— Первач... — шепчет с завистью парень на деревяшке.

— А ведь ты, дед, меня на жалейке играть учил, — говорит Трубников дедушке Шурику.

— Разве всех упомнишь, — равнодушно бормочет старик.

— ...Товарищ Трубников член Коммунистической партии с 1921 года... — снова продолжает Раменков.

— Надо же, какой человек, — слышится насмешливый женский голос. — Вот и кончились наши страдания!.. — Это Полина Коршикова, средних лет, но еще миловидная женщина.

По собранию прокатывается невеселый смешок. Трубников, возвращаясь на свое место, тоже странно, медленно усмехается.

— Слово предоставляется товарищу Трубникову, — говорит Ширяев.

Тот повернулся к собранию лицом и вдруг увидел, что в дверях появилась женщина в белом платке. Они сталкиваются взглядами, и по-давешнему вспыхивают свежие скулы женщины.

По собранию проходит нетерпеливый шум — Трубников слишком затянул паузу.

— Я сперва отвечу Поле Коршиковой, — говорит Трубников тихим, спокойным голосом.

— Неужто узнал? — насмешливо и смущенно вскинулась Поля.

— Узнал... Ты всегда побузить любила. Так вот, Полину крикнула, что кончились, мол, ваши страдания... Нет, товарищи колхозники, ваши страдания только начинаются. Вы развратились в нужде и безделье, с этим будет покончено. Десятичасовой рабочий день в полеводстве, двенадцатичасовой — на фермах...

Раменков что-то торопливо пишет на бумажке и подвигает Трубникову. Тот читает: «Не то. Зачем запугивать?»

— Вам будет трудно, — продолжает Трубников. — Особенно поначалу. Ничего не поделаешь, спасение одно: воинская дисциплина. Дружная семья и у Бога крадет!

— Товарищ Трубников, конечно, преувеличивает... — с неловкой усмешкой начал Раменков, но осекся под тяжелым взглядом Трубникова. Он смешался, нагнул голову.

— Вот чего я хочу, — продолжает Трубников. — Сделать колхоз экономически выгодным и для государства и для самих колхозников. Нечего врать, что это легко. Семь шкур сползет, семь потов стечет, пока мы этого достигнем. Первая и ближайшая задача: колхозник должен получать за свой труд столько, чтобы он мог на это жить — конечно, с помощью приусадебного участка и личной коровы.

— Постой, милоч! — крикнула старая колхозница Самохина. — Ври, да не завирайся. Ты где это личных коров видел?

— Во сне, бабка, мне приснилось, что через год у всех коровы будут, а мои сны сбываются.

— Вопросы можно задавать? — спрашивает молоденькая сероглазая бабенка Мотя Постникова.

— Валяйте.

— Вы, товарищ орденоносец, в сельском хозяйстве чего понимаете?

— Да! Знаю, на чем колбаса растет, отчего у свиньи хвостик вьется и почему булки с неба падают. Хватит?

Снова по собранию прокатывается невеселый смешок.

— Вы холостой или женатый, товарищ председатель? — кричит та же сероглазая бабенка.

— Товарищи, это к делу не относится! — пробует вмешаться Раменков.

— Почему же? — прерывает его Трубников. — Женатый.

— В чего вы жену с собой не взяли?

— Я-то брал, да она не поехала.

— Это отчего же? — интересуется Мотя.

— Охота ей бросать Москву, отдельную квартиру и ехать сюда навоз месить!

— Вы-то поехали! — это сказала женщина в белом платке.

— Я как был дураком, так дураком и умру.

Раменков схватился за голову, а по собранию прокатился негромкий добрый смешок.

— Нешто это семья: муж в деревне, жена в городе? — спрашивает Полина Коршикова.

— Нет! — с силой произносит Трубников и смотрит на нее. Вот я и считаю, что потерял семью, и глядите, товарищи женщины, как бы многим из вас не оказаться замужними вдовами. Война кончилась два года назад, а где ваши мужики?

— С плотницкими артелями ходят! — кричит скотница Прасковья.

— Аж до Сибири добрались! — добавляет парень на деревяшке.

— Полинкин Василий вовсе в райцентре дворником! — едко замечает Самохина.

— А твой помойщиком! — огрызнулась Полина.

— Ври больше! Он в конторе утильсырья! — с достоинством парирует Самохина.

Трубников поглядел на женщину в вязаном платке... Но та не принимает участия в споре, эти дела ее не касаются.

— Тише! — Трубников хлопнул по столу рукой, — У кого мужья на стороне рубль ищут, отзываются домой, дело всем найдется, и заработки будут, аванс гарантирую в ближайшее время.

— Это верно!.. Давно пора!.. Избалуются мужики! — слышится со всех сторон.

И снова Трубников, давно уже ставший единовластным хозяином собрания, наводит тишину.

— Вот что, товарищи, всего сразу не переговоришь, завтра вставать рано. Ставлю на голосование свою кандидатуру. Кто «за» — поднимите руки...

— Ты что, спишь, бабка?

Бабка встрепенулась, подняла руку.

— Так. Против?.. Нет. Воздержавшихся?.. Нету... Теперь пеняйте на себя.

Семен ест пшеник из алюминиевой миски, запивая молоком. За столом сидит и старший сын Семена, Алешка.

Прислонившись к печке, стоит Трубников. Похоже, что его не пригласили к столу.

— Раз у Доньки грудняки, не имеешь права ее на работу гнать, прежде ясли построй, — говорит Семен, снимая с ложки волос.

— Придет время — построим.

Входит Доня с охалкой березовых чурок и сваливает их у печки, чуть не на ногу Егору. Снова выходит.

— А тебе тоже младенцев титькой кормить? — спрашивает Семена Трубников.

Рука Семена задрожала, выбив дробь по краю миски. Семен отложил ложку и стал торопливо расстегивать нагрудный карман старого френча.

— Я к тяжелой работе не способный. Меня потому и в армию не взяли. Могу справки предъявить...

— Калымить и барахолить ты здоров, а в поле работать больной? Ладно, найдем тебе работу полегче.

— Не буду я работать, — тихо говорит Семен.

— Будешь! Иначе пеняй на себя.

Трубников сказал это негромко, обычным голосом, и сразу после его слов в избу ворвалась Доня с красным, перекошенным злобой лицом — знать, подслушивала в сенях.

— Так-то вы за хлеб-соль благодарите! Спасибо, Егор Иванович, уважили! Спасибо! — говорит она, отвечивая Трубникову поясные поклоны. — От детишек, племянничков ваших, спасибо!

— Хватит дурочку строить, — холодно говорит Трубников. — Какая тебя работа устраивает? — спрашивает он Семена.

Семен молчит, потупив голову.

— Может, нам и дом прикажете освободить? — ядовито-вкрадчиво спрашивает Доня.

— Дом тут ни при чем, — поморщился Егор. — Никто на него не претендует.

— Я в ночные сторожа пойду, — разбитым голосом говорит Семен.

— Ладно, будешь сторожем. По твоим преклонным годам самая подходящая должность.

— Ты насчет дома правду сказал? — тем же больным голосом спрашивает Семен.

— Конечно, — пожимает плечами Трубников.

— Тогда, — глаза Семена окровенились бешенством, — катись отсюда к чертовой матери, чтобы духу твоего поганого не было!

— Ловко, братуша, — одобряет Трубников, — молодец! — Он берет с лавки вещевой мешок. — Племянник мой старший пусть завтра вовремя на работу выйдет, иначе штраф. — И захлопывает за собой дверь.

На улице темно, но не так, как в прошлую ночь, когда Трубников впервые ступил в Коньково. На западе дотлевают закат, небо в еле видных звездах еще не набрало черноты.

Трубников медленно бредет по улице. Отделившись от плетня, с придавленным нутряным рычанием на него кинулась собака. Но вдруг, слышно поведя носом, завилыла хвостом.

— Неужто признала? — ласково говорит ей Трубников.

Он идет дальше. Собака, будто привязанная, тоже идет за ним.

Во всех уцелевших домах горят коптилки, керосиновые лампы, люди ужинают.

Трубников неуверенно поглядывает на освещенные окна.

С мятым, ржавым листом железа под мышкой ковыляет парень на деревяшке.

— Слушай, кавалер, это ты замочным делом промышляешь? — осененный внезапной идеей, спрашивает Трубников.

— Ну, я! — с вызовом отвечает парень. — Нешто запрещено?

— Если я тебя железом обеспечу, сколько ты можешь за день вышибать?

— Да уж не меньше двух сотенных, — удивленно говорит парень.

— Хочешь так — сотню тебе, сотню колхозу?

— Пойдет!

— А там, глядишь, артельку оформим...

— Заметано! — Парень сворачивает в свой двор, а Трубников идет дальше.

— Егор Иваныч! — слышится из темноты низковатый, грудной женский голос.

На крыльце дома под новой тесовой крышей, светлеющей в сумраке, стоит женщина, придерживая у горла белый, тоже будто светящийся вязаный платок.

— Добрый вечер, — говорит Трубников, направляясь к крыльцу.

— Манька!.. Девка!.. — слышится старушечий голос. — Иди спать, гулена!

На соседнем участке старуха Самохина пытается загнать козу в закуток. Коза не дается старухе. Она ловко выпрыгивает на крышу сараюшки и оттуда смотрит на старуху. Та озирается в поисках камня и замечает Трубникова с соседкой. Коза забыта, старуха жадно прислушивается к их разговору.

— Поздно гулять собрались, Егор Иваныч, — говорит женщина.

— А что мне? Человек я молодой, вольный.

— Да вы никак с вещмешком? В поход будто собрались!

— Переезжаю, — усмехается Трубников. — У Семена тесно стало.

— Вот что... — протяжно сказала женщина и вдруг решительно, по-хозяйски: — Заходите в избу, Егор Иваныч!

И Трубников, не колеблясь, будто с самого начала знал, куда ведет его путь, поднимается на крыльцо и мимо женщины проходит в дом. Собака было пошла следом, но на первой же ступеньке остановилась, села поудобнее, надолго.

Старуха радостно улыбається и подается за ворота: поделиться новостью.

По деревне пошел собачий перебрех.

В доме Надежды Петровны Трубников ужинает за накрытым столом. Достатка в доме, видать, куда меньше, чем у Семена: лишь под стаканом Трубникова было блюдечко, единственную чайную ложку вдова прислонила к сахарнице, вилка вставлена в самодельный черенок, самовар помят, облупился, в горнице пусто — стол, табурет, две лавки, постель на козлах. Но такая на всем лежит чистота, опрятность, что дом кажется уютным. Стол до бледноты выскоблен ножом, дешевые граненые стаканы сверкают, как хрустальные, на окнах занавески, полы крыты исхоженными, но чистыми веревочными половиками, на стенах цветные фотографии, вырезанные из журналов, вперемешку с рисунками каких-то зданий и много-много букетов травы «слезки». Дом поделен фанерными перегородками на три части: кухню, горницу и закуток, где спит Борька. Вход в закуток задернут ситцевой занавеской.

Звучит голос Надежды Петровны:

— Замуж вышла... Там ребенок нашелся... Сюда-то мы перед самой войной приехали. Муж садоводом был. В первую же зиму погиб... А мы с Борькой при немцах у партизан скрывались...

Рассказывая, женщина легко и сильно двигалась по горнице. Черная шелковая юбка металась вокруг крепких голых ног в мягких чувках. Смуглое и румяное ее лицо усеяно маленькими темными родинками.

Из-за занавески слышится тихий, томительный стон. Трубников вопросительно смотрит на Надежду Петровну.

— Борька, — говорит она. — Во сне.

— Воюет?

— Нет, смиренный, ему бы все картинки рисовать.

Трубников обводит глазами стены, увешанные рисунками: дома, дома, большие и маленькие, простые и вычурные, с колоннами, куполами...

— А чего он одни дома рисует?

— Не знаю. Его отец раз в Москву взял на Сельскохозяйственную выставку, с той поры он и приспособился дома рисовать.

— Любопытно... — задумчиво говорит Трубников. — В школу ходит?

— Ходит, в Турганово. Из-за войны два года потерял. — И, заметив, что Трубников отставил стакан и утирает вспотевшее лицо, добавила: — Ступайте умойтесь, Егор Иванович, я постель постелю.

Трубников посмотрел ей вслед.

— Сплетен не боитесь?

Обернувшись, она слабо улыбнулась.

— Мне что! А вас молва все равно повяжет не с одной, так с другой.

— Я не о себе. Я о вас думаю.

Женщина не ответила. Взяв светильник, она повесила его на гвозде в дверном вырезе между горницей и кухней. Трубников поднялся из-за стола и прошел в кухню.

Он сел на лавку и по-давешнему стал стягивать сапог. Но, видно, сбилась неловко накрученная портянка, сапог намертво прилип к ноге. Он уперся рукой в подъем, носком другого сапога — в пятку, сосредоточив в этих двух точках всю силу, какая в нем оставалась. Лицо затекло кровью. Носок соскользнул с пятки, и Трубникова сильно качнуло.

— Постой, горе мое! — Надежда Петровна села перед ним на корточки, крепко ухватила сапог, грязная подметка уперлась в натянувшийся между колен подол шелковой юбки. — Держись за лавку.

— Я сам!

— Молчал бы уж, непутевый!.. — Она коротко, сильно и ловко рванула сапог и легко стянула его с ноги. Затем сняла второй сапог, размотала заскорузлые портянки и швырнула их к печке.

— Потом постираю.

— У меня другие есть.

- И хорошо.
- Юбку испачкали.
- Не беда.

Она достала с печи цинковую шайку, опорожнила туда полведра, унесла шайку в горницу, а когда вернулась, от воды шел теплый пар.

— Помойте ноги. — Она протянула ему обмылок, мочалку.

С трудом задрал узкие трубы военных брюк, Трубников стал намыливать ноги. Обмылок то и дело выскальзывал из неумелой левой руки. Трубников нашаривал его на дне шайки и снова принимался втирать скользкий, немилый кругляш в кожу, и снова упустил.

Вошла Надежда Петровна, в старом платице, волосы повязаны косынкой.

— Давай-ка сюда! — забрала у него мочалку, поймала скользнувший из пальцев обмылок и заработала так, что вода в шайке враз вспенилась.

Она насухо вытерла ему ноги суровым полотенцем, слила мыльную воду в поганое ведро.

— Ступайте, — сказала Надежда Петровна. — Я скоро.

— Я тут лягу, на лавках...

— Нельзя гостю на лавках. — Она откинула локтем выпавшую из-под косынки на лоб прядь.

В странном смятении Трубников потупился. А Надежда Петровна вдруг приблизила к нему лицо с ярко вспыхнувшими скулами и сказала тихим, проникновенным голосом:

— Вы меня не стесняйтесь... жалкий мой...

По деревне идет «улица» — одни девки и молодые бабы. Тут и молоденькая Лиза, и дородная Мотя Постникова, и даже сорокалетняя Полина, и многие другие. Полина играет на гармонии, с некоторой неловкостью разводя широкие мехи. За женским поголовьем следуют, как положено, «кавалеры» — мальчишки от десяти до пятнадцати лет. Среди них шестнадцатилетний Алешка Трубников выгля-

дит принцем. Девушки поют частушки, от одиночества не без злости и горечи.

Все дальше пиликает гармонь, все тише голоса.

Закинутая вверх печальная коровья морда. Долгое тоскливое «му-у!» уносится к бледно-голубому утреннему небу. Это одна из наших знакомок: то ли Беянка, то ли Ягодка, то ли Ветка. Не много тела нагуляла себе на раннем весеннем выпасе бедная коровенка, но уже ей приходится отдавать этот скудный нагул в непосильной работе.

А выше, расчерчивая небесное пространство белыми полосами, оглушая ревом землю, проносятся одно за другим звенья самолетов.

Парная коровья упряжка тянет однолемешный плуг.

На ручки плуга навалилась всем телом Полина Коршикова. По лицу ее катится черный пот. Ее напарница — двадцатилетняя Лиза — помогает коровам дотянуть борозду. Мука в кротких глазах животных, смертельная усталость в глазах женщин.

За дорогой виднеются еще две коровьи упряжки.

Двор районной МТС. Трое парней «раздевают» трактор. Снятые с него детали перетаскивают к другому трактору, который, судя по колесам, облепленным свежей землей, недавно подавал признаки жизни. Весь двор загроможден останками сельскохозяйственной техники: мертвыми тракторами, ржавыми плугами, сеялками, разбитыми молотилками.

Алешка Трубников, прикрываясь видом безразличного ко всему человека, старается незаметно протащить мимо слесарей несколько листов гнutoго железа. Но те заметили его.

Парень помоложе показал Алешке здоровенный гаечный ключ.

— Вот это видал?.. А ну, тащи на место!

С тем же равнодушным лицом Алешка круто развернулся на все сто восемьдесят градусов.

С крыльца МТС на машинный двор спускается директор станции. За ним следует задыхающийся от бешенства Трубников.

— Бабы... Девчонки... В ярме со скотиной!.. — Он затряс кулаком. — За такое — морду в кровь!

— Бейте, — со спокойным отчаянием говорит директор МТС. — Не на чем нам пахать. Сами видите: из двух тракторов один собираем...

— Вы срываете!..

Директор поднял руку.

— Все знаю. Дальше пойдет про партийный билет, суд и тюрьму...

— Но что же нам делать? — как-то совсем просто и тихо спрашивает Трубников.

— Продолжать пахоту, — будто сам удивляясь своему ответу, произносит директор.

Вгрызается лемех плуга в землю, надуваются жилы на женских руках.

По дороге медленно бредет чета слепцов: старик и старуха. На старике — армяк, шапка-гречишник, лапти и онучи, на старухе — плюшевая шубейка и черный монашеский платок. За спиной слепцов висят набитые подаянием котомки. Медленно проплывают по полю длинные, узкие тени.

Будто в томительном сне влачится коровья упряжка по полю, и возникает жалобная тоскующая песня:

Я бы улетел туда,
Где нет скорбей труда,
Ближе, мой Бог, к тебе,
Ближе к тебе!..
Ближе, мой Бог, к тебе,
Ближе к тебе!..

Посреди деревенской улицы, неподалеку от скотного двора, поют слепцы.

Возле коровника заметно большое оживление. Несколько пожилых женщин и подростков занимаются расчисткой его смрадных недр. А Прасковья, взгромоздившись на конек совсем ободранной крыши, прилаживает тесину. Часть крыши уже залатана свежим, желтым тесом.

Пение слепцов отвлекло тружеников. Первой поддалась старуха Самохина. Бросив тачку с гнилой соломой, она пошла к слепцам, вытирая руки о фартук. За ней потянулись и другие бабы. Не выдержала и Прасковья — она скатилась с крыши, достала из ватника, висящего на воротах, кусок хлеба. Слепцы тянут свое божественное:

Ближе, мой Бог, к тебе,
Ближе к тебе!..
О, кто бы на земле
Крылья дал мне!
Я бы улетел туда,
Где нет скорбей труда,
Ближе, мой Бог, к тебе,
Ближе к тебе!..

Хриплый старушечий дискант вплетается в сильный, глубокий, бочковый бас старика. Все больше коньковцев окружает нищих. Подходит Семен Трубников, подает старикам какую-то мелочь.

Катит по деревне тарантас Трубникова, набитый до отказа старым железом, звеньями штакетника.

В воротах своего дома покуривает, прислушиваясь к божественному пению, инвалид-замочник. Трубников скидывает железо с тарантаса.

— В МТС подобрали, — говорит он в ответ на удивленный взгляд парня. — С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Трубников подкатывает к коровнику, но все так поглощены слепцами, что приезд председателя остается незамеченным. С помощью Алешки Трубников сгружает штакетник. Тронув Прасковью за локоть, он кивает на привезенный им дефицитный стройматериал. Лицо Прасковьи оза-

ряется радостью. Она тут же вернулась к дому. А Трубников заинтересовался слепцами. Взгромоzdившись на сиденье тарантаса, он с интересом наблюдает за рослым и статным слепцом.

Из-под ворот появляется большой индюк: хвост веером, голубая маленькая голова с фиолетовыми обводьями глаз гордо вскинута, с клюва свисает бледно-розовая сопля, алеет борода над перламутровым зобом. Индюк заметил слепцов. Шея его удлинилась, хвост сложился, сопля подобралась в крошечный рог над клювом. Удивление индюка сменяется гневом: он угрожающе раздулся, голова, шея и набухший толстыми узлами зоб затекли кроваво-красным, он встопорщил перо и кинулся на слепую старуху. Не миновать бы ей беды, да старик махнул ненароком посохом и угодил индюку прямо по клюву. Индюк съежился, как лопнувший воздушный шар, и побежал прочь, кидая землю суковатыми ногами.

Трубников приподнялся в тарантасе и поманил слепца рукой. Он поманил еще и еще и досадливо нахмурил брови.

Слепцы продолжали петь, то уносясь в небо, то возвращаясь к земной юдоли, но окружающие их коньковцы заметили странные жесты своего председателя. Они недоуменно переглядываются, решив, что Трубников подзывает кого-то из них.

— Да не вас! — кричит Трубников и снова призывно машет старику.

— Стыда у тебя нет, Егор Иваныч! — укоряет его старуха Самохина.

— Привык над людьми издеваться! — подначивает Семен. — Ему наши слезы заместо лимонада.

Трубников, будто не слыша, продолжает энергично призывать слепца.

Видимо, слепцы ощутили какое-то беспокойство, пение оборвалось.

— Эй, дед, не видишь, что ль, тебя зовут! — орет Трубников.

— Креста на тебе нет! — возмущается Самохина. — Нешто слепой может видеть?!

— А ему что слепой, что зрячий — лишь бы нрав свой показать! — злобствует Семен.

— Сейчас он у меня прозреет. Иди ко мне, дед, а то хуже будет.

— Что можешь ты сделать убогому, солнечного сieta не зрящему? — печально и важно вопрошает слепец, проводя пустым взором по небу и верхушкам деревьев, словно Трубников был скворцом.

— Собак спущу, разорву, как тюльку.

— За решетку сядешь, — спокойно отзывается старик.

— Не сяду. Я контуженный, мне все спишется.

— И правда, дедушка! — затараторили взволнованно и сочувственно женщины. — С ним лучше не связываться!..

— Спускай собак, — твердо говорит слепец.

— Мы все в свидетели пойдем, — подзуживает Семен.

— И спустил бы, — с улыбкой говорит Трубников. — Да старуху твою жалко. Эй, Алешка! — крикнул он племяннику. — Давай сюда... Свезем этих бродяг в район и сдадим в милицию. Ну, живо!

— Стой! — с тем же твердым достоинством говорит старик. — Иду, непотребный ты человек!

— Иди, иди, да только без посоха. И нечего бельмы тарашить, ты мне глаза покажи. — И Трубников слезает с тарантаса.

Старик опускает свою косо задранную к небу голову, и под седыми нависшими бровями засияли два голубых озерца, два живых, острых, не поблекших с годами глаза. Он подал руку старухе и повел ее за собой, твердо и крепко ступая по земле лаптями.

Обманутые женщины принимаются поносить странников.

— Ловко нас Егор Иваныч поддел! — утирая старческую слезу, со смехом говорит старуха Самохина. — А мы-то губы распустили!

— Дядь Сень, ну как, пойдешь в свидетели? — ехидно подзадоривает Егора Трубникова Мотя Постникова.

Семен со злобой глядит на женщину, затем медленно бредет прочь.

Трубников подсаживает стариков в латаный-перелатанный тарантас. В тарантас впряжен тоже старый, костлявый, с глубокими яминами над глазами, некогда каурый, а теперь грязно-желтый мерин Копчик.

— Давай в интендантство, — тихо говорит Трубников Алешке.

Поднатужившись, Копчик захромал по дороге.

«Выезд» подкатывает к длинному полусгнившему сараю. Возле сарая колхозники — среди них Надежда Петровна — складывают в штабеля брикеты назема.

— Сколько привезли? — подъехав, спросил Трубников жену.

— Как обещано, десять тонн, — ответила Надежда Петровна, с любопытством присматриваясь к старикам.

— Ну, как навоз, дед? — спрашивает Трубников.

Старик, хмурясь, нагнулся с сиденья, взял из штабеля брикет, покрутил, швырнул назад и вытер руку полкой армяка.

— Дерьмо навоз, — сказал он медленно.

— Почему?

— Дерьма мало, одни опилки.

— Можно на подкормку пустить?

— Вреда не будет.

— А польза?

— Кой-какая.

— Ясно! Поехали. Давай, Алеша, на Гостилово.

...Тарантас шибко катит задами деревни мимо полей, реденьких зеленей, котловин, полных мутноватой воды, мимо березовых перелесков в темных кулях вороньих гнезд.

Рука захватила горсть земли.

— Пора овес сеять? — спрашивает Трубников, разминая землю.

Трубников со стариком стоит на краю поля, возделанного под овес. Что-то небрежное, важное до высокомерия и вместе серьезное, глубокое появляется во взгляде, во всем выражении худого, темного лица старика.

— Да уж дней с десять пора было!

— Ты не пугаешь?

— Овес ранний сев любит, кидай меня в грязь, буду князь.

— Как ты сказал?

— Не я — народ говорит.

И тут совсем рядом раздается песня:

На столе стоит
Каша ячневая,
Хороша любовь,
Да внебрачная!

— выкрикивает женский голос. Трубников с любопытством прислушивается.

На столе стоит
Каша пшенная,
Хороша любовь
Запрещенная!

— поет молодой чистый голос.

Раздвинув кусты орешника, Трубников выходит к ложбинке, где подничают женщины-пахари. Перед ними на земле котелок с кашей, толсто нарезанный хлеб, несколько луковиц, крупная соль в тряпочке. Чуть поодаль пасутся коровы.

— Хлеб-соль! — говорит Трубников. — Как поживаете?

— Цветем и пахнем! — вызывающе отвечает Полина Коршикова. — Присаживайся председатель! Не каша — разлука!

— Спасибо, я сытый.

— Брезгуете? — поддевает Трубникова Лиза.

— Небось балованный! — замечает третья женщина. —

К колбасе приучен!

— Слышь, председатель, — говорит, поднимаясь с земли, четвертая женщина, — когда же твои обещания сбудутся? То нам авансом грозился, а то...

— Ихние авансы поют романсы, — перебивает Полина. — Там одна ухватка: сначала пообещают, а потом шиш винтом... Что стоишь моргаешь?

— Хватит воду качать! — поморщился Трубников. — Будет вам и белка, будет и свисток. Лучше скажите, как ваши орлы — едут до дома, до хаты?

На столе стоит
Каша гречневая,
Хороша любовь,
Да не вечная!..

— пропела Лиза.

— Мы этим больше не интересуемся, — зло отвечает Полина.

— Это как понимать? — Трубников присел на землю.

— Зачем нам мужики? Мы же не бабы!

— А кто же вы?

— Му-у!.. — мычит Полина. — Му-у! Вот мы кто. Только комолые. Му-у!..

— Му-у!.. — подхватывает Лиза, упираясь в землю руками и будто целя в Трубникова воображаемыми рогами, а в глазах у нее слезы.

Сурово сдвинув брови, следит из тарантаса бывший слепец за этой сценой.

— Будет вам! — прикрикнула на товарок женщина постарше и шлепнула Лизку по заду. — Разошлись, бесстыдницы!

Трубников смотрит на женщин, затем молча поворачивается и идет к тарантасу.

На столе стоит
Каша манная,
Хороша любовь,
Да обманная!..

Тарантас круто разворачивается в сторону Конькова.

— Скоро ты нас в милицию поведешь? — сердито спрашивает старик.

— Не спеши на тот свет, там кабаков нет, — отзывается Трубников.

Изба Надежды Петровны. На столе самовар. «Слепец» Игнат Захарыч отодвигает чашку, переворачивает ее вверх донцем и кладет обсосочек сахара. Трубников, расхаживая по горнице, убеждает старика:

— Нам старые хлебробы позарез нужны, чтоб не пахать, не сеять, не убирать без их веского совета... У нас ведь агрономов нету и не предвидится.

— Ну а как будет агроном? — насмешливо спросил старик.

— Все равно стану я одним ухом к науке, другим — к простому крестьянскому опыту. Оставляйтесь у нас, дом дадим, кормовые, обзаведение всякое, к осени корову купим. Тебя, дед в правление введем, а Пелагея Родионовна будет греться на печи и погоду предсказывать. Чем не жизнь?

Надежда Петровна наливает старушке очередную чашку, подвигает к ней вазочку с медом. Старик долго молчит. Он достает кисет, скручивает сигарку, закуривает, пускает облако дыма и лишь затем говорит:

— Стары мы больно с коровами в ярме ходить. А при своем деле мы всегда сыты и чистым воздухом дышим. На кой ляд нам осенью корова? А до осени мы у твоего колхозного козла сосать будем?

— У тебя что, уши заложило?.. Сказал, все будет: и харчи, и дом, и барахло. Что еще нужно?

— А мы не просим. — Старик задавил окурок о лавку, швырнул на чистый пол. — Мы тебя об одном просим: отпусти ты нас за-ради бога! Лучше с сумой ходить да от начальства подале...

— Старый паразит! — не с гневом, а с каким-то иным, большим, сильным чувством говорит Трубников. — Твои сыны за Советскую власть головы сложили, а ты по родной земле, по ее чистому телу вошью ползаешь? Барахло скопил, а старуху свою в слепоте гноишь?

И тут раздается какой-то странный, тонкий, дрожащий звук. Пелагея Родионовна плачет, склонив к столу смуг-

ло-заветренное морщинистое личико, мелкие как бисер слезы катятся из-под темных очков. Надежда Петровна ласково обнимает ее за плечи.

Что-то скривилось в лице старика, но он сдержался, снова полез за кисетом.

— Ну, как знаешь... — Будто потеряв интерес к разговору, Трубников поднялся из-за стола и протянул старику котомку.

— Постой! — говорит старик, откладывая свои пожитки. — Ответь мне: как ты нас разгадал?

— У меня отроду нюх на симулянтов, — усмехнулся Трубников. — А потом — уж слишком метко ты индюку по клюву съездил. Суду все ясно!..

— Серьезный ты человек, Егор Иваныч, — с суровой приязнью говорит старик. — Ты у меня в доверии. Иначе нас никакой силой не удержишь. Мы, знаешь, свечным салом смажемся и в замочную скважину уйдем. А теперь все, кончились наши скитания, старая, — впервые обращается он к жене.

— Как скажешь, Игнат Захарыч, — робко улыбнулась старушка. — А я согласная.

Трубников подозвал к себе Надежду Петровну.

— Ступай с Прасковьей контору прибрать. Мы их туда поместим.

— А контора?

— Обойдемся покамест, канцелярия у нас, слава богу, еще не выросла.

Надежда Петровна выходит из дома. Тотчас из-под крыльца вынырнул пес, завертел от радости хвостом.

Багровый закат охватил небо. И на этом багрянце далеко за деревней с удивительной четкостью вырисовывается на взлобке холма силуэт коровьей упряжки и двух женщин. И уж не печалью, а силой, торжеством человеческой воли веет от этой картины.

Полустанок. На теневой стороне стоит коньковский «выезд». Колпик жует сено, Алешка дремлет на козлах. Рядом с полустанком идет строительство водонапорной башни. Отту-

да отъезжает полупортка с гремящими бортами. Наперерез грузовику выходит Трубников с поднятой рукой.

Грузовик тормозит, из кабины выглядывает остроглазый шофер.

— Подбросишь в Коньково?

— А тебе зачем? — подозрительно говорит шофер. — Ты же при своей карете.

— Да не меня — наши коньковские мужики с двенадцатичасовым приедут... Цельная артель!

— На мадерку будет?

— Не обижу...

— Порядок, — усмехнулся шофер. — Живи, пока живется, о счастье думай иногда, выпивай, когда придется, а веселись всегда! — продекламировал он и, развернувшись, поставил грузовик рядом с коньковским тарантасом.

Слышится гудок паровоза.

Рабочий поезд медленно приближается к пустынной платформе. С площадки одного из вагонов неловко спускается задом наперед какая-то бокастая тетка с бидонами.

Тревога и недоумение на лице Трубникова.

Еще один пассажир сходит с поезда, напутствуемый шутками и дурашливыми криками вагонных дружков. Это парень лет двадцати двух, в пиджаке, брюках, заправленных в яловые сапоги, военной фуражке, в распахнутом вороте виднеется треугольничек морской тельняшки. За плечами у парня завернутая в рогожу пила, в руке ящик с инструментами. Поравнявшись с Трубниковым, парень уловил странно-пристальный взгляд незнакомого пожилого человека.

— Чего уставился, папаша? — говорит он развязно. — Или на мне узор наведен?

— Ты не с Конькова будешь? — спрашивает Трубников.

— Хоть бы и так, как ни странно! — ответил парень. — А ты, видать, из оркестра, которым меня встречать должны?

— Почему один? — резко спросил Трубников.

— Никак, председатель? — хлопнул себя по лбу парень и протянул Трубникову руку. — Маркушев Павел Григорьевич, как ни странно.

— Где же остальные? — угрюмо спрашивает председатель.

— Еще наряд не закрыли, — уклончиво отвечает Маркушев, — погодить придется...

— Ты со мной не хитри! На разведку, что ль, прибыл?

— Может, и так, а может, личную жизнь уладить, — независимо говорит Маркушев. — А коли начистоту: сомневаются мастера, как бы осечки не вышло.

Они идут через площадь.

— Не огорчайтесь, папаша, — добродушно улыбается Маркушев, глядя на опечаленное лицо Трубникова. — По стопочке примем? Я угощаю.

— Ты вроде довольно наугощался, — неприязненно отзывается Трубников.

— Все в норме... как ни странно.

Они подходят к экипажу.

— Алеха! — обрадовался Маркушев земляку. — Как она, ничего?

— Ничего...

— Дай петушка — будет хорошо!

Маркушев кинул Алешке руку, а Трубников отходит, чтобы расплатиться с водителем грузовика.

— Рейс отменяется. Получай за простой.

— Обижаешь, хозяин!

— Алименты, что ль, платишь?

— Один я, как Папанин на льдине, — обиделся шофер.

— Ну и хватит с тебя.

Трубников садится рядом с Маркушевым, и экипаж, заскрипев всем своим расхлябанным составом, загрохотал по булыжной мостовой.

— Силен фэтон, как ни странно! — хохочет Маркушев. — Прямо для музья!

— Может, он еще и будет в музее, — серьезно отвечает Трубников. — Слушай, Маркушев, мы агитацией не занимаемся, а мужикам отпиши: могут крепко прогадать...

— Это на чем же? — Маркушев закуривает длинную папиросу и откидывается на сиденье.

— Мы большую стройку планируем. Своих мастеров не будет — чужих подрядим.

Маркушев сожалеюще-насмешливо глядит на Трубникова. За последние горячие месяцы Егор Иваныч сильно пообносился. Заботами Надежды Петровны на нем, правда, все цельное, но истершееся до основы, штопаное, латаное, сапоги стоптаны, сбиты. К тому же у него опять болит ампутированная рука, и онухватился за культю здоровой рукой. Вид у председателя далеко не блестящий.

— Как ни странно, а все же странно, — резвится Маркушев, пуская голубые кольца. — С каких же это достатков, папаша? Штаны заложил?

Трубников, прищурившись, разглядывает парня.

— Я так прямо и напишу ребятам: мол, колхоз гольмоль ставит вам ультиматум! — Маркушев хохочет, довольный собственным остроумием.

— Веселый жених у твоей невесты, — как-то удивительно спокойно, глядя на Маркушева, произнес Трубников.

Тарантас приближается к Конькову. Дорога прорезает березовый редняк. Маркушев безмятежно дымит в мире с самим собой и окружающим тихим солнечным простором. Трубников молчит задумавшись.

По правую руку, за березами, на луговине, поросшей густой травой, мелькает фигура косаря в синей рубаше.

— Это что еще за ударник полей? — очнулся Трубников. — Стой, Алешка!..

— На кой он нам сдался? — спросил Маркушев.

— Ворюга! Колхозную траву валит. — И, спрыгнув с тарантаса, Трубников устремляется к косарю.

— Шебуришной он у вас! — благодушно посмеивается Маркушев.

— Да, такой чудик! — соглашается Алешка, но, будь Маркушев пронизательней, он бы уловил, что шутка возницы целит вовсе не в Трубникова.

— Мать честная! — вдруг с ужасом произнес Алешка. — Да ведь это папаня!..

На опушке роши сошлись Трубников и Семен.

— Под суд захотел? — опасным голосом произносит председатель.

Семен, не обращая внимания, действует косой. Валяются через сизо-голубой нож сочные стебли травы.

— Кончай, слышь?!

— А корову мне чем кормить?! — орет Семен, размахивая косой. — Корова — не человек, она жрать обязана!

— Отработаешь на косовице — получишь сено...

— На том свете угольками! Пшел с дороги!

— Тогда коси, где положено!

— Там сухоть! Захватили всю землю, дыхнуть негде! —

Он вновь заносит косу.

— Не дам! — Трубников становится прямо под косу.

Их взгляды, полные ярости, скрещиваются.

— Хоть и брат ты мне, хоть и родная кровь!.. — затряс губами Семен и пустил острый нож прямо по щиколоткам Трубникова. Тот успевает подпрыгнуть. Ударом ноги Трубников ломает рукоять косы. Семен бьет Трубникова. Начинается жестокая драка.

С дороги видны фигуры дерущихся. По направлению к ним бегут Алешка и Маркушев.

Трубников вышиб из рук Семена сломанную косу и закинул ее подальше от себя. Подбежавшего Алешку отшвыривают, как кутенка.

Когда же подоспел Маркушев, драка внезапно кончилась. Сбив Трубникова с ног, Семен нагнулся над ним, чтобы половчее стукнуть, и тут страшный удар в живот поверг его на землю. Он попытался встать, но еще один

удар левой в скулу окончательно решил его боеспособности.

Трубников отходит в сторону и, зачерпнув воды из лужицы, ополаскивает лицо.

Семен медленно, держась за живот, подымается.

— Что накосил — сдашь Прасковье на скотный двор, — холодно говорит Трубников. И Алешке: — Подсобишь отцу. Мы сами доберемся.

Он идет прочь вместе с Маркушевым, но вдруг поворачивается и подходит к Семену.

— Долг за избу ты мне сегодня вернешь, — говорит он негромко, но очень выразительно. — Понятно? Иначе — раздел, ломать буду...

Семен ничего не отвечает, лишь бросает на Трубникова взгляд раненого зверя.

Трубников нагоняет Маркушева.

— Мы с Семеном с детства любили на кулачках биться, — говорит он, — но в деревне болтать об этом не обязательно.

— Слушаюсь, Егор Иваныч! — каким-то новым голосом отвечает Маркушев.

Под вечер. В доме Трубниковых. Борька что-то рисует с альбома.

Никогда, никогда не сольются
День и ночь в одну колею.
Никогда не умрет революция,
Не закончив работу свою...

— тихо напевает Трубников.

Он ходит по избе, держась за культу. У него, видно, опять болит рука и всякие мысли одолевают. Проходя мимо печи, он прикладывает ладонь к ее чуть теплomu боку и снова хватается за культу. Затем он подходит к Борису и заглядывает через плечо. Борька резко захлопывает альбомчик и не открывает до тех пор, пока Трубников не отходит от него. Надежда Петровна заметила эту сцену, и

лицо ее болезненно скривилось. Трубников успокаивающе и намекающе кивает ей. Надежда Петровна берет пустые ведра и выходит из дома.

— Слушай, Борис, — обращается Трубников к пасынку. — Неладно у нас получается. Ты на меня волчонком глядишь... а мать переживает.

Мальчик пожимает плечами, но взгляд его остается замкнутым и настороженным.

— Ты не думай, я в отцы тебе не напрашиваюсь, — продолжает Трубников. — Отец у тебя один, и это свято. Как ты был у матери на первом месте, так и остаешься. Но я, видишь, инвалид, со мной много возни требуется, не обижайся. Если мы и не станем друзьями, все равно мы оба должны о матери помнить, чтобы ей жилось хорошо, она это заслужила. Согласен?

Борис потупился, чуть приметно пожав плечами.

— Теперь поговорим о деле. — Трубников подходит к стене, на которой вывешены Борькины рисунки. — Скажи, ты мог бы таким же образом построить нашу деревню?

— А чего строить-то? — Борька удивленно поднял темные брови. — Деревня — она деревня и есть.

— Я говорю о Конькове, которым оно станет лет через десять.

— Каким же оно станет?

— А я почему знаю!.. Другим, а каким — тебе виднее: ты — архитектор, я — заказчик.

— Нет, не смогу, — чуть подумав, говорит Борька. — Деревни такой я сроду не видел.

— Вот те раз! А фантазия зачем человеку дана?.. Ну-ка, выйдем...

Речка Курица. Надежда Петровна, зачерпнув ведром воду, видит, как Борис и Трубников вышли на мосток, их сопровождает знакомый нам пес.

Уже поздно, но еще длится розовый весенний закат. Где-то вдалеке звучит грустная, одинокая песня женщины.

— Тебе нравится все это? — Трубников широким жестом обводит деревню: покосившиеся, почерневшие, а где и просто разрушенные избы, завалившиеся плетни.

— Чего тут может нравиться?

— То-то и оно! Неохота мне таким Коньково видеть, да и никому неохота Пережиток войны!

Направляясь на свой ночной пост, по улице идет Семен с берданкой под мышкой. Он в драном тулупе и треухе с вылезшим мехом.

Увидев Трубникова, сворачивает с пути и медленно, опустив голову, идет к мостку. Подойдя вплотную, он почти швыряет в брата пачкой денег, завернутых в газету.

Трубников успевает перехватить пачку, Семен, не проронив ни слова, возвращается назад.

— Тоже пережиток, — говорит Трубников, пряча деньги в карман брюк. — Ну, договорились, Борис. Покажем людям будущее Коньково?.. Не в альбомчике, не врозь, а цельной картиной, чтоб каждое здание на своем месте стояло, чтоб было видно: это Коньково, вон река Курица, вон старый вяз, вон Сенькин бугор. А это, мать честная, клуб, контора, почта, больница, Школа, елки-палки, колхозный санаторий!..

Трубников так естественно изобразил удивление, что Борька рассмеялся.

Навстречу им идет Надежда Петровна с полными ведрами. Увидев мужа и сына в дружном согласии, она радостно вспыхнула и опустила ведра.

— Добрая примета, — кивает Трубников на полные ведра.

— Еще какая добрая! — отвечает своим мыслям Надежда Петровна.

Борис, забрав ведра, направился с матерью к дому.

Трубников подходит к небольшой хибарке на задах деревни. Знакомый нам парень на деревяшке обтачивает металлический стерженек, зажатый в тисках. Ему помогает какой-то подросток

- Как дела, Коля? — спрашивает Трубников.
- Жаловаться грех! — отвечает парень.
- Слушай, Коля, ты мне веришь?
- Факт!
- Можешь ты за этот месяц свою долю не брать?

Парень смотрит на него удивленно и кисло.

— Понимаешь, хочу я перед косовицей аванс выдать, а карман не тянет, подсоби, за колхозом не пропадет.

— Ладно, авось не чужие, — улыбнулся парень.

— Тогда — порядок в танковых частях! — доволен Трубников.

...По тенистой аллее идут парень и девушка: приезжий плотник Маркушев и Лиза. На худенькие плечи Лизы накинута большая пиджак Павла. Павел пытается ее обнять. Лиза отстраняется.

— Ты рукам волю-то не давай!

— Вот братан с Урала приедет — сразу свадьбу скрутим, и привет товарищу Трубникову! — наступает Павел.

— Ишь ты какой быстрый приветы раздавать, — отстраняет его Лиза.

— Неужто не осточертела тебе такая жизнь?

— Интересно все-таки, чего из всего этого будет?

— Чего всегда бывало, то и сейчас будет, — мрачно говорит Маркушев. — Палочки в тетрадке...

— Если так, я уж никому в мире больше не поверю, — со страстью произнесла Лиза.

Из темноты на них надвинулась фигура человека.

— Привет начальству! — опознал Трубникова Маркушев.

— Вон что!.. Поздравляю, разведчик!

— Думаю забрать у вас Лизаху, — свободно говорит Маркушев.

— А мы еще посмотрим, отдавать ли за тебя, — отвечает Трубников полушутя-полусерьезно.

— Чем же я плох? Парень молодой, как ни странно, всесторонний.

— Шатун ты, перекаати-поле... А Лиза — царевна, и весь жемчуг в ее короне!.. — В голосе Трубникова прозвучала не свойственная ему горячая нежность.

— Не больно вы этот жемчуг бережете!

— Что ж делать, коли все на женские плечи легло? Мужики длинный рубль да легкий хлеб промышляют, а бабы да девчата исторической жизнью живут... — И, дернув козырек фуражки, Трубников прошел вперед. — Пока сено не уберем, о свадьбах и думать забудьте. Заруби себе на носу, Маркушев!

Затем из темноты раздался его голос:

— А то собрал бы бригаду да показал, на что способен!..

— Ох, допрыгается у меня ваш председатель! — угрожающе говорит Маркушев.

Раннее утро. Пропел петух первым, самым пронзительным голосом. По дворам тюкают молоточки, отбивая косы. По улице торопливо шагают темные фигуры с косами на плечах.

Семен, поеживаясь в своем вытертом полушубке, выходит из амбарных недр. Он привычно плетет лукошко из зеленоватых полосок лыка.

Мимо, в сторону строящегося здания конторы, спешат колхозники.

— Куда ни свет ни заря? — окликнул их Семен.

— В контору! Аванец, говорят, дают, — отозвались колхозники.

— Чего? — усмехнулся Семен. — Совсем очумел народ!

Около недостроенной конторы толпится взволнованный народ.

Чуть поодаль Павел Маркушев собрал вокруг себя группу мужиков. Тут егерь, лесничий, инвалид-замочник, кузнец Ширяев, тут же вертится Алешка Трубников — сплошь «нестроевики». О чем-то пошептавшись, они пробуют построиться в одну шеренгу...

К столу, за которым сидит Трубников, подскочила цветущая Мотя Постникова.

— Представляешь, Егор Иваныч, повезло первый раз в жизни... — затараторила она. — Чуть было в город не уехала, да, спасибо, люди у нас хорошие, подсказали... Разрешите. — Мотя потянулась к чернильнице.

— Нет, — говорит Трубников. — Выскочила не по чину!

— Так мне ж в город надоть...

— Осади... Прасковья Сергеевна, прошу!

Прасковья смущенно и гордо выходит из толпы. Трубников протягивает ей пачку денег.

— Распишись!

Прасковья подносит ведомость к глазам, макает перо в чернила, снимает с пера волос, снова разглядывает ведомость:

— И где?

Трубников тычет пальцем в лист.

— Больно мелко написано, — говорит в свое оправдание Прасковья и рисует большой крест.

Пред столом Трубникова возникла шеренга «нестроевиков». Отставив ногу в сторону и не глядя на председателя, Маркушев независимо спросил:

— Чего это вы, товарищ председатель, насчет бригады заикались?..

Но тут к Трубникову подскочил Петька, племянник. У него в руке берестяное лукошко.

— Дядя Егор!.. Дядя Егор!.. — теребит он его.

— Ну, что тебе?

— Дядя Егор, а мы фрицеву пушку в лесу нашли!.. — захлебываясь, шепчет Петька.

— Какую еще пушку? — досадливо морщится Трубников.

Изба Семена. Доня возится по хозяйству, Семен прибывает каблук к сапогу.

— В городе польта давали, — говорит Доня. — Мотька Постникова через крестную достала и в Турганове за полторы тыщи толкнула.

— Кабы я мог хоть денька на два отлучиться! — хмуро говорит Семен. — А то сиди как прикованный да амбарных крыс охраняй, дьявол их поberi...

В избу радостно входит старший сын, Алешка, колхозный возница.

— Получай, маманя, трудовой аванс. — И он шмякает на стол три сотни.

— С чего бы это? — удивляется Доня.

— Теперь каждый месяц будут давать! Тебе, папаня, тоже выписано, только поменьше, как человеку сидящего труда.

— Да подавись они своими грошами! — злобно говорит Семен.

Алешка проходит в другую половину избы.

— Ишь, расщедрился Егор! С каких это достатков? — говорит Доня, орудуя рогачом. — Неужто наши деньги на аванс пустил?

— С него станется... Только нашими тут не обойдешься... Чего-то он мухлюет, — задумчиво говорит Семен.

— Нешто не знаешь! — вскинулась Доня. — У них с Колькой хромым цельная артель. Егор железо достает, а Колька вкалывает. Замки, ключи, всякую всячину. Доходы пополам.

— Ловко! Будто управы на него нет!

Семен задумался.

Он подошел к полке и выбирает из стопочки чистую тетрадку. Затем достал из-за божницы свои очки с подвязанными ниткой дужками.

В другой половине избы Алешка, натягивая на себя одежду попроще, рисует своим младшим братьям и сестрам ослепительные картины своего будущего:

— А осенью я сапоги куплю!

— Врешь?!

— И костюм-тройку!

— Брось загибать!

Но глаза ребятишек блестят так, будто на Алешке не рвань и опорки, а все его грядущие обновы.

Алешка выходит в сени.

— Папаня, ты куда косу дел? — спрашивает деловито.

— Тебе зачем?

— Ручку приделать.

— Не твоя забота.

— Да мне на косовицу выходить... И тебе тоже. Но как ты человек ночной, так после обеда...

— Чего врешь? Мы же не в бригаде...

Алешка достает из-за лестницы косу с новой ручкой, которую уже приделал хозяйственный Семен, прислоняет ее к стене.

— Пашка Маркушев сводную бригаду собрал, — гордый своей осведомленностью, тараторит Алешка. — Зачислены все, кто в полеводстве не занят... А еще сюда егерь записался, лесничий, фельдшер дядя Миша. Им сеном обещали уплатить.

— Ладно! Надоел! Катись помалу! — поднял над тетрадкой недовольное лицо Семен.

Алешка выбегает на улицу. Во всю ширину улицы нестройным гуртом движется на сенокос разношерстная бригада Маркушева. Мы снова видим и Ширяева, и хромого замочника, и других «нестроевиков». Сверкают на солнце косы. Алешка кидается вдогон...

Семен пишет что-то в тетрадку. Из другой половины избы в кухню выбегают разыгравшиеся ребяташки. Крики: «Тебе водить!», «Сала!», «Чур не я!..»

— Тише вы! — прикрикнула Доня. — Отцу мешаете... Ступайте на улицу!

Старшая дочь Семена походя заглянула отцу через плечо.

— «Заявление» пишется через «я», — замечает она.

— Брысь! — огрызнулся Семен.

...По дороге, уходящей к лесу, шагает высокий, плечистый человек в добротном бостоновом костюме и зеленой велюровой шляпе; в руке у него чемоданчик. За его спиной, в отдале-

нии, на зеленом фоне мелькают рубашки косцов. Человек вступает в лесной, просквоженный солнцем сумрак.

— Раз-два, взяли!.. Еще раз... взяли!.. — доносится до его слуха.

Человек сдержал шаг, пригляделся. За деревьями виднеются фигуры людей, занятых каким-то непонятным делом. Заинтересовавшись, человек свернул с дороги.

Пожилой запаренный инвалид в мокрой рубашке, старуха с подоткнутым подолом и несколько ребятишек с помощью хромого конька пытаются вытащить из болотца что-то большое, темное, бесформенное. В момент, когда человек подошел, веревка оборвалась и ребятишки попадали на спину.

— Вы чего тут — клады шуруете? — усмехнулся человек. Старуха обернулась.

— Костя?.. Маркушев?.. — проговорила удивленно. — Надолго приехал?

— У Пашки на свадьбе гулять...

— Что стоишь, как свеча? — накинулась Прасковья. — Сымай пиджак...

Маркушев послушно снимает пиджак и вешает его на ветку.

— А чего вы тут тягаете?

— Фрицеву полевою кухню, — сказал Трубников.

— На кой она вам сдалась?

— Сразу видать — от деревни оторвался! Да это же все... ресторан на колесах, горячий обед в поле...

Поплевав на ладони, Маркушев крепко взялся за веревку, и этого могучего притока силы хватило, чтобы кухня возникла из зеленоватой воды всем своим потемневшим медным телом, а болотце взамен кухни получило городского щеголя...

Нестерпимо блещут под жарким полуденным солнцем сложенные шатром косы. Справа густой лозняк, склонившийся над рекой Курицей. Оттуда подымается голубой дымок. Слева наполовину обкошенное поле.

Под лозняком купаются в рубашках женщины.

Дальше, на крутом берегу, расположились мужчины.

Тихая речка Курица в зеленых берегах отражает белые облака. Ветер путается в густой зрелой листве деревьев.

Тесно, плотно стоят колосья уже начинающего желтеть хлеба.

Раннее утро. Из отстроенного коровника выгоняют скотину. Колхозное стадо заметно увеличилось.

Трубников с Прасковьей осматривают строящуюся подвесную дорогу. Трубников видит: возле коровника появились Маркушев и Лиза с вилами через плечо. Павел что-то втолковывает Лизе, тянет ее за руку, но она вырвалась и убежала за куст бузины. Вздохнув, Павел направился к воротам коровника. Трубников вышел ему навстречу.

— Егор Иваныч! — откашлявшись, говорит Маркушев и оглядывается на куст бузины. — Так как насчет моего дела? — Он снова косит на Лизу и подает ей знак рукой: иди, мол, сюда.

Но Лиза отрицательно мотает головой.

— Егор Иваныч, — снова начинает Маркушев, — братан за свой счет отпуск взял...

— Дело у тебя сейчас одно — сено стоговать! — сердито перебивает Трубников. — Ну кто, скажи, в разгар сеноуборочной свадьбы играет?.. У тебя все на работу вышли?

— Опять двое филонят, — жалобно говорит Маркушев, — Мотя Постникова и Евдокия Трубникова.

— Чего же ты молчишь?

Они подходят к опрятному домику с палисадником. Мотя будто ждала их.

— Милости просим, Егор Иваныч, простите, не убрано!

— Не мельтешишь, — остановил ее Трубников. — Отчего второй день на работу не выходишь?

— По-божески? — спрашивает Мотя.

Трубников кивает.

— Лучше я вам по-партийному скажу... Свинка у меня опоросилась. И, понимаешь, пропало у ней молоко. Я по-

росяточек сама молоком из бутылки отпаивала. Веришь, цельные сутки глаз не сомкнула.

— Ну, а теперь?

Мотя сделала плаксивое лицо и махнула рукой.

— Пойдем-ка взглянем!

— Да чего смотреть-то?! — радостно сказала Мотя. — Сейчас порядок, все как один из мамки сосут!

— Коль так, ступай за граблями, мы подождем.

— Да Егор Иваныч!.. — всплеснула руками Мотя, словно она поражена недогадливостью председателя, так и не взявшего в толк, что выйти ей на работу никак невозможно.

— В город все равно не пушу, ясно? — И, отвернувшись, Трубников отошел.

— Знаете, что она мне шепнула? — возмущенно говорит Маркушев. — «Зачем председателю пожаловался, я бы тебе на свадьбу четверть вина выставила!»

— Вот чертова баба!

— Егор Иваныч, — помолчав, начал Маркушев, — может, все-таки разрешите сегодня сыграть?

— Эх тебя разывает! Уберем сено — гуляйте на здоровье!

— Так ведь у брата отпуск кончается! Хошь не хошь, а ему завтра выезжать. Урал все-таки...

— Не время сейчас, Паша...

— А если мы сегодня все подчистую добьем?

— Тогда что же... Я первый приду поздравить.

— Ох и обрадуется мой старшой! Очень ему хотелось на моей свадьбе погулять.

— Только помни, Паша: стог — шесть обхватов.

В заношенном жакете, по брови повязанная платком, вышла Мотя; на плече старые, с кривыми зубьями, грабли.

— Запозднились! — сказала она деловито. — А ну ходи веселей, бригадир!

— Ступай в поле, — говорит Трубников. — Доней я сам займусь.

Увидев входящего в дом Трубникова, Доня отпустила с рогача чугунок, лицо ее вспыхнуло гневом.

— Зачем пришел? Семен в поле...

— А ты приглашения ждешь?

— Чего надумал! У меня груднята.

— Не у тебя одной... Другие в поле малышей берут. А то и старушку для присмотра ставят...

— Ну а у меня присматривать некому...

— Я присмотрю.

— Ты?.. Ты?.. — задохнулась Доня, приподняв рогац.

— А что? — Трубников впился ей в глаза. — В поле я не гожусь, я и драться-то могу только одной рукой. А ты вон как ловко рогац держишь, будто вилы. Ну, хватит трепаться, давай быстро во вторую бригаду!

Шмыгая носом, Доня скинула фартук, стянула шелковую кофточку, так что видны стали ее тяжело заполнившие лифчик груди.

— Бесстыжая ты... — покачал головой Трубников.

— А чего тебя стесняться? — натягивая через голову кацавейку, сказала Доня. — Ты же не мужик, ты нянька.

— Эх, убила! Да я хоть чертом буду, только работайте!

— Хорошую ролю выбрал — за писунами глядеть. Сказать кому — не поверят.

Доня громко хлопнула дверью. Выйдя, она заглянула в окно.

Трубников тихо покачивает зыбку. Лицо у него серьезное и кроткое.

И будто впервые увидела Доня этого человека, которого считала врагом, и странная, задумчивая печаль мелькнула в ее глазах...

Спорится на полях работа. Ребятишки верхом на лошадях подтягивают волокушами копны к строящимся стогам.

Молодые мужики и бабы, стоя в круг, подают сено вилами на стог, а те, что постарше и поопытнее, утаптывают

его, подбирают с боков. Приплясывая на высокой горе почти сметанного стога, Константин Маркушев кричит брату:

— Эй, братишка, велел бы пивка привезть, дюже жарко!

— Высотникам хмельного не положено! — отзывается Маркушев. — Сковырнешься — отвечай за тебя.

— Не бойсь, бригадир! А скovyрнусь — бабоньки в подол поймают!

Павел глядит на небо, клубящееся по горизонту не то грозовой, не то пыльной тучей.

— Други, давай быстрей! — кричит он. — Никак гроза заходит...

Доня возвращается домой и застаёт Трубникова на том же месте. Поскрипывает зыбка, малыши сладко спят.

— Хорошие колхозники, выдержанные, — одобряет близнят Трубников. — Как там в поле?

— Пашка икру мечет, загонял совсем... — Но похоже, что Доня не очень огорчена трудовой разминкой.

Дело близится к вечеру. Над клеверищем гуляет ветер, раздувая подола баб и рубахи мужиков. Тучи обложили все небо. Люди торопятся, стараясь обогнать грозу. Со своего разболтанного тарантаса спрыгивает Трубников.

К нему направляется Павел Маркушев, глаза его красны, как у кролика, от ветра и сенной трухи.

— Как дела, бабоньки? — спрашивает Трубников.

— Спасибо, хорошо! — вразнойбой кричат те.

— Последний стог добиваем, Егор Иваныч, — улыбается через силу Павел.

Из сенной трухи мелькнуло обветренное, обожженное солнцем улыбающееся лицо Лизы.

— В шесть обхватов клали?

— Проверьте! — машинально отвечает Маркушев.

Трубников шагнул к стогу, вскинул левую руку и сам рассмеялся.

— Ну, моих тут поболее десятка будет! — шутливо говорит он смущенному бригадиру. — Привет, товарищ

сталевар! — кричит старшему Маркушеву. — Как само-чувствие?

— Отвык маленько, Егор Иваныч, — отвечает тот с верушки стога. — Сталь варить вроде сподручней!

Когда Трубников подъехал к другой бригаде, ветер задул с удвоенной силой. Он уложил траву и заklubил густую пыль на дороге.

— Видишь, как вовремя кончили, — говорит Надежда Петровна, предупреждая вопрос мужа. — А к Бутовской пустоши даже не приступали. Уж очень сено богатое, сроду такого не было.

— Эх вы! А Маркушев все подчистую добил!

— Не знаю, как он исхитрился! — разводит руками Надежда Петровна.

Лицо ее темно от пыли, на щеках влажные черные полосы.

Все нарастающий ветер, уже не размениваясь на мелочи, ломает сучья деревьев, мчит серые низкие тучи.

От старой плакучей березы, что росла на бугре, отделился огромный сук, пал на землю и неуклюже потащился по полю.

Отсюда, с бугра, Трубников видит клеверище. Над золотым ковром вновь отросшего низенького клевера носят-ся, будто ведьмины клочья волос, пучки сухого сена, вычесанного ветром из стерни. А в дальнем конце поля с перевальцем катится огромный шар, от которого тоже отделяются темные клочья и взмывают вверх. Трубников угадал, что это поверженный стог, лишь когда другой стог наклонился всем составом, рухнул и, покотившись с десятков метров, перестал существовать, растерзанный ветром. А затем повалился еще один стог, и еще, и еще. По дороге, направляясь к деревне, спешат люди.

Стиснув зубы, глядит Трубников, как ураган уничтожает нелегкий труд людей.

— Не горюй, Егор Иваныч, — слышится голос подошедшего сзади Игната Захарыча. — Бог даст, завтра ве-

дро будет, мы клеверок обратно просушим и застогуем накрепко.

— А коли дождь зарядит, сеногной!.. Пропал год... Опять бескормица, падеж, все сначала начинай...

— Да хватит тебе!.. Раз буря — значит, скоро распогодится.

— Твои-то не повалило?

— Зачем? Стоят как вкопанные.

— Вон за балкой тоже стоят.

— Видать, поторопились нынче. Утоптали плохо, да и окружность не соблюли.

— То-то и оно!.. Колхозное — чужое, а свое, кровное — свадьбу сыграть... — горько говорит Трубников, и тут страшный удар грома раскалывает небо.

Яростно хлынул ливень.

По окнам стекают последние капли дождя. Гроза прошла, снова светит солнце, июньский вечер еще светел, хотя солнце спустилось к горизонту.

Трубников и Борька рассматривают наброски для стенда.

— Хорошо, — говорит Трубников. — Все в подробности, только башня тут зачем?

— Это не башня, а голубятня.

— Зачем?

— Голубь-то — почтовая птица. Над почтой голубятник — в самый раз.

— Идут!.. — слышится взволнованный голос подошедшей к окну Надежды Петровны.

К дому Трубникова приближается шумная толпа. Впереди шагает Павел Маркушев в темном костюме и белой сорочке, рядом с ним молодая в светлом длинном платье с фатой и ромашковым венком на голове. За ними выступают родня и гости, среди всех выделяется дородством старший брат Павла — уральский сталевар.

Люди идут, приплясывая, отбивая дробца. Из середины толпы вырывается пронзительное обращение:

Ты воспой, ты воспой
В саду соловейко...

А раскатистый бас отвечает:

Эх, я бы рад тебе воспевать.
Эх, мово го-о-лосу не хвата-ат..
Хаз-Булат удалой,
Бедна сакля твоя...

Одни слова путались с другими, все ухало, охало, ахало.

— Видишь, ты не пришел, и свадьба сама тебе честь оказывает, — говорит Надежда Петровна.

— Нужна мне такая честь! — зло отвечает Трубников. — Коль зарядят дожди — сеногной, все прахом пойдет!

Свадьба приближается к дому.

— Выйди на улицу, неудобно, — просит Надежда Петрона.

— А ему удобно мне в лицо глядеть?

— Нельзя так, Егор, надо быть добрым!

Трубников как-то странно — нежно и насмешливо — смотрит на жену.

— Да, надо быть добрым... Ведь нам одной жизнью жить, верно? Со всеми свадьбами, родинами, крестинами, радостями, горестями... И сколько же, скажи, будет дрянного, нелепого, мешающего, если не быть хоть раз по-настоящему добрым!

Он выходит на крыльцо, Надежда Петровна следует за ним.

— Егор Иваныч, мы за вами! — В голосе Павла смущение, неуверенность и радость.

Трубников молчит.

— Такая незадача! — Павел делает грустное лицо, но против воли глаза его ликуют. — Прямо несчастный случай, да мы завтра наверстаем!

Умоляюще и нежно смотрит на Трубникова невеста, с веселой надеждой — брат-сталевар.

— Мразь! — громко говорит Трубников Павлу Маркушеву. — Раз ты коллектив обманул, нет тебе ни в чем веры.

Я бы подумал на твоём месте, — он глядит в помертвелое лицо молодой, — стоит ли с таким судьбу вязать. — И, повернувшись, возвращается в дом.

Он входит в дом и садится возле кухонного окошка, глядящего на огороды: верно, нелегко и непросто далась ему эта беспощадная доброта. Мягко ступая, к нему подходит Надежда Петровна.

— Ох и одиноко тебе будет, Егор, — говорит она печально. Трубников молчит.

— Может, это и сила в тебе, что ты так можешь... Только надо ли? Надо ли так с людьми? Ведь нынешний день им на всю жизнь запомнится.

— Я и хочу, чтобы им он запомнился на всю жизнь, — тихо отвечает Трубников. — Ну, мать, раз нам свадебных пирогов не есть, собери-ка поужинать!

В доме Маркушева негромко и невесело под «Милку дорогу» справляют свадьбу. Захмелевший Павел сидит за столом в палисаднике. К нему склонился Семен Трубников.

— Осрамили тебя на весь свет, — говорит он Павлу. — Разве это дозволено?

— И за что? — с хмельной обидой бормочет Павел. — Ну, ошиблись, поправимся...

— А ему люди — тьфу, лишь бы себя выставить!

— Ладно брехать-то! — вмешивается скотница Прасковья. — Он обо всех нас думает.

— Молчала бы, верная Личарда! Вот попомните, ему за ваш труд и пот новые награды выйдут, а вам — сказки о светлом будущем.

— Мы так несогласные... — крутит головой Павел. — Я уйду... И Лизаху заберу... А коли она не того... я один...

— Ладно чепуху молоть! — обрывает его старший брат.

— Я серьезно... Он, гад, мне в душу наплевал!

— Наш взводный тоже гад хороший был, — говорит сталевар. — А ведь мы не дезертировали и в атаку шли за этим взводным.

— Молчи, блокнот-агитатор!

Появляются захмелевшие бабы, волоча за собой Лизу.
— Горько! — орут гости. — Горько-о!

«Так будет» — эта крупная надпись венчает Борькин рисунок, набитый на доски и установленный против строящегося здания конторы.

У стенда остановились две молоденькие колхозницы. Они рассматривают рисунок, переглядываются и прыскают. К стенду приближаются Трубников с Игнатом Захарычем.

— Видал, заинтересовались! — удовлетворенно говорит Трубников.

Но тут и девушки заметили председателя. Смущенно, испуганно охнув, они пустились наутек.

— Чего это они? — удивился Трубников.

Но, подойдя к стенду, он краснеет от гнева.

Через весь рисунок, который он частично загораживает своей фигурой, тянется другая надпись: «Когда рак свистнет... твою мать».

— А каждую стеночку еще в особь изукрасили, похлеще иного забора, — сокрушенно говорит Игнат Захарыч.

— Да, выражено недвусмысленно...

Трубников приходит домой, где застаёт Надежду Петровну.

— Знаешь, как стенд испохабили?.. — начинает он.

Надежда Петровна прикладывает палец к губам и кивает на закуток.

— Плачет? — шепотом спрашивает Трубников.

— Не знаю...

Трубников проходит в закуток. Мальчик лежит плашмя на койке.

— Ну, Борис, это не по-солдатски...

Борька поднял измятое подушкой сухое, бледное лицо.

— Чего вам, дядя Егор?

— Прости, мне показалось, что ты того...

— Нет... Я просто думаю.

— О чем?

— Почему люди такие злые? Ведь это же хорошо, что мы с вами придумали? И нарисовано хорошо, правда?

— Хорошо, да только не ко времени. Поторопились мы..

— Почему?

— Дай голодному вместо хлеба букет цветов, он, пожалуй, тебя этим букетом по роже смажет... Еще дыры не залатаны, раны не залечены, а мы уже вон куда махнули. И у людей недоверие, злость — может, мы просто брехуны, обманщики... А люди не злые, не надо о них так думать.

Входит Надежда Петровна, ставит на столик крынку с молоком.

— Попей холодненького, — говорит она сыну, затем Трубникову: — Ты хоть сыми завтра эту срамотищу.

— Что? Да ни в жизнь! Если на такие плевки утираться, вся дисциплина к черту пойдет.

— И кто же это сработал? — вздохнула Надежда Петровна.

— Разве важно кто? Важно, что все это молча одобрили...

Возле конторы собрались колхозники. Теперь видно, как за минувшие месяцы вырос людской состав колхоза. На бревнах и просто на земле удобно расположилось несколько десятков мужиков, баб, парней и девушек. Отдельной группой держатся старики: Игнат Захарыч с женой, Самохины, скотница Прасковья. Кучно разместились недавно вернувшиеся в колхоз плотники. Их сразу заметно по городской одежде, легкой отчужденности и по любовно-преданным взглядам, какие бросают на них жены.

Трубников стоит перед собравшимися, за его спиной картина светлого коньковского будущего со всеми комментариями.

— ...Не за свое дело взялись, братцы, — говорит Трубников. — Вы что, думали меня удивить? Меня, который обкладывал целые батальоны? Я матом вышибал из людей

страх и гнал под кинжальный огонь на гибель и победу! А ну, бабы, закрой слух! — гаркнул он.

И женщины поспешно кто чем — ладонями, воротниками жакетов, платками — прикрыли уши и словно обеззвучили мир. Мы видим лишь, как открывается и закрывается рот Трубникова. Но вот он замолчал, и мир снова стал слышим.

— Ну, хватит, — сказал Трубников.

Утирая слезу, бывший слепец Игнат Захарыч проговорил умиленным голосом:

— Утешил, Егор Иваныч, почитай, полвека такой музыки не слыхивал!

— Задушевная речь, — подтвердил Ширяев.

— Ладно, товарищи, шутки в сторону! — продолжает Трубников. — Все, что нарисовано здесь, не блажь, а наш с вами завтрашний день, и вы его загадили, осрамили, опохабилы. Это, коли проще говорить, наш строительный план. То, что вы, товарищи вновь прибывшие... — он повернулся в сторону артельщиков, — должны будете строить...

— К вам вопрос, товарищ председатель! — крикнула старуха Самохина. — Когда, к примеру, все эти чудеса на постном масле ожидаются?

— Это от нас самих зависит. Ну, скажем, лет через десять.

— Вона! Да мне за седьмой десяток перевалит!

— А Кланыя, твоя внучка, если ее сопли не задушат, только в возраст войдет, как раз десятилетку кончит нашу, коньковскую.

— Скажите, Егор Иваныч! — крикнула молодая колхозница Нина Васюкова. — Мы правильно поняли, что с колоннами — этот клуб?

— Правильно. Будущей весной заложим.

— А напротив чего?

— Общественная столовая. Не через год, не через два, а войдем в силу — построим!

— До чего у нас народ доверчивый! — раздался звонкий, насмешливый голос Полины Коршиковой. — Им сказки рассказывают, а они губы распустили!

— Правда, что-то не верится! — поддержал кто-то.

— А когда вам верилось? — говорит Трубников, и непонятно, горечь или насмешка в его тоне. — Говорил: подыдем коров — не верили. Говорил: дадим аванс — не верили. Говорил: соберем народ в колхоз — не верили... Ты, Полина, про сказки плетешь, а давно ли тебе сказкой казалось, чтобы твой разлюбезный супруг Василий на колхозный кошт вернулся? Вот он, сидит на бревнах, новые штаны протирает. Вспомните-ка лучше, что тут весной было, а потом оглянитесь!

— Верно, бабы! — крикнула скотница Прасковья. — Зачем зря говорить!

— А чего раньше строить будут? — спросил кто-то.

— Колхозный двор, инвентарный сарай, конюшню, птичник, мастерскую. Неделимый фонд — первая наша забота. И приступим мы к этому строительству, товарищи мастера, буквально завтра!

Слышится взволнованный шум.

Трубников находит глазами Надежду Петровну и Борьку и неприметно подмаргивает им: мол, разговор-таки состоялся.

Они отвечают ему понимающей улыбкой.

— Егор Иваныч, а что со стендом делать? — спрашивает кто-то.

— Как — что? Пусть стоит как свидетельство нашей славы.

— Неудобно! Ну-ка чужой кто увидит?

— Так снимем...

— Может, подчистить резинкой, ножичком соскоблить? — покраснев, предложил Павел Маркушев.

— Добро! Вот ты этим и займись. Семена Трубникова привлеки, он днем свободный, — спокойно и благожелательно советует Трубников.

...Большая, жилистая крестьянская рука, сложенная в кулак, медленно разжимается: на ладони зерна ржи. Игнат

Захарыч на крыльце новой конторы показывает эти зерна Трубникову. Тут же находится и Василий Коршиков, и кузнец Ширяев, и несколько молодых колхозников.

За их фигурами — раскаленная зноем деревенская улица: бредет изнемогающий от зноя пес с высунутым потным языком, поникли пыльные ветви деревьев, стоят смуглые, сухие травы.

— Еще несколько дней, — говорит Игнат Захарыч, — и зерно начнет гореть.

— Точно! — подтвердил Ширяев. — Надо убирать.

— Я звонил в район, — зло бросает Трубников, — говорят, нет указаний сверху.

— Еще чего! — хмурится Игнат Захарыч. — Зерно само указывает. Завольним с уборкой — пропадет урожай.

— А нешто наверху не знают? — невесело усмехнулся Коршиков.

— Бюрократизм! — резко говорит молчаливый кузнец Ширяев. — Он для земли страшнее засухи...

— Поеду в МТС, — решительно говорит Трубников. — Или они начнут уборку, или расторгну договор к свиньям собачьим!

— Верно, — говорит Ширяев. — Уберем вручную. Народу у нас много, справимся.

— А по такому хлебу вручную даже лучше, — добавил Игнат Захарыч, — меньше потерь будет.

Кабинет директора МТС.

— Брось, Егор Иванович, -- говорит директор, вытирая платком потный лоб. — Небось не маленький, сам знаешь: раз нет команды — сиди и не рыпайся.

— А урожай пусть гибнет?.. Короче, если ты завтра же не начнешь уборку, мы обойдемся без вас.

— Не пугай, мы уже пуганые, — усмехнулся директор МТС.

Трубников поглядел на него, резко снял трубку телефона.

— Колхоз «Труд» попрошу... Да-а! Игнат Захарыч, ты? Объяви людям: завтра начнем уборку... Что-о?!

Трубников отстранился от трубки, провел рукой по сухим, растрескавшимся губам, повернулся к директору МТС.

Тот, поняв, что уборку уже начали, ошалело глядит на Трубникова.

Ржаное поле, залитое жгучим солнцем. Недвижимы плотные ряды колосьев. И, надвигаясь на них, широким фронтом идут косцы.

Мелькают знакомые нам лица: Василий Коршиков, кузнец Ширяев, разящие колосья, как вражескую рать.

Павел Маркушев.

Колька-замочник.

Алешка Трубников.

Другое поле. Здесь женщины серпами жнут рожь.

Заводилой в том трудовом согласье — Прасковья, у которой серп забирает колосья, что добрая коса. Руки, трудовые женские руки... Молодые и старые, тонкие, покрытые первой зарубелостью, и темные, будто из ремней плетенные, повитые толстыми жилами, и все равно прекрасные человеческие руки, творцы всего доброго, что есть на земле!

А вот чьи-то сильные, загорелые руки вдруг выпустили крепко схваченные в горсть колосья. Уронили на землю синеватый серп.

Надежда Петровна стоит, прикрыв глаза, на лице ее странное выражение счастья и боли. Руку она положила под сердце.

Прасковья заметила неладное. Она подошла к Надежде Петровне и, обняв за плечи, повела ее прочь с полосы.

— Ступай, слышь, домой! Нашла чего — на жнитве ломаться...

На другом конце поля, где, удаляясь к горизонту, размахивают косами мужики, слышен треск мотоцикла.

Примчавшийся из райцентра Раменков взывает через кювет к Трубникову:

— Да вы понимаете, что теперь будет?! Кто дал указание начинать уборку?! — кричит он, краснея мальчишеским лицом.

— Зерно! — отвечает Трубников. — Самое высшее начальство!

— А где же техника? — кричит Раменков. — Где машины?

— Вы недооцениваете поэзию ручного труда! — с усмешкой отзывается Трубников и идет прочь.

— Вам это так не пройдет! — кричит Раменков и остервенело жмет на педаль. — Анархия! Вы ответите за это партийным билетом!.

Мотор, чихнув, тут же замолкает, Раменков жмет еще, еще и еще, но мотоцикл не заводится. Раменков с мученическим видом слезает с седла и толкает мотоцикла вперед.

Райком партии. По лестнице подымается человек, показывает партбилет вахтеру и проходит в коридор, где на деревянном диване покуривают двое: председатели колхозов «Луч» и «Звезда».

— Сергей Сергеич, привет! — окликают они вошедшего. — Как жизнь молодая?

— Живем не тужим, ожидаем хуже... — с невеселой усмешкой отвечает Сергей Сергеич.

— А что, и тебя тоже?

— Ободрали как липку! — доканчивает председатель «Красного пути». — Все до зернышка сдал, на трудодни ноль целых хрен десятых, людям в глаза стыдно смотреть!

— А мне скоро и стыдиться будет некого, — замечает председатель «Луча», — страсть как бежит народ.

— План-то хоть выполнил?

— Куда там! Погорело зерно...

— Молодец Трубников! — с восторгом и завистью говорит председатель «Звезды». — Так, видать, и надо!

— А что он? — спрашивает Сергей Сергеич.

— Да, понимаешь, намочил носовой платок в спирте, рот обмазал, за голенище нож сунул — и к директору МТС. Глаза красные, сивухой дышит, я, говорит, конгуженный и за себя не отвечаю: или начинай уборку, или расторгай договор!

— Да брехня все это, легенда!

— Ничего не брехня, — обиделся председатель «Луча», — люди видели.

— Да ладно вам спорить! Дальше что?

— А дальше — убрали они хлеб вручную. Решили, сколько сверх плана сдать. Засыпали семенной фонд, а остальное — на трудодни. Натуроплаты МТС им не платит — дай бог сколько вышло! А когда тут хватились, — председатель кивает на дверь, ведущую в секретарский кабинет, и понижает голос, — он уже чистенький!

— Главное, что обидно? Он насамовольничал — и ему почет, а мы по указке действовали — и с нас же стружку снимать будут!

Из кабинета высунулся Раменков.

— Товарищи, прошу, начинаем!

Председатели поспешно гасят папиросы и проходят в кабинет.

У подъезда райкома остановился тарантас Трубникова. Это все тот же драндулет, но отлакированный до блеска, и сбруя и дуга на Копчике новые. Трубников выпрыгивает их тарантаса и быстро проходит в райком.

Трубников входит в кабинет, где уже началось совещание, и слышит:

— Наша страна испытывает могучий рост производительных сил и невиданный подъем в сельском хозяйстве. Мы стоим на пороге изобилия, товарищи. В этих условиях мы должны бороться за каждый колос, каждое зерно, чтобы еще умножить богатство и мощь нашей великой Родины. И мы не можем мириться с фактом недоперевыполнения плана колхозом «Труд», где председателем товарищ Трубников.

В дверь заглянула секретарша Клягина.

— Товарищ Клягин, возьмите трубочку, вас обком вызывает.

Клягин встает и берет трубку.

— Клягин на проводе... Здравствуйте, товарищ Чернов... Не проходим мимо, товарищ Чернов, внушаем... Так точно. Квалифицируем... делаем соответственные, Николай Трофимович... — Положил трубку. И тут же продолжает: — Район не выполнил плана хлебосдачи. Засуха? Да! Но не только засуха. Председатель колхоза «Труд» товарищ Трубников разбазарил урожай. Вместо того чтобы сдать весь хлеб государству...

Из магазина выходит Алешка с новыми сапогами, перекинутыми через плечо.

Кабинет, где происходит совещание.

— Что скажете на это, товарищ Трубников? — спрашивает секретарь райкома Клягин.

Трубников — он сидит у окна — поворачивает сухое, замкнутое лицо.

— Колхозник должен жрать! — медленно и отдельно произносит он и вновь отворачивается к окну.

Он видит, как на другой стороне площади, возле рынка, сходятся Коршиковы, гонящие только что купленную корову, и Алешка Трубников. Они хвастаются друг перед другом своими приобретениями: Коршиковы — коровой, Алешка — кирзовыми сапогами неходовых размеров.

— Мы должны прежде всего о государстве думать, товарищ Трубников! — говорит Клягин.

— Да, о государстве! — Трубников снова смотрит на секретаря. — А разве колхозники — не государство? Выходит, от земли должны кормиться все, кроме тех, кто на ней вкалывает?

Калягин стучит карандашом по столу.

— Обожди, товарищ Трубников. — И председателям: — На сегодня, товарищи, вы свободны... Егор Иваныч, ты останься, — говорит Клягин.

С шумом председатели покидают кабинет.

— Видал, какой оборот! — шепчет председатель «Луча». — У нас-то задница чистая, а Трубников по уши влип!

— Диалектика, брат! — хихикает председатель «Звезды».

...Кабинет секретаря. Тут же и Раменков.

— Брось демагогию разводить, товарищ Трубников, — раздраженно говорит Клягин, — заладил «народ», «народ»! А народ тобой недоволен: и груб ты, самодурствуешь, и устав нарушаешь, ведешь себя вроде помещика... — Секретарь достал из ящика стола кипу писем и бросает их на стол. — Вон сколько сигналов поступило! Матом народ кроешь, с артелью какой-то мухлюешь, рукоприкладствуешь...

Трубников сделал такое движение, будто хотел схватить пачку, но Клягин накрыл ее ладонью. Несколько мгновений они молча глядят друг другу в глаза.

— Может, все это одной рукой писано, — с трудом произносит наконец Трубников.

— Как бы то ни было, мы обязаны прислушаться, — говорит Клягин. — И учти: мы тебя назначили, мы тебя... — Он все же не решился произнести слово «снимем».

— И правда, назначили, — задумчиво говорит Трубников. — Разве это выборы были? Народ и не знал, за кого голосует... Ну что же... — устало вздохнул он, — коли у народа нет ко мне доверия — переизбирайте... — И он выходит из комнаты.

— Подработать кандидатуру? — бодро спрашивает Раменков.

— Кандидат у нас уже имеется — товарищ Раменков! — значительно говорит Клягин.

Раменков вздрогнул, и что-то омертвело в его карих доверчивых глазах.

Мимо конторы, на двери которой висит объявление об отчетно-выборном собрании колхоза «Труд», к своему дому проходит Семен.

— Все! — с торжеством говорит он, заходя в избу. — Накрылся Егор. Сколь веревочке ни виться, все кончику быть!

Но это сообщение не вызвало особой радости.

— Ты о перевыборах, что ли? — небрежно спрашивает Доня.

— О чем же еще?

— Так это как народ посмотрит..

— Дурища! — надменно говорит Семен. — Тут главное, что начальство от него отступилось. А то бы хрена лысого эти перевыборы назначили.

— А хорошо ли, что его снимут? — задумчиво говорит Доня. — Нынче хоть малость народ вздохнул.. Вон коров покупают.

Семен зло смотрит на нее, но Доню не смущает его взгляд.

— Кабы наша семья честью работала, может, и мы бы сейчас с прибылью были..

— А мне не нужна Егорова прибыль! — уже не просто со злобой, а с какой-то нутряной тоской кричит Семен. — Пусть Егор где хошь командирствует, на земле я сам себе голова. Я в Конькове с молодых зубов первым хозяином был и в поддужные к нему не пойду!

— Глупый ты, Семен! — с удивлением говорит Доня. — Несчастный и глупый..

— А все поумнее Егора вышел, — ухмыльнулся Семен.

В новом, смолистом здании конторы идет собрание. За большим столом президиума, крытым свежим кумачом, сидят Ширяев, Клягин, Раменков в черном костюме, Игнат Захарыч. Трубников стоя держит речь.

— Мой отчет, — говорит председатель, жестко глядя в зал своими синеватыми глазами, — у вас в хлевах. — И дважды звонко хлопнул ладонью по столу, воспроизведя смачный шлеп коровьего блина.

По собранию прокатился легкий смешок.

— Мой отчет, — продолжает председатель, — у вас в закромах. До новины хлеба хватит?

— Хватит!.. Дотянем! — разноглосьем отзывается собрание.

— Добро! Первую заповедь колхоз выполнил. Долгов не имеет. Все остальное — здесь! — Трубников махнул рукой в обвод стен, увешанных слева цифрами выполнения плана, справа — обязательствами. — А теперь приступим к перевыборам.

— Слово имеет товарищ Клягин, — объявляет Ширяев.

— Товарищи, — привычным голосом начал Клягин, — в районный комитет партии поступили многочисленные сигналы на известного вам товарища Трубникова. Мы обязаны прислушаться к критике, и товарищ Трубников, надо отдать ему справедливость, как сознательный коммунист сам настоял на перевыборах. Районный комитет рекомендует на должность председателя колхоза «Труд» всем вам хорошо известного человека, видного районного работника товарища Раменкова Владимира Лукича!

Аплодисментов не последовало. Раменков жадно затаился папиросой, и бледное лицо его окуталось облаком дыма.

— Биография товарища Раменкова, — продолжает Клягин, — это биография нашего передового современника..

В сенях сквозь толпу дымящих самосадом мужиков пробираются запоздавшие Семен и Доня. Оба принарядившиеся, как на праздничное торжество. Впрочем, для них перевыборы ненавистного Егора и впрямь праздник. Мужики неохотно расступаются, и Трубниковы наконец-то пробиваются в зал.

— И мы выражаем уверенность, что данная кандидатура оправдывает возложенное на нее доверие. Прошу поднять руки! — слышат они голос Клягина.

Кто-то подвинулся. Трубниковы сели в уголок, и взгляду их представился странно недвижимо молчащий зал.

— Чего тут дается? — шепотом спросил Семен какую-то старушку.

— Раменкова выбирают, — прошептала та.

Тот же зал со стороны президиума: люди словно окаменели, есть что-то давящее, почти грозное в этой недвижности и молчании.

Нахмурился Клягин.

Непроницаемо суров Трубников.

Спокоен Ширяев.

Слабая улыбка надежды тронула бледный лик Раменкова.

— Товарищи, вы, может, не поняли... — начинает Клягин.

— Все поняли!

— Не хотим!

— Не нужны перевыборы!

— Даешь Трубникова!

— Мы к Егору Иванычу претензий не имеем! — вскочив с места, кричит скотница Прасковья.

Трубников поднял руку.

— Неужто? — холодно произнес он. — Я человек грубый, жестокий, самоуправный...

— Да мы не в обиде! — кричит кто-то из задних рядов.

— Не в обиде? — Трубников впился в зал своими глазами-буравчиками. — А я так в обиде! Плохо работаете, мало. При такой работе сроду в люди не выйти...

— Так говори прямо, чего надо! — слышится свежий, молодой голос Павла Маркушева. — Не тяни резину, батька!

При этом слове Трубникова шатнуло, как от удара в грудь. Тихо, со странной хрипотцой он ответил:

— Двенадцать часов в полеводстве, четырнадцать — на ферме.

— Так бы и говорил! — весело крикнул Маркушев. — Нашел чем испугать!

Кто-то засмеялся, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то подхватил, и вот уже аплодирует весь зал.

— Голосуем! Голосуем! — требуют люди.

— Кто за Трубникова? — говорит Ширяев. — Прошу поднять руки!

Радостно и гордо люди вскидывают вверх руки; чуть помедлив и покосившись почему-то на угол, невысоко поднял руку Алешка Трубников. Но это не так. В зале воцарилась странная, напряженная тишина, и люди медленно, угрожающе поворачиваются к углу, где сидят Семен и Доня Трубниковы.

Под взглядом односельчан Семен опустил глаза. Доня заерзала на лавке, пальцы ее судорожно передернули на плечах нарядную шаль. А люди смотрят молча, ожидающе, недобро, поднятые вверх руки словно застыли. Доня опустила шаль с плеч, будто ей жарко, и вдруг резко, зло пнула мужа локтем в бок и тут же вскинула белую, по плечо голую руку. Его губы беззвучно шепчут:

— Уеду... Уеду... Уеду...

— Единогласно! — громким, твердым голосом произносит Маркушев.

— Единогласно! — повторяет Ширяев.

Трубников встал из-за стола, шагнул вперед.

— Ну, так... — сказал Трубников и замолчал. — Раз вы так... — Он опять замолчал.

А зал, почувствовав его волнение, ответил шквалом аплодисментов.

Перекрывая шум хлопков, Трубников крикнул:

— Будем, как говорится, насмерть... вместе — до коммунизма!

Часть вторая. БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ...

Пепельница, полная окурков. Чья-то большая волосатая рука давит в пепельнице хилое тело «Гвоздики», как называют в народе папиросы «Прибой».

В кабинете секретаря райкома идет очередное заседание. Сейчас говорит Трубников. Он сильно изменился с той поры, что мы с ним расстались: поседел, лицо изрезалось глубокими морщинами на лбу и вокруг рта, но взгляд по-прежнему тверд, неуступчив.

— ..Обязательства, обязательства! Вечно одна погудка. Разве мать берет обязательства перед младенцем? Она его просто кормит своим молоком. Вот и мы должны накормить народ...

— О том и речь! — торжествуяще перебивает его секретарь райкома Клягин. — Вот товарищ Сердюков, — он кивает на тучного председателя с буденновскими усами и Золотой Звездой Героя Социалистического Труда на кителе, — обязуется довести годовой надой до шести тысяч литров молока.

— От каждой из двадцати коров рекордной группы, — насмешливо доканчивает Трубников. — А с остальных трехсот, дай бог, полторы тысячи нацедит!

— Сказал бы просто, что славе моей авидуешь! — Председатель с буденновскими усами косит на свою звездочку.

— Нет! — с силой говорит Трубников. — Спаси меня и помилуй от такой славы, как твоя или его. — Он тычет култей в другого «звездоносца».

— А я чем тебе не угодил? — усмехается тот.

— Высокими урожаями, — отвечает Трубников. — Тридцать пять центнеров с гектара на площади, где собаке задрать ногу негде!

— Постой, Егор Иванович, — вмешивается секретарь. — Ты подойди к вопросу политически. Товарищ Сердюков и Мышкин своими рекордными достижениями показывают всему миру безграничные возможности колхозного строя.

— Показывают — это точно! — с горечью говорит Трубников. — Да разве колхозы для показухи существуют? Наше дело — производить... А вот что мы производим...

Он достает из кармана завернутый в газетную бумагу кусок ржаного хлеба. Разворачивает газету, видна дата: «30 марта 1952 года».

— В столовой я этот хлебушек взял, — говорит Трубников. — Кусок с ноготок, а сто граммов тянет. Вода, глина и жмых — тяжелая смесь. Вот чем людей кормят!

Председатели, кто смущенно, кто с огорчением, кто равнодушно — не такое выдывали, — разглядывают страшный суррогат хлеба.

— К чему это? — поморщился секретарь.

— А к тому, что хозяйничать по-сердюковски колхоз «Труд» не будет. Мы берем три тысячи литров с коровы, зато от всего стада. А стадо у нас восемьсот голов. Урожай зерновых у нас — шестнадцать центнеров с гектара, зато на всей площади. И наша задача — сделать все хозяйство высокопродуктивным, а не поражать мир липовыми цифрами. — Трубников перевел дух, поднялся. — Если разрешите, товарищ Клягин, я пойду, сын у меня что-то приболел.

— Будь здоров, Егор Иванович, — с некоторым облегчением произносит Клягин.

Трубников выходит.

— Вечно он воду мутит, — замечает Сердюков.

— Пыжится, как принц Умбалла, — подхватывает Мышкин, — а где в «Труде» орденосцы?

— Зато все сыты, — вполголоса произносит председатель колхоза «Красный путь».

— Ты, Пантелеев, эту потребиловку брось! — осаживает его Клягин.

— При чем тут потребиловка! — взорвался обычно тихий председатель. — Прав Трубников. Вместо дела показуху разводим!

— Смотри, товарищ Пантелеев, подобными разговорами ты поставишь себя вне рядов партии, — предупреждает его Клягин.

— Да я ничего... — смешался Пантелеев.

— Одному Трубникову все сходит, — заметил кто-то из председателей.

— И ему не сойдет, всему свой срок, — успокоил председателя Клягин.

— Продолжаем, товарищи. Особенно плохо в нашем районе обстоит со свиным поголовьем. Достаточно сказать, что по свиноводству у нас нет ни одного Героя Социалистического Труда...

...Площадь перед зданием райкома, исхлестанная дождем со снегом. Выходит Трубников, на ходу натягивая прорезиненный плащ. Забирается в стоящий у подъезда вездеход. За рулем — Алешка Трубников, сменивший профессию ездового на водителя.

В нем появилась большая уверенность, а в отношении к Трубникову — почтительная свобода.

— На щите или со щитом? — с улыбкой спрашивает Алешка.

— Отбил, — устало отвечает Трубников.

Машина трогается.

— Скажи-ка, Алешка, для чего существуют колхозы?

— Как — для чего? — Алешка удивленно смотрит на Трубникова. — Чтоб хлеб растить, чтобы люди сыты были...

— Вот и я так думал, — усмехнулся Трубников.

Вездеход Трубникова катит по улице Конькова.

Несмотря на снег, дождь, слякоть, разительно заметно, как изменился облик деревни, как она выросла, раздалась вдаль и вширь. Дома один к одному, под железом, с тугими плетнями палисадов, вдалеке высится каменное

нарядное здание достроенного клуба, еще Дальше — сложенная из белого кирпича школа.

Вездеход подвозит Трубникова к его дому.

Трубников входит в кухню. Навстречу ему из второй горницы появляется Надежда Петровна. Годы не отразились на ее статном облике. Лишь тревога, сквозящая во взгляде, несколько нарушает впечатление спокойной величавости, какой веет от красивой, моложавой женщины, счастливой в материнстве, в любви, во всем, чем может наградить жизнь человека.

— Как Максимка? — тревожно спрашивает Трубников жену.

Вместо ответа Надежда Петровна судорожно прикрыла рот концом шейного платка. И вмиг сдуло с нее пыльцу позднего очарования — она будто разом постарела.

— Жар у него!.. Под сорок накатило!..

Они выходят в другую комнату и смотрят на спящего мальчонку. Слипшиеся от пота волосы разметались по подушке, от лица несет жаром.

— Доктора вызвала?

Она махнула рукой.

— В Москву он уезжает...

Ничего не сказав, Трубников быстро выходит из горницы.

Трубников идет через улицу, неловко натягивая на плечи пальто. Погруженный в свои мысли, он почти столкнулся с дородной, румяной бабой, Мотей Постниковой. За спиной у Моти мешок, в котором ворочается и порой повизгивает молочный поросенок — вечная Мотина забота.

— Никак ослеп, председатель?! — радостно вскинулась Мотя.

— Извини, Матрена, — рассеянно проговорил Трубников, продолжая свой путь.

Мотя устремила за ним.

— Мальчо́нка-то ваш как, Иваныч?

— Температурит, — отмахнулся Трубников от докучной бабы.

— Врача хорошего надо! Наш-то Валежин — фасона пуд, а толку грамм!

Но Трубников уже взбежал на крыльцо дома, где живет сельский врач Валежин. Он проходит из сеней в черную горницу, посреди которой стоят два перевязанных ремнями чемодана — большой и маленький, — а также клетчатый саквояж. Со свертком в руке из другой комнаты выходит Валежин, молодой, длинновязый, белокурый парень в свитере и модных брючках, и кричит кому-то незримому:

— Ведьма Иванна!

С печи свешивается голова старухи с темным горбоносым лицом и узким ртом об один зуб.

— Ведьма Иванна, образцовая сестричка так и не открывшейся больницы, молись за отрока Сергия, оставляю тебе лыжный костюм и сподние, шерстяные, почти целые... — Валежин швыряет сверток на лавку и тут замечает Трубникова. — Привет!

— Дезертируешь, Валежин? — бешеным голосом говорит тот.

— Меня гнусно надули. Я согласился работать в больнице, а не в вонючей курной избе... Извини, Ведьма Иванна. Больницы нет и не предвидится.

— Больницу закончат к новому году, слово! Уже все оборудование заказано! Электротерапия у нас будет, Валежин, рентгеновский кабинет, зубодерня!.. — Похоже, что, увлекшись, Трубников забыл о причине своего визита.

— Пока я тут болтаюсь, воздвигнут свинарник на тысячу персон, птицеферма и парфенон для навоза, а где больница?

— Да пойми, Валежин, колхоз не обязан больницы строить, это дело района... Мы добровольно взялись!

— А мне-то что от этого?

— Вон как ты рассуждаешь! А ты сам помог стройке, ты хоть один кирпич уложил, вбил хоть один гвоздь?

— Я не каменщик, не печник, не плотник, не кровельщик, — говорит Валежин. — Я из другого цеха — хирург!

— Паразит ты, а не хирург! — со злобой говорит Трубников. — В Москву потянуло, небось пристроился. Ну и катись колбасой, нам такие не нужны!

Резко повернувшись на каблуках, он выходит из дома, громко стукнув дверь.

— Пришел, увидел, обхамил! — усмехнулся Валежин. — Ну, черт с ним. Ведьма Иванна, рванем на посошок!

— Опять, что ль, «спиритус вини»? — ворчит старуха.

— За то, чтоб мне Коньково и во сне не приснилось! — провозглашает Валежин и, чокнув доньшком своей стопки по старухиной стопке, духом выпивает спирт. — У, хам!

— Что?

— Хам, говорю, ваш Трубников.

— Ладно тебе. Мальчонка у него приболел, — заметила старуха. — Поздний поскребыш... знаешь, как над такими трясутся?

— А чего же он не сказал?

— Видать, не захотел с шалопаем вязаться...

— Ведьма Иванна, смотри, наследства лишу, — без улыбки, о чем-то задумавшись, произнес Валежин.

В дом Надежды Петровны с двумя чемоданами и саквояжем вваливается Валежин.

— Почему вы не позвали меня раньше? — говорит он недовольно. — Я опаздываю на поезд.

Хотя Трубников находится тут же, Валежин делает вид, что не замечает его, и обращается только к Надежде Петровне. Он ставит чемодан на пол посреди кухни, сбрасывает куртку и торопливо ополаскивает руки под рукомойником.

— Чистое полотенце! — бросает он. — Что с мальчиком?

— Простыл, поди. — Надежда Петровна подает ему рушник.

— На что жалуется? — резко прервал ее Валежин.

— Горлышко болит... Может, ангина...

— Диагноз мне не нужен! Температура?..

— Тридцать девять и семь...

Валежин проходит в комнату, где лежит маленький больной.

Появляется Алешка Трубников.

— Дядя Егор, за врачом поедем? — громко говорит он.

— Тс ты! — прикрикнул Трубников.

Алешка округлил глаза и на цыпочках вышел. С озабоченным видом вернулся Валежин.

— Боюсь, что это дифтерит, — говорит он. — Срочно нужна сыворотка, но в районе ее нет...

— А в горбольнице? — спросил Трубников.

— Конечно, есть.

Трубников тут же вышел.

Вездеход мчится в мартовскую черноту полей. Алешка давит на сигнал.

Поспешно отваливаются вправо, к обочине, возы с черным, прелым сеном, бестарки с навозом, грузовики. Трубников вцепился рукой в железную скобу...

Валежин достает из чемодана инструменты, белый врачебный халат. Закрывает чемодан и засовывает его вместе с другими своими вещами под лавку. Он явно распрощался с мыслью о скором отъезде.

— Вскипятите воду, — говорит он Надежде Петровне, надевая халат.

Вездеход мчится по улицам города. Подъезжает к старому зданию больницы и останавливается. Трубников быстро подымается по обшарпанным ступенькам, толкает тяжелую дверь.

Кажется, что время остановилось в доме Трубниковых. Надежда Петровна все так же мерно покачивает-

ся, сидя на лавке, будто отмеривает секунды своего мучительного ожидания. Но когда из другой комнаты вышел Валежин с тазом в руках, она мигом вскочила с лавки.

— Он больше не задыхается, — успокоительно проговорил Валежин и вдруг в порыве внезапной слабости прислонился к притолоке и закрыл глаза. Валежин быстро овладел собой. — Дайте гкоепкого чая и... выделите мне отдельную посуду...

По вечерующей размытой дороге мчится вездеход. Его заносит, выбрасывает к обочине, кажется, что он вот-вот опрокинется.

К баранке приникло широкое, бледное лицо Алешки Трубникова. Рядом с ним — старичок профессор Колпинский. Воинственно торчит клинышек бородки из-под бобрового воротника старомодной шубы на лире.

— Молодой человек, — обращается старичок к Алешке, — тише едешь — дальше будешь — правило не для вашего возраста.

— Опрокину, товарищ профессор, сами же заругаете! — огрызнулся Алешка.

— А вы думали, похваляю! И все-таки поднажмите.

Вездеход с воем устремляется вперед, ныряет в глубокую яму, огромная мутная вода ударяет в переднее стекло...

Изда бывшей хозяйки Валежина. С печи доносится легкое похрапывание. Тонко пискнула дверь, зажегся свет, с чемоданом в руках вошел Валежин. Старуха кубарем скатилась с печи.

— Свят, свят, свят! — забормотала крестясь.

— Не пугайтесь, Ведьма Иванна, это я. И пока еще во плоти, — проговорил Валежин. — Пришел помирать, а вас назначаю своей душеприказчицей... не волнуйтесь, наш договор остается в силе: сподники за вами...

Сырое серое утро. Рассвет медленно вползает в окна. Все отчетливее вырисовываются очертания предметов, наполняющих дом Трубникова.

Мы видим Надежду Петровну, окаменевшую в своем горе. Она сидит перед кроватью сына.

Во дворе, под навесом, Трубников строгает доску, установленную в струге. Он строгает тяжело и неловко, сжимая рубанок своей единственной рукой. Капли пота, будто слезы, стекают по его притемнившемуся лицу...

С ночного дежурства в обычном драном, засаленном полушубке, треухе и толсто подшитых валенках, с берданкой за плечом бредет Семен. Подходит к плетню вокруг Егорова двора, с мрачным сочувствием глядит на трудную, неловкую работу брата.

— Подсобить? — проговорил с натугой.

Егор поднял голову и глазами показал: не надо, должен сам... Что-то быстрое, неискалеченное жизнью на краткий миг проскользнуло между двумя близкими по крови людьми. Семен понимающе качнул головой и медленно пошел прочь.

В избе, в той же позе, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, заоченела над кроватью мертвого сына Надежда Петровна.

Трубников, кончив строгать, начинает сколачивать маленький детский гроб. Гвозди он держит во рту.

— Где я могу остановиться? — тихо спрашивает, входя под навес, старичок профессор.

— Остановиться? Зачем? — рассеянно говорит Трубников.

— Я задержусь здесь, пока доктор Валежин не будет вне опасности...

Лицо Трубникова сделалось сухим и мертвым.

— Доктор Валежин отсосал дифтерийные пленки у вашего сына, — так же тихо говорит профессор. — К сожалению, даже эта крайняя мера не помогла...

Жаркий июльский день. По правую руку от большака — старое деревенское кладбище, заросшее высокими травами, таволгами, шиповником. Двое людей стоят у низенькой могильной ограды. Это Трубников и Надежда Петровна.

На старой, замшелой плите можно разобрать: «Евдокия Семеновна и Иван Денисович Трубниковы», рядом — новое гранитное надгробие: «Максим Трубников 1948-1952». На могилах — охапки свежих полевых цветов.

Надежда Петровна наклонилась и поправила цветы на могиле сына. Трубниковы медленно побрели с кладбища назад в Коньково.

На большой дороге им повстречался бродяга с тощим мешком за спиной. На бродяге была поношенная брезентовая курточка, штаны из мешковины с пузырями на коленях и кепочка-блин. Но самым удивительным была его обувь: самодельные мокасины из автомобильной покрышки, подвязанные веревками.

— На Турганово я правильно иду? — спросил бродяга.

— Правильно, — ответила Надежда Петровна, — все прямо, прямо, никуда не сворачивая.

Бродяга отблагодарил, дернул за козырек свою кепочку и заковылял дальше.

Что-то странное творилось с Трубниковым. В памяти с одуряющей ясностью возникла сопровождавшая его сквозь юность, молодость и зрелость, сквозь всю его боевую жизнь песнь войны и победы, песнь железной стойкости и яростной атаки. Но при чем тут этот жалкий бродяга? Трубников смятенно глядит ему вслед.

И странно — бродяга тоже остановился, оглянулся...

— Кочетков!. Вася! — совсем негромко позвал Трубников.

Медленно, неуверенно, вытянув вперед шею, бродяга пошел навстречу Трубникову.

Надежда Петровна, ничего не понимая, смотрит на мужчин. Они стоят посреди пустой дороги и глядят друг

на дружку, два человека, по которым жизнь проехала колесом. Но один лишился лишь части тела, а из другого годами вышибали душу. И Кочетков долго не узнает Трубникова. Наконец он произносит дрожащими губами:

— Егор?.. Какими судьбами?

— Вернулся на круги свои, тут моя родина. А ты?

— Определен в Турганово на местожительство.

— Определен?

— Я же актирован... Ну, отпущен по состоянию здоровья... Пеллагра, грудная жаба и прочие мелочи...

— Вот что! — решительно говорит Трубников. — Плевать на Турганово, ты останешься здесь.

— Здесь — на дороге? — улыбнулся Кочетков.

— В Конькове. Я тут председатель колхоза.

— А разрешение?

— Ни о чем не думай. Я сам все улажу. Идем к жене...

За щедро накрытым столом сидят Трубников и Кочетков.

— Тебе о прошлом не хочется говорить? — спрашивает Трубников Кочеткова.

— Нет, отчего же? Но все так просто... получил я десятку, за Испанию.

— За Испанию?

— Да... Связь с Кольцовым, Антоновым-Овсеенко...

— А что с ними?

— Их давно нет. Уцелевает лишь мелкая сошка вроде меня.

— Что с женой? С Леночкой? — тихо спрашивает Трубников.

— С ними, слава богу, обошлось. Аня вышла замуж. Он усыновил, или как это... удочерил Леночку, ей сказали, что я умер.

— И это ты называешь «обошлось»? — с болью спросил Трубников.

— Конечно, могло быть хуже, ведь Аню тоже могли взять... Знаешь, Егорушка, когда побываешь там, на многие вещи смотришь другими глазами.

— Ты кем работал там? — переменял разговор Трубников.

— Сперва на лесоповале, затем банщиком и под конец дорос до счетовода.

— Вот, будешь у нас бухгалтером.

— И буду, где наша не пропадала!

По актировкам,
врачей путевкам,
я покидаю лагеря...

— тихо и тоскливо запел Кочетков.

И вот, я покидаю
Мой обжитый край!..

Зрачки острых глаз Трубникова жестко сузились, он словно боится, что Кочетковым овладеет расслабленность.

Никогда, никогда не сольются
День и ночь в одну колею...

— запекает он твердым, почти злым голосом.

Никогда не умрет революция,
Не закончив работу свою.

Старая революционная песня доходит до сердца Кочеткова. Задумчиво улыбаясь, он тихо подпекает:

Не закончив работу свою...

— ...Помогать? Нет, не будем! — резко говорит Трубников.

Он сидит в своем кабинете за письменным столом. Напротив него — Сердюков, председатель колхоза «Маяк», мужчина с буденновскими усами. За другим столом, стоящим под углом к первому, склонился над картой полей Игнат Захарович, бывший слепец. Он что-то помечает на карте полей.

— Не по-партийному это, Егор Иванович! — вздыхает Сердюков и утирает большим клетчатым платком вспотевший лоб.

— А хозяйствовать, как у вас в «Маяке», — это по-партийному?

— Зашиваемся мы с сенокосом. А у нас обязательств... — тянет свою погудку Сердюков.

— Хочешь на чужом горбу в рай въехать? Не выйдет. Почему вы зашиваетесь?

— Людей не хватает.

— А куда же они делись?

— Разбрелись по белу свету, — поднял над картой голову Игнат Захарович. — Кому охота за одни палочки спину гнуть?

— Не за одни палочки, — поправляет своего бригадира Трубников. — У Сердюкова, считая его самого, три Героя Соцтруда и восемь орденосцев.

— Подно зубы скалить! — не выдержал Сердюков. — Который сознательный колхозник, патриот своей Родины, для любимого государства... — Он запутался в пустословии.

Трубников закончил за него:

— ...Может питаться святым духом.

— Так отказываешь?

— Нет, не отказываю.

Председатель «Маяка» задышал, как окунь, лицо его озарилось восторженной улыбкой.

— Егор Иванович, ангел, мне бы хоть десяток мужичков!

— Об этом и думать забудь, — холодно перебивает Трубников. — Ставь вопрос перед своими колхозниками, чтобы «Маяку» с «Трудом» жить под одной крышей. И нам польза, и государству.

— Хитро придумал, Егор Иванович! — прищурился Сердюков. — Не можешь ты моей славы переварить.

— Какая там слава! — устало махнул рукой Трубников. — Хочешь, я под тебя пойду замом или парторгом?

— Хитер, хитер! Да на каждую хитрую рожу у нас перехитрик есть. У тебя голосов больше — стало быть, тебя и выберут.

— Ты дело говори: будет польза, если объединимся?

— Понял я тебя, — не обращая внимания на слова Трубникова, говорит Сердюков. — Думал, хоть горе тебя смягчило, а ты еще лютее самолюбием стал.

— Ты мое горе не трожь, — сухо говорит Трубников. — А вот о разговоре нашем подумай...

— Дядя Егор! — В кабинет влетает Алешка Трубников. — Беда! — Он осекся, увидев, что Трубников не один.

— Давай, что там у вас? — И Трубников подал руку Сердюкову.

Но тот не торопился уходить, заинтересованный паническим сообщением Алешки.

— Нюрка Озеркова грозитя все руководство перестрелять! — выпаливает Алешка.

— Что ж, мысль интересная, — так же хладнокровно говорит Трубников. — А за что?

— За Ваську!

— За какого Ваську? Ширяева, что ли?

Трубников поднялся из-за стола и вместе с Игнатом Захаровичем и Алешкой выходит из правления. Сердюков следует за ними.

— Да за бычка Ваську. Его на бойню хотели гнать, а она заперлась в телятнике, берданку отцову высунула. «Убью, говорит, всякого, кто подойдет». Бригадир сунулся, она как ахнет!

— Бычок этот без дыхания родился, — с улыбкой говорит Игнат Захарович, — она его выходила, ухаживала, как редкая мать за своим дитем.

— Сильна дисциплина у вас в колхозе! — тоном превосходства замечает Сердюков.

Трубников долго, внимательно изучает взглядом Сердюкова.

— Что уставился? Нешто на мне нарисовано?

— Да глупость.

— Вот те на! Опять ты умный выходишь, а я дурак?

— Конечно, надо бы понимать: любовь к делу выше дисциплины.

Они походят к телятнику и застают тут странную картину: из маленького окошка под стрехой торчит ствол берданки, а над ним горят два огромных, яростных девичьих глаза.

По-пластунски, укрываясь за кусточками, неровностями земли, к телятнику ползут длинновязый Коршиков, скотница Прасковья, толстомордый парень Миша Костырев.

Полюбовавшись этим зрелищем, Трубников крикнул: — Отставить атаку!

«Ползуны» поднялись, отряхивая подола и брюки, а Трубников направляется к телятнику.

Ствол ружья переместился, целя в грудь председателю.

— Не подходите, дядя Егор, стрелять буду!

— Хватит бузить, выходи.

— Не выйду!.. Не дам Ваську!.. — со слезами кричит девушка. — Я его из соски поила!.. Не подходите!..

— Да уймись ты! Не тронут своего Ваську. Я велю другую животину сдать.

Ствол опустился.

— Правда?.. Не обманете?.. — детским баском говорит Нюрка.

— Слово!

— Тогда я его покамест к себе заберу.

— Валяй.

Дверь сарая распахивается, и с ружьем наперевес выходит Нюрка, стройная, тонкая девушка с загорелыми ногами и гордо поставленной головой. За ней трусит, как собачонка, рыжий бычок со звездочкой на плоском лбу.

— Что, взяли? — с вызовом бросает Нюрка своим преследователям и торжествующе палит в воздух, как бы салютуя своей победе...

Никто и не заметил, как Коршиков оказался на земле. Поднявшись, он желтым пальцем погрозил Нюрке.

— Ты эти ухватки брось — по руководству стрелять!

Трубников оборачивается, ищет кого-то взглядом.

— А где этот... герой? Поучился бы, как надо к колхозному делу относиться.

— А он понял, что убивства не будет, да и уберет, — говорит Игнат Захарыч.

Подходят Коршиков и скотница Прасковья.

— Хорошая девушка, — говорит Трубников о Нюрке. — Вот бы ее сюда заведующей.

— Да, не мешало бы омолодить наш комсостав, — говорит Игнат Захарыч. — У нас вон тридцать пять человек десятилетку окончили, а еще никто к месту не определен.

— Опять же — люди с образованием, не то что мы, — встряла Прасковья.

— Ну, не прибедайся, старая. А вообще я и сам думал, что надо молодых выдвигать. Да вас, чертей, обижать не хотелось. Ждал, когда сами заговорите.

Старики улыбаются — им приятно такое отношение не склонного к чувствительности Трубникова.

— Вот и дело, — подводит итог Игнат Захарыч. — Построишь санаторию — будем в хвойных ваннах плавать.

— И я буду плавать, — встревает Прасковья.

В это время подкатывает запыленный «Москвич» и круто тормозит.

— Егор Иваныч, принимайте гостя! — вылезая из машины, говорит Клягин. — Московский корреспондент.

Трубников сразу мрачнеет.

— Вез бы его в «Маяк».

— У него тема тонкая, — простодушно говорит Клягин. — «Растет благосостояние колхозников».

— А-а! Тогда ему в «Маяке» и делать нечего! — усмехается Трубников.

Подходит корреспондент, дородный, солидный, не первой молодости, здороваётся с Трубниковым, пронизательно заглядывая ему в глаза.

— Знакомьтесь, — говорит Клягин.

— Коробков.

— Трубников. Чем могу служить?

Корреспондент тянется за блокнотом.

— Прежде всего меня интересуют ваши сощобязательства и цифры.

— Спрячьте книжечку, поживите у нас, познакомьтесь с хозяйством, с людьми, тогда поговорим.

— Задание оперативное, — значительно говорит корреспондент. — Материал должен быть в субботнем номере.

— Так не пойдет... — начал было Трубников.

— Это задание оттуда... — И вместо положенного слова «сверху» корреспондент тычет пальцем в небеса.

— Понимаешь, Егор Иваныч... — И Клягин тоже указывает перстом вверх.

— Прасковья! — кричит Трубников. — Веди товарища в правление! — И, повернувшись к корреспонденту: — Там вся наша цифирь вывешена...

Гордая поручением Прасковья уводит корреспондента.

Вдоль межи, делящей льняной массив на два поля, идут Трубников и Клягин. В стороне их поджидает «Москвич». Поля резко отличаются одно от другого. На одном лен высок, густ и строен, на другом — низкоросл, редок, да к тому же поклонился земле. Оба поля не бедны сорняками, но на первом идет прополка, там трудятся с полсотни женщин, на другом ничто не мешает пышному цветению сурепы.

— Убедительно? — спрашивает Трубников. — Или дальше пойдем?

Клягин рассеянно покусывает травинку.

— Никакой Америки ты мне не открыл, — говорит он нехотя.

— А я не Колумб, я хозяйственник, и повторяю: надо нам с «Маяком» объединиться.

— Едва ли тебя поддержат, — так же вяло и рассеянно говорит Клягин. — Сердюков о районе думает, а ты, Егор Иваныч, только о своем колхозе. Когда в районе с планом

туго, Сердюков все как есть отдает, а из тебя зернышка не вытянешь.

— Опять, что ль, средние цифры? — пренебрежительно бросает Трубников. — Процент натянуть?..

— Да, опять! — вспыхнул Клягин. — Ничего другого с нас не спрашивают. Дали — сошло, не дали — мордой об стол!

— Ну, валяйте и меня мордой об стол, только прислушайтесь, только постарайтесь понять, ради чего мы тут бьемся! — настойчиво говорит Трубников. — Мы хотим доказать, что значит материальная заинтересованность колхозников, помноженная на инициативу.

— Ты эти мелкобуржуазные штучки брось, — замахал руками Клягин. — Заинтересованность! Инициатива!..

И он быстро зашагал к «Москвичу».

Большое свежепобеленное здание нового клуба. На окнах следы только что закончившейся малярной работы.

На крыльце, покусывая травинку, тоскует московский корреспондент.

— А я вас жду, жду! — невольно говорит он подошедшему Трубникову.

— Не оценил вашей оперативности, — со скрытой насмешкой отзывается тот. — Как цифры?

— Разбудите хоть ночью, любую назову! — с легкой профессиональной гордостью отвечает Коробков.

— Вам только цифры подавай!..

— Нет, — серьезно говорит Коробков. — Мне как раз хочется понять, что лежит за этими цифрами. — Он вынимает блокнот. — Как вы добились, например, такой высокой оплаты трудодня?

Из клуба на крыльцо, потчюя друг дружку табаком из тавлинок, выходят два плотника в фартуках, волосы подвязаны тесьмой. Вдруг они увидели Трубникова. Разом опустив руки по швам, они делают налево кругом и строевым шагом возвращаются назад. Даже очутившись в зале, они

не меняют шага, так потрясла их встреча с председателем, не терпящим праздных перекуров.

— К параду готовитесь? — спрашивает бригадир строителей Маркушев.

— На батьку наткнулись, — очнувшись, ответили плотники.

— Чего он там делает?

— С корреспондентом лясы точит...

— Ну да? Он сроду корреспондентов не уважал!

— Значит, неспроста, — глубокомысленно замечает один из плотников...

— ...Отругайте нас, — настойчиво говорит Трубников, — отругайте на все корки, что неправильно укрупнились, что «Маяку» и «Труду» надо объединиться, — громадную пользу принесете!

— Это верно, — соглашается Коробков. — Но я послан на позитивный материал.

— Чего? — не понял Трубников.

— На положительный...

— Это и будет положительный материал, если делу послужит.

— Товарищ Коробков! — слышится голос Клягина. — Закругляйтесь, опаздываем!

В доме Трубникова. Борька и Кочетков сидят у стола. Перед Кочетковым — толстая книга по истории изобразительных искусств, у Борьки напряженный и робкий вид экзаменуемого.

— Какие существуют ордера колонн? — спрашивает Кочетков.

— Значит, так...

— Отставить! Отвыкай от речевого мусора, без всяких «значит».

— Зна... гм... дорический, ионический, коринфский.

В комнату с шумом входит Трубников и швыряет на стол газету.

— Читай! — говорит он Кочеткову.

Тот разворачивает газету.

— Позавчерашняя? Мы еще не получали.

— Я выдрал из подшивки в райкоме, читай!

— «Профессорские заработки в колхозе». Что за бред?..
Мать честная! Да это же о нас..

Он читает, шевеля губами, и глаза его все сильнее расширяются от удивления. Борька, а потом Надежда Петровна тоже заглядывают в газету через его плечо.

— Хорош гусь этот Коробков! — возмущается Трубников. — К нему — как к порядочному, а он вывалил на нас кучу сахарного дерьма, и хоть бы слово о деле!

— Мда! — говорит Кочетков. — Вот это отлил пулю..

— Мне Клягин, знаешь, что сказал: «Выходит, не мы одни очковтиратели?» Какая же сволочь этот писака!..

— Погоди! — спокойно говорит Кочетков. — Клягин же вот думает на тебя. Может, и Коробков не больше твоего виноват? Ему так указали..

Борька и Надежда Петровна выходят в кухню.

— Мама, — тихо говорит Борька, — а разве в газетах пишут неправду?

Надежда Петровна не успела ответить. Дверь широко распахнулась, и на пороге выросла нарядная, какая-то торжествующая фигура Дони.

— Тебе чего? — оторопело проговорила Надежда Петровна, не привыкшая к подобным визитам.

— Скажи Егору, чтоб сей минут шел к нам.

— Это зачем?

— Не твое дело!

— Как это — не мое? — возмутилась Надежда Петровна. — Я все-таки жена.

— Видали мы таких жен! — громко и развязно говорит Доня. — К нему настоящая жена приехала!

Надежда Петровна рухнула на лавку. Трубников слышал последние слова Дони. Он вышел из горницы и, сразу

поняв по торжественному выражению Дони, что она сказала правду, молча толкнул рукой дверь.

Женщина в костюме из тонкой серой фланели поднялась навстречу Трубникову. В ее движении был и сдерживаемый порыв, и радость, и смущение, и что-то материнское.

— Егор!.. — проговорила она, и ее полный округлый подбородок дрогнул. — Егор!

Доня, успевшая прочно прислониться спиной к дверному косячку, готовно начала подергивать носом, выражая крайнюю растроганность.

— Здравствуй, — сказал Трубников, никак не ответив на движение своей жены. — Ты зачем приехала?

Ей пришлось опустить руки.

— Ты все такой же, Егор, — печально сказала она, — суровый, замкнутый, без искры тепла, а ведь мы столько лет не виделись!

— Ты зачем приехала?

— Неужели у тебя нет других слов для меня? — проговорила она беспомощно.

— Я спрашиваю: чего тебе надо?

Она шагнула назад и тяжело опустилась на лавку.

— Ты постарел, Егор, и я не помолодела... Мы пожилые люди и можем быть чуточку помягче друг к другу... Я знаю, ты пережил большое горе, и мне жилось не так-то легко... Сядь, Егор, давай поговорим как два старых, добрых друга.

Трубников садится на лавку...

У окна пригорюнилась Надежда Петровна. Борька, забившись в угол, исподлобья поглядывает на мать.

К дому тяжелой поступью приближается Трубников.

Из-за соседнего плетня, как встарь, глянули любопытные глаза старухи Самохиной.

Шаги прозвучали на крыльце, в сенях. Трубников входит в избу — колючий, темный, сухие губы плотно сжаты.

Не глядя на жену и пасынка, достает из-под лавки вещмешок, швыряет на стол.

Борька смотрит на него с ужасом и возмущением. Трубников достает свои новые сапоги и засовывает в мешок, туда же отправляет выходной китель, джемпер и карманные часы. Потом подходит к Надежде Петровне и молча вынимает у нее из ушей серьги, снимает с груди брошку, с руки — браслет.

Кажется, что Борька вот-вот кинется на Трубникова, но его останавливает посветлевшее, странно счастливое лицо матери.

Надежда Петровна тянет с пальца кольцо.

— Оставь, мужнино, — сухо говорит Трубников. — Где деньги на пальто?

Надежда Петровна бросается к комоду, достает пачку денег. Трубников отправляет их в мешок.

— На книжке у нас пусто?

Надежда Петровна, улыбаясь, разводит руками. Затем, будто вспомнив, достает нарядную новую скатерть.

Когда все было уложено, Трубников завязал мешок и крикнул поджидавшего в сенях Алешку.

— Вот, передашь ей все, чем разжился председатель колхоза «Труд», и сразу вези на станцию. Не захочет — скажи, силой отправим. Она меня знает. Все!

И когда Алешка вышел, он коротко пояснил Надежде Петровне:

— Дело простое: если у колхозников профессорские доходы, председатель — полный академик...

К зданию обкома партии подходит жена Трубникова. Прижимаясь к стене, она на ходу снимает с себя серьги и брошку. Послюнявив носовой платок, стирает помаду с губ. В маленьком зеркальце отразилось сразу поблекшее лицо.

Захлопнув сумочку, она направляется усталой походкой к подъезду.

Приемная секретаря обкома.

Секретарша сразу хватается за трубки двух зазвонивших телефонов.

— Приемная товарища Чернова. — В одну трубку резко: — Нет, он не может вас принять... — В другую приторно: — Конечно, товарищ Калоев, он у себя.

Кабинет секретаря обкома партии Чернова.

— А не лучше ли в таком случае просто дать ему развод? — говорит Чернов, средних лет человек с большим, будто раз и навсегда огорченным крестьянским лицом.

— Никогда! — решительно заявляет Трубникова.

— Семьи -то все равно нет. Вы — в Москве, он в Конькове.

— Я могу приезжать на каникулы. Но он должен бросить эту женщину.

— Сердцу не прикажешь, — разводит руками Чернов.

— Я думала, партия борется за укрепление советской семьи, а вы... вы... — говорит Трубникова, начиная всхлипывать.

— Ладно, оставьте ваше заявление, — вздохнул Чернов.

Трубникова достает из сумочки сложенный вдвое лист бумаги и кладет на стол перед Черновым, с достоинством кланяется и выходит из кабинета.

В дверях она сталкивается с полковником госбезопасности Калоевым, тот галантно посторонился, давая ей пройти. Калоеву немного за тридцать: бритая голова, старомодное пенсне на тяжелом носу, подбородок прижат к груди.

— Кто такая? — взблескивает стеклами пенсне Калоев.

— Трубникова.

— Городская жена! Чего ей нужно?

— Да вот... — Чернов брезгливо тронул заявление.

Калоев берет заявление и цепко его просматривает.

В кабинет вбегает еще один обкомовский работник; судя по сугубо штатскому костюму и галстуку вместо обычного для всех руководящих товарищей полувоенного кителя, он инструктор обкома по культуре.

Он поспешно включает репродуктор.

— Про нас передают!

Слышится голос одного из популярных радиодикторов, заканчивающего выступление:

...«В добрый путь!» — говорят будущим студентам односельчане».

И тут же в исполнении Лемешева звучит песня:

На деревне расставание поют,
Провожают гармониста в институт...

Инструктор выключает репродуктор.

— Эх, опоздали! — с досадой говорит он и уже весело продолжает. — Ну, полный порядок. Я только что говорил с Клягиным. В райкоме комсомола провели беседу. У ребят исключительная тяга к высшему образованию.

— Сказал бы лучше — к городской жизни, — сумрачно проговорил Чернов.

— Скажи, родной, а как вы организуете проводы? — поинтересовался Калоев.

— Нормально. Соберем всех в клубе, скажем напутственное слово.

— Ты скучный человек, дорогой! — вскричал Калоев. — Журналистов надо! — загнул палец. — Кинохронику надо! — загнул палец. — Обязательно оркестр!..

— Можно и оркестр... Но вот чего я опасаюсь: как бы Трубников не стал палки в колеса совать...

— Что-о-о?! — Калоев поражен. — Так ведь это же шум на всю страну, на весь мир! Нет, ты подумай, дорогой, какая честь для него, какая честь для всей области!

— Да вы же знаете его характер... — замялся инструктор.

— Беру его на себя! Считайте это моим партийным поручением. Калоев прежде всего коммунист, а потом начальник УМГБ.

По мере этого разговора кабинет наполняется работниками обкома.

— Кстати, как ты с этим решил? — спрашивает Калоев Чернова о заявлении Трубниковой.

— Да ничего... Дрянная баба! Знаешь, по принципу: мой муж негодяй, верните мне мужа...

— Зачем обижать прекрасный пол? — осклабился Калоев.

— Ладно, разберемся, — проговорил Чернов и громко: — Может, начнем, товарищи?

Едет полями вездеход Трубникова. Самоходный комбайн по-казачьи обривает поле. Откуда-то издали доносится песня «Провожают гармониста в институт».

Вездеход мчит дальше. На косогоре, где не разгуляться комбайну, хлеб убирает пароконная жатка. Здесь же оборудован ток. Грохочет молотилка, жадно поглощая снопы. Веет золотистым туманом полова.

На молотилке работают женщины, по-мусульмански повязав платки, видны лишь глаза в черных обводях ржаной пыли.

Стрекочут веялки и сортировки. Сюда же то и дело подъезжают грузовики.

Чистое, провеянное зерно грузят лопатами в кузова.

Коршиков, весь в полове и осях, подходит к Трубникову и о чем-то говорит с ним. В царящем здесь шуме слышны лишь слова Трубникова:

— Молодежи побольше привлекай!

Коршиков что-то отвечает, разводит руками, а Трубников, так и не услышав, трогается дальше.

— Егор Иванович!.. Егор Иванович!.. — кричит Трубникову Нюра Озеркова, завалив набок велосипед.

Трубников высовывается из «газика».

— Егор Иваныч!.. С обкома звонили!.. Вас срочно требуют!..

Свечерело. Трубников вновь подъезжает к полю. Сейчас темп работы резко спал. Еще трудится молотилка, но уже заглохли веялка и сортировка. У машины — одни старики.

— Товарищ Коршиков, а где же вся ребятня?

— Девки пошли кудри завивать, парни — свой фасон наводить.

— Зачем отпустил?

— Поди-ка удержи! — развел руками Коршиков.

Вездеход Трубникова мчится по деревне навстречу все более мощной, победно звучащей песне «Провожают гармониста в институт».

Трубников подъезжает к правлению. Здесь, на радость ребятишкам, жарко сверкают медные трубы духового оркестра, только что сгрузившегося с трехтонки.

— Товарищ председатель, — обращается к Трубникову «геликон» с большим красным носом, — оркестранты волнуются насчет буфета.

— Служите медному змию, — кивок на трубу, — а прислуживаете зеленому? Плохо ваше дело. У нас в уборочную — молочная диета. Данилыч, отведи товарищей музыкантов в новую ригу.

— Засохни, Леня, — обращается к «геликону» другой трубач. — Хоть раз в жизни обойдемся сеном и молоком.

Трубников идет дальше и встречается с Борькой.

— Гордись, Борька, — шутливо говорит Трубников. — Кого еще провожали в институт с таким шумом!

— Так не меня ж одного, — улыбается Борька.

— Знаю... Сколько ж всего гармонистов убывает?

— Почти весь выпуск... Человек тридцать.

— Что?! — у Трубникова глаза выкатились из орбит. — Ты что городишь? Вас же четверо было!

— Так это вчера... А из райкома комсомола приехали и велели всем подавать в институт.

— Старый дурак! — ударил себя по лбу Трубников. — Неужели я не мог догадаться! Ну, нет. Черта лысого дам я разрушать колхоз!..

Правление колхоза «Труд». Трубников звонит по телефону:

— Обком партии?.. Товарища Чернова... Что-что? На уборочной?.. Кто же из секретарей есть?.. Алло!.. Алло!..

— Чего шумишь, дорогой? Чем недоволен? — раздается за спиной знакомый, опасно ласковый голос.

В дверях стоит Калоев с инструктором отдела культуры.

— Что же это получается? — говорит Трубников. — Молодежь бежит из колхозов. Это, можно сказать, всеобщее бедствие. А тут ответственные товарищи сами сманивают молодежь, которая хочет работать в сельском хозяйстве...

— Постой... Постой!.. — перебивает его Калоев, и за стеклами пенсне, совсем не искажающими глаза, заблестали два голубых, холодных и ярких факела. — Как ты сказал? Молодежь бежит из колхозов?.. Бедствие?.. Ты это в «Правде» прочел? Давай считать, что ты этого не говорил, а я не слышал.

— Вы меня не пугайте, — горько говорит Трубников. — Чего с меня взять?

— Живешь, как персидский шах: одна жена в городе, другая — под боком, — холодно улыбается Калоев. — Не прибедайся, товарищ Трубников.

— Вон вы куда гнете! — вскинул мрачно глаза Трубников. — Не выйдет!..

— Зачем пугать? — говорит Калоев почти весело. — Мы тебя немножко воспитаем. Ты не понимаешь морально-политического смысла этого мероприятия. В одном колхозе тридцать человек поступают в институт!

— Но позвольте: разве у ребят настоящая подготовка?! Ведь большинство и в институт не поступят, а назад не вернется, а если вернется, так с щербинкой в душе...

— Хватит, мы не на базаре! — жестко прервал Калоев. — Ступай приведи себя в порядок, скоро начинать...

Трубников и Кочетков ведут тихий разговор в кухне.

— Поверишь, мне стало страшно... — Трубников чуть поморщился. — Это не фанатик, не жестокий, хоть и

честный, дурак — мы с тобой знали и таких, — не демагог, а прямой, почти открытый враг всего, ради чего мы живем.

— И все-таки, если ты сейчас уступишь, считай, тебя уже нет, — твердо говорит Кочетков.

Ярко освещенный подъезд колхозного клуба. Доносятся звуки штраусовского вальса. В дверях толпится пожилой народ, глядя на танцующую молодежь.

Кружатся с нарядными кавалерами и друг с дружкой девушки, иные еще в школьной форме, иные в праздничных, взрослых платьях.

Стрекочут кинокамеры. Сиренево клубятся лучи юпитеров, щелкают фотоаппараты. Потные корреспонденты задыхаются от обилия материала.

Танцуют в фойе и большом зале, до половины освобожденном от кресел. Оркестр помещается в глубине сцены.

Отечески поглядывает на веселую кутерьму представитель обкома партии Георгий Калоев. Инструктор ни на шаг не отходит от него.

Оркестр заиграл красивую и грустную мелодию.

Калоев подходит к нетанцующей молодежи и по-дирижерски вскидывает руки.

— Ну, хором... «Меж высоких хлебов...».

Ребята нестройно запевают.

— Веселей! — кричит Калоев. — «Горе-горькое по свету шлялося...».

Поют ребята.

Калоев дирижирует хором. Песня явно не получается. Певцы все больше и больше скисают и наконец умолкают совсем.

Оркестр, чтобы исправить положение, играет бурную плясовую.

На круг вышли всего две-три пары.

Большая группа молодежи — будущие студенты — столпилась в углу и о чем-то взволнованно переговаривается.

— Товарищи, на круг! — кричит парень с красным бантом на рукаве, словно свадебный шафер.

Никто не откликается на призыв.

Калоев недовольно хмурит брови.

Парень с бантом бросается к «студентам», подхватывает Нюру Озеркову и начинает с ней отплясывать. Они не находят подражателей, да и сама Нюра, освободившись от кавалера, возвращается к товарищам.

— Маркин! — окликает Калоев парня с бантом.

Тот подходит.

— Что смолкнул веселья глас? — шутливо, но с опасной ноткой спрашивает Калоев.

— Да беспокоятся они, что Трубникова нет, — смущенно говорит секретарь райкома комсомола Маркин.

Калоев надменно вскинул бровь.

— А представителя обкома партии им мало?

— Боятся — вдруг он справок не даст, а без справки куда не сунешься.

— Передай им — справки будут! — покраснел Калоев. — Это я, Калоев, говорю!

— Да ведь они такие... — мучительно мнется секретарь. — Для них Трубников — закон... А он не пришел...

— Ну так он придет!

Щеголеватые сапоги шагают по влажной после недавнего дождя земле, наступают в плоскую лужу, давая в ней отражение месяца, поднимаются по ступенькам крыльца.

Трубниковская собака, такая злая в недалеком прошлом, подняла голову, раздумывая — вылезать ей из-под крыльца или нет, и, лениво зевнув, закрыла глаза.

Трубников сидел в носках на постели и читал какой-то журнал. Он, конечно, слышал, что кто-то вошел, но поднял голову, лишь когда Надежда Петровна окликнула его.

— Егор, к тебе пришли!

— Добрый вечер... Моя хозяйка, — представляет Трубников Надежду Петровну.

Та шагнула было к Калоеву, протянув дощечкой руку, но тот будто не заметил ее, и рука женщины опустилась.

— О твоём аморальном разложении мы поговорим в другом месте! — с яростью бросает Калоев Трубникову. — А сейчас кончай вольнку, гражданин председатель!

— Я вроде еще не заключенный. — Далекая усмешка тронула сухие губы Трубникова.

— Это я от многих слышал, — почти устало сказал Калоев. — В общем, ты сейчас придешь, скажешь ребятам напутственное слово, а потом катись на все четыре стороны. У тебя в распоряжении десять минут.

Проходя мимо освещенной изнутри боковушки Кочеткова, Калоев вдруг свернул к ней и резко отдернул занавеску. Сидящий на койке Кочетков поднялся.

Несколько секунд Калоев молча сверлит его взглядом, задерживает занавеску и выходит.

— Давай ордена, мать! — сказал Трубников Надежде Петровне. — Сегодня надо быть во всем параде!

Меж тем «веселия глас» окончательно замолк в клубе. Даже оркестрантам надоело играть впустую, и они с унылым видом выливают слюни из труб.

Ребята шушукаются по углам.

Вдоль стены прохаживается Калоев и инструктор. Калоев нервно поглядывает на часы.

— Совсем разложился... Удельный князь, многоженец! Как такого партия терпит?!

Но вот будто ветром разнеслось по клубу: «Трубников! Трубников!» — и весь народ хлынул в зал.

Калоев удовлетворенно улыбнулся — председатель был точен.

Вместе с инструктором по культуре Маркиным и другими официальными лицами Калоев занимает место на сцене, имея за спиной оркестр.

Грохнули аплодисменты, вновь задымились лучи юпитеров, застрекотали кинокамеры. Оркестр сдуру заиграл туш.

Калоев поморщился. Но когда в конце зала показалась небольшая фигура Трубникова при всех орденах, нашивках и медалях, аплодисменты стали под стать горному обвалу. Калоев, осудив себя за мимолетную досаду, мелкую для такого деятеля, как он, тоже захлопал беззвучно, едва разводя ладони. Появление Трубникова было триумфальным, но триумф этот принадлежал Калоеву.

Трубников поднялся на сцену.

— Слово имеет председатель колхоза «Труд» Трубников.

Лучи юпитеров скрестились на небольшой коренастой фигуре, обледнив смугловатое лицо. Тишина, лишь стрекочут кинокамеры.

Будущие студенты держатся кучно, в двух передних рядах, справа от прохода. К ним и обращается Трубников:

— Вот вы собрались покинуть колхоз. В институты учиться едете...

· Аплодисменты.

— Хорошее дело!..

Чуть приметно улыбнулся Калоев.

Гром аплодисментов пронесся по залу.

— А кто у нас будет коров за дойки дергать?.. Кто будет навоз вывозить?.. Кто будет хлеб растить?..

Мертвая тишина.

— Не знаете. Вот и я не знаю. Завтра буду говорить с каждым из вас в отдельности. А пока отдыхайте, товарищи!..

И в полной тишине — лишь по-прежнему стрекотала кинокамера, — даже не оглянувшись на президиум, Трубников вышел. Гулко прозвучали его шаги.

Утро. Трубников входит в правление. Кочетков работает за своим столом. В углу жметя с десяток любителей высшего образования.

— А где же остальные гармонисты? — спрашивает Трубников.

— Вернулись к мирному сельскому труду, — весело отвечает Кочетков, щелкая костяшками счет.

— Прошу обоих Трубниковых, Веру Болотову и Машу Звонареву, — говорит Трубников, проходя в кабинет.

— Своих-то без очереди! — ревниво шепчет Нюра Озеркова толстому, флегматичному Мише Костыреву.

В окно видно, как подъезжают к амбару груженные зерном грузовики. Колхозники, молодые и старые, помогают сыпать зерно.

Трубников вручает пасынку, Тане Трубниковой — младшей сестре Алешки, Вере и Маше заранее приготовленные справки.

— Всем вам желаю удачи. А тебе, — это относится к Маше, — будущий агроном, особенно!

Ребята выходят.

Сейчас очередь Миши Костырева. Он быстро, шепотом спрашивает товарища:

— Опять забыл. Куда поступаю?..

Товарищ чего-то говорит ему на ухо. Миша проходит в кабинет председателя.

— А ты куда думаешь поступать? — Трубников снизу вверх разглядывает рослую Мишину фигуру, увенчанную круглой как шар головой.

— В этот... в институт, — запнулся Миша.

— Ишь ты!.. А я думал, ты к кузнечному делу присох. Ширяев стар, болен, мы рассчитывали, ты его место займешь.

Миша захлопал пшеничными ресницами, в глазах его мелькнуло что-то жалкое, но он промолчал.

— Вон как тебя разагитировали! — удивлен Трубников. — Скажи я тебе неделю назад — до потолка бы под-

прыгнул! Значит, профессия кузнеца тебя не устраивает. В каком же чине-звании хочешь послужить народу?

Миша молчит.

— Так куда же ты поступаешь?

— ...В парно... графический! — выпаливает Миша.

Трубников глядит на него с интересом.

— Пиши заявление... Пиши... Прошу отпустить меня на учебу и так далее... — Он протягивает Мише листок бумаги.

Миша берет из пластмассового стаканчика перо и, подперев языком толстую щеку, пишет заявление.

— Молот ты вроде ловчее держишь, — замечает Трубников. — Готово?... Так вот, если в райкоме комсомола спросят, почему тебя не отпустили, покажи им свою писанину. А насчет кузнецы — все в силе!

На месте обескураженного Миши появляется Нюра Озеркова.

— От кого-кого, а от тебя не ожидал, — с искренним огорчением говорит Трубников...

В приемной Миша показывает свое заявление товарищам. Те смотрят и раздражаются громким хохотом.

— Силен Мишка! Вот это выбрал специальность!

— Да объясните, черти!

— В полиграфический надо было, дубина!

Миша выходит из правления не один — его конфуз отбил охоту к продолжению образования еще у нескольких ребят...

— ...Другим-то справки дали! — сухо блестя глазами, укоряет председателя Нюра.

— Борька на архитектуре, сама знаешь, помешанный, а Танька сызмальства всем деревенским кошкам клистиры ставила и лучше иной знахарки людей травами лечила. Тут страсть души. У Веры редкий голос, а Маша на агронома пошла — значит, не к нам, так в другую деревню вернется. А у тебя какая страсть, какой талант? Лишь бы в город

сбежать! Сама же говорила: не выйдет в иняз, так хоть в аптекарский!

— Я что, не могу себе судьбу выбирать?

— Нет.

— Это почему же?

— Потому что соплячка, потому что сама не знаешь, чего хочешь. Вот когда Ваську защищала, ты знала, чего хотела, а сейчас просто с жиру бесишься, легкой жизни захотелось!

— А может, вы мне сейчас всю судьбу ломаете?

— Нет. — Трубников улыбнулся. — Ломать-то нечего. Послушай меня серьезно. Если я тебя отпущу, значит, я как бы признаю, что любая, самая шальная, случайная жизнь в городе будет лучше, чем наша жизнь. Я не могу с этим согласиться. Иначе зачем я сам небо копчу? Нет, всем, что во мне есть, я убежден, что ты можешь быть счастливой и будешь счастливой здесь!

На лице Нюры — смешанное выражение обиды, удивления и какой-то стыдливой нежности. Видимо, еще никто не говорил с ней так. Закусив губы, с глазами, полными слез, она выбегает из кабинета.

— Следующий! — кричит Трубников, усмехаясь про себя.

Никого. Он подходит к двери, открывает ее.

В приемной пусто.

Вечер. В доме Трубниковых.

— Присядем на дорогу, — говорит Надежда Петровна Борьке, опускаясь на краешек лавки.

Мужчины — Трубников, Кочетков и одетый по-дорожному Борька — молча садятся на лавку.

Надежда Петровна со вздохом встает и идет к двери.

У крыльца уже ждет колхозный вездеход, где сидят три девушки — будущие студентки — и неизменный Алешка Трубников.

— Скорее, Борис, опаздываем! — кричит ему Вера Звонарева.

Борис кладет в «газик» чемодан и возвращается к матери. Они обнимаются крепко-крепко. Надежда Петровна изо всех сил сдерживает слезы.

— Пиши! — просит она.

— Ну, счастливо, Борис, — нарочито сухо вато говорит Трубников. — Веди себя не кое-как!.. — Он протягивает пасынку руку.

— До свидания, — говорит Борис и неожиданно для самого себя добавляет: — отец..

Они поцеловались. Борис пожал руку Кочеткову.

— Какие существуют ордера колонн? — с улыбкой спросил Кочетков.

Борис засмеялся и побежал к машине.

«Газик» рванул с места и вскоре исчез вдали..

Обком партии. Идет совещание, посвященное итогам сельскохозяйственного года. Кроме первого секретаря Чернова в кабинете находятся Калоев, заведующий отделом культуры обкома, Клягин и другие партийные работники.

— Все сроки вышли, — говорит Чернов. — Область должна рапортовать о хлебосдаче... А чем мы можем похвалиться? Как ни округлай, картина тусклая... — он ворошит какие-то бумажки на столе. — Скажи, товарищ Клягин, неужели ты все добрал?

Клягин разводит руками.

— Все, товарищ Чернов, и еще немножко... — Он потупил голову.

— Чепуха! — раздается резкий голос Калоева. — Есть в районе хлеб!

Чернов удивленно повернулся к нему, Клягин поднял голову, моргает глазами.

— Нам точно известно, что колхоз «Труд» утаил зерно, — отчетливо говорит Калоев. — Не верите — в закрытых поищите!

— Так это на трудодни оставлено, — тихо говорит Клягин.

— Раз такое положение в области, надо предложить Трубникову сдать зерно, — решительно заявляет Калоев.

— Как в других колхозах, — поддакнул заведующий отделом культуры.

— Да знайте же меру, товарищи! — вскипел Чернов. — Одни бездельничали, другие вкалывали на совесть — нельзя всех под одну гребенку стричь!

— Трубников хочет баранку кушать, а рабочий класс не хочет баранку кушать? — будто для себя говорит Калоев.

— Колхоз «Труд» выполнил план хлебосдачи на сто семьдесят процентов! И если Трубников запланировал зерно в оплату трудодня, что ж...

— Трубников, Шмубников, — бормочет Калоев словно в легком трансе. — Товарищу Ста-ли-ну рапортуем!. При чем тут Трубников?..

Раннее утро. Дверь в кабинет Трубникова распахнута, мы видим его из приемной. Он сидит у окна, подперев голову рукой. За окном моросит сентябрьский дождик, будто слезы ползут по стеклу. С равными промежутками мимо правления проносятся тяжелые грузовики, высоко груженные мешками с зерном.

В правление заходит Прасковья. Долго, жалостливо глядит на Трубникова и бесшумно выскальзывает прочь. Трубников не заметил ее — взгляд его намертво прикован к окну...

Хозяйственный двор колхоза. Уныло моросит дождь. У склада зерна люди в зеленых ватниках задергивают брезентом мешки, загруженные в трехтонку.

У одного грузовика, уже готового к отправке, захлопывают задний борт. Стоя возле кабины, Кочетков получает от начальника автоколонны накладную.

Семен Трубников запирает ворота опустевшего складского помещения.

— Ты чего домой не идешь? — окликает его Доня. В дождевике и высоких резиновых ботах, с кощелкой в руке, Доня, видимо, наладилась за покупками. Семен подошел к супруге.

— Зерно сдавали, нешто не видишь? — Он кивает на грузовики.

— Ладно брехать-то! Зерно когда еще сдали!

— Значит, не все сдали, — степенно говорит Семен.

— Господи! — Доня закусила нижнюю губу. — Это ж наши трудодни вывозят!..

— Тс!.. Дурища!.. — Семен боязливо оглянулся на людей в зеленых ватниках. — Начальство знает, что делает... А мы... Мы и без Егорова хлеба проживем.

— Да как же он на это пошел? — с болью, но понизив голос, произносит Доня.

— Так его и спросились! — Он понижает голос до шепота — и в самое ухо жене: — Это ему Калоев подстроил... за студентов. Только смотри. Тсс! — И громко, мстительно говорит Семен: — Нехай и в «Труде» люди за палочки вкальвают.

— Надо же!

— Это еще что! — довольный впечатлением, говорит Семен. — Его вовсе хотят из партии турнуть!

— ...Врешь?! — говорит Доне ошеломленная продавщица сельмага, рябая деваха в перманенте.

Доня стоит у прилавка в окружении жадно любопытствующих слушательниц.

— Очень надо! По всей области звон идет, одни вы дуры темные...

— Чего же все-таки от него хотят?

— Ясно чего! Или, говорят, к законной жене вертайся, или партийный билет на стол!

— Неужто так и сказали?

— А вы думали, за двоеженство по голове погладят?

В магазин вошла Надежда Петровна. Она слышала последние слова, и смуглое лицо ее матово побледнело. Но ее никто не заметил.

— А Егор Иванович что, — интересуется продавщица, — к брошенке вернется?

— Не... он Надьке преданный, — тихо замечает Полина Коршикова.

— Преданный, не преданный... Партийный билет-то один, а такого добра, как Надька, хоть завались!.. — ехидничает Доня.

— Донь... — толкнула ее в бок старуха Самохина, глазами указывая на вошедшую.

— А плевать я на нее хотела! — закусила удила Доня. — Не уважаю! Вцепилась мужику в портки, и пропадай все пропадом!..

— Грязная ты! — проговорила Надежда Петровна.

— А все чище тебя! — с торжеством отозвалась Доня.

Надежда Петровна, поникнув головой, повернулась и пошла к выходу.

Полина Коршикова нагнала ее, обняла за плечи.

— Это все неправда... неправда... Ну скажи, Поля? — в отчаянии спрашивает ее Надежда Петровна. — Ведь Егор не стал бы от меня скрывать?

Но Полина молчит, отводя глаза...

Трубников сидит у окна. Входит Кочетков, сбрасывает дождевик, вынимает какие-то бумаги из планшета и кладет в стол.

— Раскулачили подчистую! — натянута шутит он. — Можешь гордиться, Егор, теперь мы выполнили план госпоставок на двести процентов!

Трубников молчит. Кочетков подходит к нему и видит погасшее лицо друга.

— Ну ладно, Егор... Давай жить дальше.

— А как? — глухо произносит Трубников. — Мне стыдно людям в глаза глядеть. Выходит, и кто лодыря гонял и кто вкалывал кровь с носу — всех под одну гребенку обстригли...

— Никто тебя не винит. — Кочетков нервно закуривает.

— Ладно, помолчи... — Трубников снова смотрит на заплаканное окно, за которым с пробуксовкой ползет очередной грузовик с зерном.

Возвращается Прасковья и тихо проходит в кабинет. За ней появляются Игнат Захарыч, Самохина, кузнец Ширяев, Павел Маркушев.

За окном проползает новый грузовик.

— Да пройдут они когда-нибудь, мать их в душу?! — кричит в бешенстве Трубников.

— Слава тебе господи, выздоровел! — слышится густой бас Игната Захарыча.

Трубников оборачивается и видит свою испытанную гвардию.

— Вы чего тут?

— Прасковья панику навела. «Дуйте, орет, в правление, батя вешаться собрался!»

— Врет он как сивый мерин, — плюет Прасковья. — Сроду я таких глупостей не говорила. А что не оказался ты мне — это верно. Сидишь как сыч, нахохлился, на себя не похож, я и погнала их сюда!

— В общем, Егор Иваныч, — решительно начинает Ширяев, но по скудности запаса слов заканчивает менее бодро, хотя и от души, — ты знай, что мы того... завсегда... одним словом... с тобой, значит!.

— Хорошо сказано! — одобряет Игнат Захарыч. — Завсегда!

— В «Маяке» сроду зерна на трудодни не давали, и ничего! — добавляет Прасковья. — А у нас и денежный аванс дали, и картошку, и грубые корма. До новины как-нибудь дотянем!

— Хлеб легче вырастить, чем людей, — говорит Ширяев. — Пусть мы зерна лишились, зато сохранили людской состав.

— Ну, хватит митинговать, — своим обычным жестким тоном говорит Трубников. — Давайте работать. А ты, Прасковья, смотри у меня — людей от работы отрывать! Тоже еще — народный трибун!

Посмеиваясь, колхозники выходят.

Трубников глядит им вслед, затем поворачивается к Кочеткову.

— Вот люди... да за них десять раз сдохнуть не жалко!

«Егор, я ушла к Прасковье. Жить буду у нее. Так нужно. Надя».

Трубников протягивает записку Кочеткову. Они молча смотрят друг на друга, затем Трубников, как есть, без плаща и шапки, бросается на улицу.

В избе Прасковьи. Трубников и Надежда Петровна.

— Нет, Егор, нет, дорогой, — качает головой Надежда Петровна. — Так надо.

Она полностью овладела собой. Смуглое лицо ее полно доброты и спокойной решимости.

— А я и не прошу! — кричит Трубников. — Если ты не вернешься домой, я тебя!.. — Не зная, какой каре подвергнуть Надежду Петровну, вдруг выпаливает: — Я тебя из колхоза исключу!

— Довольно, Егор! — говорит она с непривычной твердостью. — Я ведь тихая, а коли тихий человек чего решит, его не собьешь.

И Трубников понял, что ему не переубедить Надежду Петровну. Ради него пошла она на самую трудную для себя жертву и не отступится, чего бы ей это ни стоило. Плечи председателя впервые поникли...

Завывает вьюга. Крутит белые спирали и гонит их по деревенской улице, словно снежные перекасти-поле.

Кабинет Чернова. Владелец кабинета сидит за столом, его большое крестьянское лицо, как и всегда, кажется огорченным, но появилось в нем что-то новое: усталая ясность и, пожалуй, твердость.

— Надо нам потолковать по душам, Егор Иванович, — говорит Чернов.

Ка-ак? — Трубников приложил ладонь к уху, лицо его в этот момент отнюдь не свидетельствует о ярком уме.

— По душам, говорю!.. — повысил голос Чернов. — Как коммунист с коммунистом...

— Не поздно ли? — туповато спросил Трубников.

— Лучше поздно, чем никогда...

— А-а! — Трубников делает испуганные глаза. Он оглядывает кабинет, подходит к тумбе с телефонами и снимает трубки.

— Что это значит? — в голосе Чернова удивление и недовольство.

— Такой разговор лучше без свидетелей вести! — дурашливо ухмыляется Трубников.

— Да бросьте вы... — отмахнулся Чернов.

С улицы донесся долгий звук автомобильной сирены. Чернов подходит к окну и раздергивает шторы. Трубников присоединяется к нему.

На площадь из-за поворота выскакивает черная машина и, в нарушении правил, мчится через площадь, оставляя на белом снегу широкие, дегтярно-черные полосы. Высвеченное фонарями, в задней стенке фургона четко обрисовалось зарешеченное окошко.

— «Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной!..» — вполголоса напевает Трубников.

Чернов, словно от боли, поморщился.

— Ладно, Егор Иваныч, — устало говорит он. — Ты не Суворов, я не Павел! Брось прикидываться! — переходит он на «ты». — Лучше скажи-ка, только прямо... во что веруешь?

— Я? — Трубников теперь пристально глядит в глаза Чернову. — В триединство, товарищ Чернов!

— То есть?

— Верю в партию, Советскую власть, коммунизм!

Чернов кивнул головой.

— Ну так вот... — помолчав, говорит он. — Представили мы тебя к Герою Социалистического Труда. Думаю,

Москва поддержит. В случае чего сам съезжу, потолкую в ЦК. Тогда ты станешь не по зубам Калоеву...

— Вон что! — Трубников понимающе смотрит на Чернова.

Приемная секретаря обкома. За столом, погружившись в чтение какого-то романа, сидит знакомая нам секретарша. Слышится мелодичное посвистывание и входит Калоев. Уверенно направляется к кабинету.

— Товарищ Чернов занят, — говорит секретарша, отложив книгу.

— У вас сколько диоптрий? — почти коснулся пальцем ее очков Калоев.

— Три... — растерянно ответила секретарша.

— Мало, мало! Надо пять, шесть, десять диоптрий! — кричит Калоев. — Вы же людей перестали узнавать!

— Я вас прекрасно узнала, товарищ Калоев, — взволнованно говорит секретарша. — Но товарищ Чернов сказал, что никого не примет.

Калоев презрительно оглядывает ее.

— Кто у товарища Чернова?

— Председатель колхоза... Трубников.

— А-а! — с каким-то странным выражением говорит Калоев и, повернувшись на каблуках, посвистывая, уходит...

Кабинет Чернова.

— Слушай, Егор Иваныч, как у тебя с семейной жизнью? — дружески спрашивает Чернов.

— Порядок. Полное отсутствие таковой.

— Но официально ты женат?

— Женат, да больно далеко целоваться бегать.

— Что это значит?

— Жена-то в Москве... Нету у меня никого. Штемпель в паспорте.

— Как же так?.. А другая жена?

— Была, да сплыла, — горько усмехнулся Трубников. — И не другая, а просто жена. Единственная.

— Ты с ней расстался?

— Не я, она со мной рассталась. Подводить меня не хотела, вот она какой человек!.. Да ладно об этом...

— Егор Иванович! Чего бы ни стоило, добейся развода и начинай жить по-человечески. Нельзя же так!

Трубников внимательно посмотрел на Чернова, глаза его потептели.

— Ну, хватит! Я в своей семейной жизни как-нибудь и сам разберусь... Я вот о чем хотел поговорить... Не знаю, конечно, ко времени ли такой разговор... Ну вот, скажем, будешь ты в ЦК. Так не пора ли поднять вопрос о закупочных ценах? Это же, если откровенно сказать, издевательство над колхозниками.

— Я-то с тобой вполне согласен... — начал было Чернов, но Трубников не дал ему договорить.

— Или насчет МТС, — уже в запале продолжает он. — Это что же получается... Ведь если здраво на дело поглядеть... зачем колхоз должен МТС кланяться? Нешто уж мы такие слабые? А что если всю технику да при своих руках? Нет, тут прикинуть надо! Может быть, пора как-то по-другому повернуть все это дело...

— А вот ты и прикинь, Егор Иванович! — подхватывает Чернов. — Подработай записку в ЦК. Только дело это непростое... все должно быть обосновано, на фактах, с примерами... А?

— Будет записка! — Трубников поднялся. — Подонки-хотствую на старости лет!

В раздевалке обкома Трубников обмотал шею шарфом, подошел к большому зеркалу, странно приглядываясь к отражению почти незнакомого себе человека, и, надвинув шапку, заторопился к выходу...

В приемную Чернова входит Калоев.

— Освободился товарищ Чернов? — с подчеркнуто ядовитой вежливостью спрашивает он секретаршу.

— Пожалуйста, товарищ Чернов один.

— Нет, доложите, — возразил Калоев. — Может быть, он думает свою высокую думу?

В этот момент открылась дверь кабинета. Оттуда вышел в кожаном пальто и кубанке Чернов.

— Пожалуйста, — пригласил он Калоева и, вернувшись к столу, снял кубанку.

— Товарищ Чернов... Сердце болит... Что я услышал?.. Вы этого удельного князя, этого многоженца к «Герою» представили?

— Не пойму, о ком ты?

— Как — о ком? О Трубникове, о ком же еще! Хороший пример для коммунистов: план выполняешь — так можешь наложниц иметь! Целый гарем можешь иметь!

— Погоди, погоди... — остановил его Чернов, — плохо твои пинкертонны работают, подтянул бы малость... Они уже с осени разъехались. Прошу. — И он гостеприимно показывает Калоеву на выход.

Вездеход Трубникова катится по улице Конькова. Трубников ссутулился на переднем сиденье возле водителя. Теперь, когда он не следит за собой, видно, как он устал, осунулся, какую горькую печаль наложило время на его черты. И вдруг: бац! — о переднее стекло разбивается пущенный чьей-то рукой снежок. Трубников встрепенулся. Алешка резко затормозил.

Из-за сугроба появляется девушка в короткой шубке и бежит прямо к машине. На ходу оборачивается и кидает в кого-то снежком. И тут снежок ее невидимого противника проносится мимо лица Трубникова и попадает в голову Алешке.

— Вот дьяволы! — отплевывается Алешка.

Словно ища защиты, девушка прижалась к ступенькам вездехода. Она подымает смеющееся лицо, это Нюра Озеркова.

— Слушай, Нюра, — наклоняется к ней Трубников, — если хочешь, поступай летом в институт.

— А мне и здесь хорошо! — с вызовом говорит девушка. — Я очень к телятам привязалась.

Из-за сугроба — шапка на затылке, в поднятой руке ком снега — выскакивает парень.

— Жизнь или смерть? — кричит он Нюре и тут замечает председателя.

— Добрый вечер, Егор Иваныч!

— А, Валежин! — тепло говорит Трубников, и Нюре: — понимаю и одобряю твою привязанность.

— Вы о чем? — спрашивает Валежин, подходя к машине.

— О телятах, — отвечает Нюра.

Вездеход Трубникова продолжает свой путь.

— В том-то все и дело... — вслух произносит Трубников.

— Чего? — не понял Алешка.

— Ты никогда не задумывался, чем движется жизнь?

— Не-е!

— Тем, что Ваньке хочется целоваться с Машкой. Что наступает ночь, а утром звучат гудки и все расходятся по своим местам, и пока все это есть — жизнь будет продолжаться.

— Мудрено.

— Нет. Проще пареной репы.

У своего дома Трубников соскакивает, а вездеход уносится в темноту. Трубников идет к дому, но тут его кто-то окликает:

— Егор Иваныч!

Он оглянулся, густая тень ракиты накрыла женскую фигуру. Трубников подошел.

— Доня? Ты чего тут?

— Тише! — Она берет его за руку и увлекает в тень. — Я уже третий день тебя выглядываю, все нет и нет...

— А чего в дом не зашла?

— Нельзя, чтобы меня с тобой видели. Слушай, Семен на тебя заявление послал.

— Тоже — новость! В райкоме особый шкаф для его заявлений поставили.

— Да не в райком, а в эту... в безопасность...

— Это сейчас в моде, — усмехнулся Трубников.

— Плохое заявление... Что ты окружил себя врагами народа и все по их указке делаешь.

— Хватит чепуху городить.

— Крест! Я всего прочесть не успела. Семен отнял. Там про Кочеткова прописано, будто он говорил, что в лагере крыс едят, и чего-то еще про Сталина — не разобрала.

— Чем ему Кочетков помешал?

— Он говорит, Кочеткова по болезни освободили, ему ничего не будет, зато, мол, Егора с колхоза попрут.

— Вон что!

— Ты скажи этому Кочеткову, чтобы он мотал отсюда!

— Ему дальше огорода ходу нет! Он все равно что стреноженный...

— Это почему же?

— У него паспорт с клеймом... Эх, Доня, и как ты можешь жить с таким гадом, как Сенька?

— А с кем мне жить прикажешь, с тобой? — на лице Дони блеснули слезы. — Я согласная! Пойду с тобой хоть в тюрьму, хоть в лагерь, хоть куда хочешь!

— Да будет тебе...

— А ты на меня глядел, я подмечала! — с отчаянностью шепчет Доня. — На ноги мои глядел, на грудь глядел!

Странно, Трубникова словно не удивляет этот неожиданный ее порыв.

— Может, и глядел, только пустое это...

— И для меня пустое! Я с Семеном на всю жизнь вот так связана!

— Это почему же?

— А он мне мой грех простил! — быстрым шепотом отозвалась Доня. — Ну, ступай, только побереги себя,

Егор! — Она вдруг подалась к нему всем телом и сильно прижала к себе рукой. — Ну, ступай, ступай!.

Трубников не пытался ее оттолкнуть, молча смотрел на блестящее от слез лицо. Когда же она отпустила его и скрылась в темноте, он еще несколько секунд недвижно стоял под деревом.

— Что так долго? — спрашивает Кочетков Трубникова, который уже разделся и обметает голиком сапоги. — Я уже начал беспокоиться...

— Напрасно! Просто был большой и добрый разговор.

— Значит, Чернов — человек?

— Да еще какой! Мы с ним тут кое-что затеяли... Мне понадобится твоя помощь...

— Ну что ж, за мной дело не станет. Давай-ка к столу. Будем ужинать...

— А выпить не найдется? — неуверенно спросил Трубников.

— Ого! — поражен Кочетков. — «Я слышу речь не мальчика, а мужа!»

— Замерз что-то...

Кочетков достает с полки начатую четвертинку, стопки.

— И всего-то есть в нашем холостяцком доме! — Он быстро накрывает на стол. — Обслуживание на высшем уровне, — одобряет он сам себя.

И теперь усталость и трудные мысли свалились на Трубникова, придавили плечи.

Разливая водку по стопкам, глянул на него Кочетков.

— Разговор был добрый... а вид у тебя... или устал?

— Да нет... — Трубников провел ладонями по лицу. — Много все-таки сволочей на белом свете, — вздохнул он. — Ну да черт с ними! Не такое перемальывали... За что выпьем?

— Я — за тебя, Егор.

— Нет, давай — за нас!

Они чокаются, пьют, и в это время по окну, глядющему на улицу, хлестнула ярким светом фар подъехавшая машина.

Затем свет отсекается, из оконной протемы глянуло в избу незнакомое мужское лицо в фуражке.

Трубников и Кочетков поставили пустые стопки на стол, молча смотрят друг на друга. Хлопает входная дверь, в сенях — грубый постук сапог.

— Вот и выпили на посошок! — сказал Кочетков и прошел в свою комнатенку.

В кухню входят четверо. Одернув китель, Трубников заступает им дорогу.

— Не торопитесь, товарищ Трубников, еще успеете, — говорит один из вошедших и отстраняет его прочь.

— Кочетков Василий Дмитриевич здесь проживает? — громко спрашивает другой.

— Да! — слышится спокойный голос.

Кочетков вышел из боковушки, полностью снаряженный в дорогу: в пальто и шапке, — он-то сразу понял, за кем пришли.

— Оружие?

— Гаубица в огороде, — говорит Кочетков.

Оттолкнув его, двое проходят в скудно обставленную комнатенку и начинают обыск.

Один из вошедших потянул с полки книгу и обрушил с десяток томов.

— Осторожнее, — побледнев, говорит Кочетков, — это ЛЕНИН!.

Кочеткову делают знак выходить. Трубников протягивает ему сверток с бельем.

Кочетков слегка кивает. Говорить ему ни к чему — каждое слово сейчас на учете.

Трубников подчеркнуто выпрямляется, так отдают приветствие в армии, если не покрыта голова...

По улице бежит Надежда Петровна. Платок сбился с ее головы; поскользываясь, она едва не падает.

И тут же видит, как фургон, мазнув по забору светом фар, отъезжает от дома. Надежда Петровна чуть не упала, привалилась к забору...

Пересилив себя, медленно, перебирая руками частокол, она идет вдоль изгороди.

Трубников сидел на лавке возле темного окна. Лицо его сухо и спокойно каким-то каменным, мертвым спокойствием. Он не услышал, как хлопнула в сенях дверь, как вошла женщина.

Надежда Петровна так и осталась стоять, прислонившись к дверному косяку...

Областное управление МГБ. В кабинет следователя заходит Калоев. Следователь — крупный, тестовый человек с большими, как лопаты, руками — встает при входе начальства. Подследственный — это Кочетков — подымает голову и тоже хочет встать, но Калоев остановил его ласково-властным движением руки...

— Василек, какой счет? — спрашивает он следователя.

— По двум периодам три — два было...

— В чью пользу?

— ВВС.

Калоев цокнул языком и включил радиоприемник. Вначале слышен лишь хриплый шум, затем пулеметный толос Синявского:

— Итак, в третьем периоде команды обменялись двумя шайбами... лидер первенства — команда летчиков — одержала очередную победу со счетом пять-четыре, динамовцы откатились на третье место. На этом мы заканчиваем передачу с центрального стадиона «Динамо»...

Калоев гневно выключает радио.

— Оборонительная тактика подвела, — говорит он огорченно. — Наступать надо... наступать... Слушай, Кочетков, я давно хотел у тебя спросить: зачем ты в лагере крыс ел?

— Для гигиены. — Слабая улыбка тронула лицо Кочеткова. — Чтоб грызунов не было.

— Такой веселый и так плохо выглядишь... Беречь себя надо... Никогда мы о себе не подумаем, «а годы прохо-

дят — все лучшие годы»... Такого поэта погубили! Что говорил тебе Трубников в ноябре перед праздниками? — спросил неожиданно Калоев.

— Не помню, — пожал плечами Кочетков.

— Ох, какая у тебя память... А двенадцатого октября что говорил?

— Не помню.

— Значит, не хочешь помочь органам? — расстроился Калоев. — Василек, спроси у него, за что Трубников так Советскую власть не любит?

Огорченный Калоев выходит.

Бегут мутные мартовские ручьи по деревенской улице, неся на себе щепки, веточки, накренившийся, совсем размокший бумажный кораблик.

Нависшая над крыльцом сосулька исходит капелью. Стеклянно барабанят капли по дну старой бочки, установленной под водостоком.

Вечереет.

Трубников входит в дом. Надежда Петровна читает письмо Бориса. Она не слышала, как вошел муж.

Трубников с нежной жалостью смотрит на ее проточенную сединой голову, потом осторожно трогает за плечо. Она испуганно вздрогнула и подняла голову.

— Егор!.. А мне показалось... — Она передернула плечами под шерстяным платком.

— Что пишет Борис?

— В комсомол его приняли.

— Молодцом! И у меня новости!

— О Кочеткове?

Трубников помрачнел.

— Какие могут быть новости о Кочеткове? Ясно одно: раз я на свободе — значит, не удалось им его расколоть.

— Как это — расколоть?

— Ну, заставить оговорить меня. Ведь им Кочетков только для того и нужен...

Все тревожнее и тревожнее глядит на Трубникова Надежда Петровна.

— Так какие же у тебя новости, Егор, — тронула она его руку, — хорошие или плохие?

— Разные... С «Героем» вроде задержка...

— А почему?

— Шьют, должно быть, связь с врагами народа... Это с Васей. Зато записку мою Чернов одобрил, как говорится, полностью и безоговорочно! Ну так вот, Надя, — продолжает он, — Чернов едет в Москву с моей запиской... и посоветовал и мне туда податься. — Трубников помолчал. — Может, я и для Кочеткова защиту найду...

— К кому же ты пойдешь?.. К Сталину?..

Трубников невесело усмехнулся.

— Да кто меня к нему пустит?.. Нет, Надя. Но есть Центральный Комитет, есть старые товарищи... — добавил тихо.

— Ох, не пойму я, Егор, — страдальчески говорит Надежда Петровна, — то ли тебе слава выходит, то ли решетка?

— Вот и разберись тут, — невесело усмехнулся Трубников.

...И вот мы снова как бы возвращаемся к началу нашего повествования. Ночь. Околица деревни. Где-то тоскливо воеет собака. Разбрызгивая сапогами мартовскую грязь, бредет человек с рюкзаком за плечами. Только сейчас он держит путь прочь от деревни и не один — рядом с ним женщина.

Они подходят к перелеску и здесь прощаются. Мужчина идет дальше, женщина остается. Она долго смотрит ему вслед, пока он не исчезает за деревьями. Потом медленно бредет назад...

Утро. Над полем кружит воронье, оглашая мартовский простор резкими криками.

Сильный паровозный гудок сметает с крон деревьев другую огромную стаю. Уже и неба не видно за темными телами.

Маленькая железнодорожная станция.

Пути переходит какой-то человек. Возле платформы, готовый к отправке, стоит поезд дальнего следования. Поезд тронулся, человек вскочил на подножку.

Он проходит в тамбур и глядит на убегающие вспять станционные постройки, плакучие березы, кусты вербы с набухшими почками...

Стучат колеса на рельсовых стыках.

...В почти пустом вагоне дремлет на полке Трубников. Шапка закрывает ему лицо. Ему снятся колокола. Их тревожный набатный звон звучит в его ушах. Колокола звонят, и звонят, и звонят. В их звон вплетается ржавый вороний ор, все нарастающий и нарастающий, и кружат черные стаи, будто справляя зловещий вороний пир...

Но звон колоколов, все нарастающий, заглушает вороний грай, победно рвется в небо... Вольно стелется по чистой весенней земле.

Этот звон переходит в лязг буферов. Поезд, приближаясь к большому железнодорожному узлу, начинает резко тормозить.

От толчка Трубников просыпается, открывает глаза. Он смотрит в окно и видит, что поезд подходит к вокзалу областного центра.

Платформа загружена людьми.

Едва поезд причалил к платформе, как толпа начинает штурмовать вагоны.

Удивление Трубникова все возрастает, он видит множество знакомых лиц работников обкомов и облисполкома, кое-кого из района.

Первые удачники прорываются в вагон. И вдруг Трубников видит среди ворвавшихся Клягина. Он встает ему навстречу.

— Куда это вы все? — спрашивает он Клягина.

— В Москву, конечно.

— А почему?

— Ты что, с неба свалился? — И напором толпы Клягина уволокло дальше. — Сталин умер...

Трубников стоит, будто окаменев, и очень сложная смена чувств отражается на его лице.

ЭПИЛОГ

...Из-под крыльца дома Надежды Петровны вылезает пес, некогда проводивший Трубникова к этому двору. Он постарел, облез, мутные глаза его почти слепы, и все же он по привычке радостно колотит хвостом по ступенькам крыльца, приветствуя хозяина.

Из дома выходит Трубников, почти седой, морщинистый и непривычно нарядный: на нем черный, хорошо сшитый костюм, белая рубашка, галстук. Посверкивает Золотая Звезда Героя Социалистического Труда. Он наклонился и ласково потрепал пса.

— Егор, опять ты очки забыл? — На крыльцо выбежала Надежда Петровна. Истекшие годы вместе с душевным покоем дали ей будто вторую молодость. Она еще хороша, и движения ее легки.

— Тьфу ты, никак не привыкну, — говорит Трубников, беря очки.

Он выходит на улицу и идет к правлению. Навстречу ему попадается чета Валежиных с пяти-шестилетним сынишкой. Они здороваются с Трубниковым.

Трубников входит а правление, открывает дверь, на которой прибита новенькая дощечка: «Секретарь партийной организации колхоза «Труд».

Стоя на стуле, какой-то человек в военной форме без погон приколачивает к стене лозунг:

«Мы должны заниматься делом, а не резолюциями»
В.ЛЕНИН.

— В самую точку! — говорит Трубников, проходя в кабинет. Человек оборачивается. Это Кочетков. Он мало изменился, если не считать золотых зубов, ярко сверкающих в улыбке. На груди — орденская колодка.

— Ну, Егор, можешь песни играть! — говорит Кочетков. — Звонил Патрушев и сказал «по секрету», что вопрос о новых закупочных ценах практически решен.

— А ты думал, меня зачем в Центральный Комитет вызывали? — хитро прищурился Трубников.

— Чего же ты молчал?

— А зачем раньше времени в колокола звонить?

— Ох и скрытен же ты стал! — смеется Кочетков. — Прямо дипломат!

— Ну, я знаю кое-кого поскритнее...

— Что ты имеешь в виду? — отвел глаза Кочетков.

— У тебя не было еще одного телефонного разговора?

— Ах да! Конечно, был. Лучшего агронома, чем Кудряшов, нечего искать. Как только он защитит кандидатскую, так сразу...

— Ладно с агрономом-то! — прервал Трубников. — От кого хоронишься? Думаешь, не знаю, кому ты звонил?

Кочетков смутился:

— Тоже мне Шерлок Холмс!.

— Вот и нечего тень наводить! Как она?

— Плакала... Оказывается, она до моего письма знала, что я жив. Мой одноделец отыскал ее в Москве. Она преподает французский, вышла замуж, и, самое удивительное, — я дедушка!

— Поздравляю!

— Одним словом, договорился о свидании с собственной дочерью... Аню мы решили не тревожить, — медленно продолжает Кочетков. — Потом Лена скажет ей, что мы виделись...

В окне появляется белокурая девичья голова.

— Василий Дмитриевич, чего же вы!.

— Иду-иду!.

— Ты куда? — спрашивает Трубников.

— Да ребята выставку соорудили: «Уходящее прошлое». Хочешь взглянуть?

Они направляются в клуб.

...Клуб колхоза «Труд». Трубников, Кочетков и несколько молодых людей, среди них Валежина, осматривают выставку.

Здесь находится дежа, в которой месят тесто для хлебов, деревянный подойник, коромысло с ведрами, самогонный аппарат, набор ржавых сторожевых ружей и сделанная в рост человека фигура сторожа в дремучем тулупе, валенках, треухе, за плечом берданка, похожая на пицаль. Лицо сторожа, вылепленное из пластилина, с маленькими глазками, мочальными усами, затаенное и недоброе, приковывает внимание Трубникова. Скулы его слегка розовеют.

— Ах, хулиганы! — говорит он ребятам. — Вы его нарочно под Семена изобразили?

— Нет, Егор Иваныч! — улыбается Нюра Валежина. — урожденная Озеркова. — Честное комсомольское, случайно так вышло. Потом мы, правда, заметили, но переделывать не стали.

И хоть Трубников хмурится, похоже, ему доставила удовольствие эта небольшая месть Семену.

— Василий Дмитриевич, — обращается он к Кочеткову, — надо бы сторожей по бригадам распределить — мужики все трудоспособные, нечего им без дела мотаться...

— Нюра... Валежина... — слышится старушечий голос, и в «музей», запыхавшись, входит Прасковья.

Она сильно сдала за эти годы, усохла, сгорбилась, орехово потемнела маленьким лицом, только в глазах — прежний неукротимый блеск.

— Нюра, позвони-ка на молокозавод, чего они нашу цистерну задерживают, — говорит она Валежиной.

— И не совестно тебе? — любовно-насмешливо говорит Трубников старой своей сподвижнице. — В большое начальство вышла, а по телефону говорить не умеешь.

— Будто не умею!. У нас телефоны очень тихие. — Прасковья двинулась было прочь, но ее остановил Трубников.

— Постой, старая, что-то ты мне сегодня не нравишься. Не захворала ли часом или просто утомилась? Пошла бы отдохнуть.

— Я в твоей санатории отдохну! — язвительно отвечает Прасковья. — Понятно?

— Что поделаться! — вздохнул Трубников. — Давно бы открыли, да совнархоз труб не дает, хоть тресни!

— Ослаб ты духом, раньше всего добивался!

— Ладно, ладно, старая!.

— А ты мне рот не зажимай! Сам-то небось на Кавказ закатаешься, а нам дулю под нос! — И, пустив эту стрелу, Прасковья метнулась прочь.

— Вредная старуха, — проворчал Трубников.

Прасковья вышла из дверей клуба. За колонну испуганно схоронился Семен.

Выходит Трубников.

— Егор! — слышится тихий голос.

Семен появляется из укрытия, лысый, постаревший, угасший.

— Чего тебе?

Семен мотнул головой, словно приглашая Трубникова последовать за ним. Несколько удивленный, председатель сошел с крыльца.

Они выходят на зады клуба. Семен молча протягивает Трубникову какую-то бумагу. Трубников пробегает глазами заявление Семена: «Прошу отпустить меня из колхоза со всем семейством...»

— Ты что, сдурел?

Семен не отвечает, только вздымается и опадает его грудь под ситцевой рубашкой.

— Может, ты на чучело обиделся? — мягко говорит Трубников. — Я велю убрать.

— Да что — чучело!.. — равнодушно махнул рукой Семен. — Авось не маленький... Отпусти нас по-хорошему, Егор!.

— Ни в жисть! Если ты дурак-гигант своей пользы не знаешь, обязан я за тебя думать. Ну куда ты денешься?

— В город уеду.

— Нужен ты в городе! Чего ты там делать будешь, где жить?

— Устроюсь, не твоя забота.

— Нет, моя! Мы тебя в столярную бригаду зачислим, будешь полторы тысячи получать. Ребята у вас подросли, теперь Доня может на ферме работать, а доярки...

— Не нужны мне твои тысячи, слышишь, не нужны! — в ярости кричит Семен. — Подавись ты ими!.. — И вдруг глаза его наполняются слезами, он тяжело рушится на колени.

— Отпусти нас, Егор, избавь от греха... Неровен час — я чего-нибудь подожгу...

В глазах Трубникова — боль и мучительная, брезгливая жалость.

— Уезжай, — говорит он, — уезжай к чертовой матери, только не позорь ты себя передо мной...

...У дома Семена с заколоченными крест-накрест окнами стоит трехтонка, уже груженная доверху домашним скарбом навсегда покидающей родную деревню семьи.

Несколько женщин издали наблюдают за отъезжающими. На их лицах не заметно ни сочувствия, ни жалости, скорее — отчужденность и осуждение.

Доня с детьми забирается в кузов, Семен садится в кабину. Появляется Алешка, с угрюмым видом залезает в кузов.

— Где тебя черти носят? — ворчит Семен.

Грузовик трогается.

Трубников стоит на улице возле своего дома. Надежда Петровна из-за калитки с грустной нежностью глядит на мужа. Она понимает, что отъезда Семена для него поражение. Трубникову хотелось сделать того счастливым даже против его воли. Он давно списал Семену все его подлости и предательства, стремясь лишь к одному: чтобы тот признал его правду.

Грузовик поравнялся с Трубниковым, шофер слегка притормозил — может, захочет попрощаться с отъезжающими.

Доня высунула из-за узлов заплаканное лицо.

— Прощай, Егор, знать, больше не увидимся. Не поминай лихом.

Трубников молча наклонил голову.

Не получив ожидаемого знака, шофер прибавил газу. Семен даже не взглянул на Егора, зато Алешка так и прилип к нему глазами.

Надежда Петровна подошла и положила руку на плечо мужа.

— Что поделаешь, Егор, не мог Семен смириться..

Клубы едко воняющего дыма и пыли заволокли грузовик, затем он снова четко обрисовался уже в конце улицы.

Алешка все глядел и глядел на оставшуюся позади деревню.

И вдруг забарабанил по крыше кабины. Шофер резко затормозил.

Алешка выпрыгнул из кузова, обошел машину, вплотную приблизился к сидящему в кабине отцу.

— Прощай, батя.. Поклон тебе до сырой земли.. Хрен ты меня больше увидишь!

— Тэ-эк.. — Семен отвел взгляд в сторону.

Алешка прошел вдоль машины, кивнул матери. Младшие ребята, вцепившись руками за борт, чеграшами выглядывали из кузова.

Доня ткнулась лицом в платок. Машина тронулась..

Алешка остался на дороге.

— Хоть один в семье умный оказался, — скрывая за ворчбой радость, говорит Трубников Надежде Петровне.

— ...Егор Иваныч! — слышится истошный женский голос. — Егор Иваныч!

Подбегает раскрасневшаяся, с мокрым лицом старуха Самохина.

За ней бегут Нюра Валежина и другие работницы молочной фермы.

— Егор Иваныч! — Она всхлипнула. — Прасковья померла!

Трубников мертвенно побледнел.

— Ты что бреешь? Я утром ее видел!

— В одночасье скрутило! Подошла к сепаратору, схватилась за сердце и упала. Мы ей зеркала же ко рту — не дышит.

— Доктора надо! Темнота!

— Был доктор, — говорит, подходя, Кочетков. — Ей уже не поможешь.

И как нередко бывает во время несчастья, откуда-то враз набежало множество людей.

— Вели вывесить траурные флаги, — говорит Трубников Кочеткову и, заметив его неуверенное движение, твердо добавляет: — Да, флаги! Страна потеряла государственного человека!

Полощется траурный флаг. Улица запружена народом.

У крыльца дома, где прожила свою долгую жизнь Прасковья, стоит грузовик со снятыми бортами, обтянутый темной материей, — убранная цветами платформа. Двери распахиваются, и возникает гроб, который несут на своих плечах: впереди Трубников и Кочетков в военной форме, при всех регалиях, за ними — Игнат Захарыч, кузнец Ширяев, Павел Маркушев и плотник Коршиков. Затем появляются Нюра Валежина и Лиза Маркушева, несущие на подушках награды покойной — Золотую Звезду и орден Ленина.

Гроб устанавливают так, что мертвое лицо Прасковьи обращено к улице. И такая сейчас тишина над деревней, что негромкие слова Трубникова, обращенные к усопшей, слышны всем:

— Принимай парад, Прасковья!

Трубников шагнул вперед и взмахнул кнутом.

Оглушительно, словно ружейный залп, хлопнул пастуший бич.

И тут же в конце улицы ему ответил другой..

...третий...

...четвертый...

И впервые, собранное воедино, тысячное колхозное стадо потоком устремилось по улице, мимо гроба Прасковьи.

Идут могучие красно-пестрые холмогорки с тяжелым выменем, идут черные с белыми мордами задастые ярославки, идут остфризы, белые с вкраплением черного, угольно-черные с белыми пролысинами и веселой сорочьей расцветки; идут коровы с рогами круто выгнутыми, как у муфлона, только в другую сторону, с рогами торчком, как у кашмирской козы, с рогами в виде маленьких острых ножей.

Сшибаясь боками, вздымая густую медовую пыль, проходят коровы перед мертвой старухой и поворачивают морды к потонувшему в цветах гробу.

Идет стадо, такое огромное и величественное и вместе беспомощное без ежедневной, ежечасной заботы человека.

А Трубникову, стоящему возле гроба, вспоминается другое стадо: несколько жалких, тощих, облепленных навозом одров, которых Прасковья хворостинной выгоняла на первый выпас после зимней бескормицы. Вот с чего началось нынешнее великое стадо, проходящее сейчас по деревенской улице.

А та, что отдала этому столько труда и сердца, что первая отозвалась Трубникову, когда еще никто в него не верил, мертвыми, невидящими глазами провожает своих питомиц.

Но вот отдалился слитный топот многих тысяч копыт, и грохнула медь оркестра...

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Председатель» (2 серии). «Мосфильм». 1964.

Автор сценария — Ю. Нагибин. *Режиссер-постановщик* — А. Салтыков. *Оператор* — В. Николаев. *Художник* — С. Ушаков. *Композитор* — А. Холминов. *Звукооператор* — Н. Кропотов.

В ролях: М. Ульянов, И. Лапиков, Н. Мордюкова, К. Головкин, В. Этюш, А. Дубов, В. Владимирова, В. Невинный, Н. Парфенов, А. Кашперов, А. Богданова, А. Трусков, А. Крыченков, С. Курилов, Л. Блинова, А. Галченков и другие.

Так начиналась легенда

Пасмурный ноябрьский денек. Ветер морщит воду разлитых луж, затопивших деревню Шахматово, что лежит посреди гжатской равнины. По окоему луж изгибает палая листва. У крыльца избы-пятистенки застоявшаяся тройка переминается в жирной грязи. Позвякивают бубенчики на дуге коренника, хомутах и сбруе пристяжных. В их гривы и хвосты вплетены алые ленты. Кони запряжены в телегу, пышно набитую просяной соломой.

Распахнулась дверь из сеней — сваха и дружка вели невесту в фате и стареньком плюшевом пальтеце поверх белого венчального платья. Из-под юбки виднеются грубые мужицкие сапоги. У невесты терпеливое, приветливое, крепкое, в скулах, лицо, легкая, будто сострадательная улыбка.

Следом выходят немногочисленные родственники. Невесту подхватили под руки и трижды обвели вокруг возка. Чавкают по грязи сапоги. Дружка помог невесте забраться в телегу. Она истово перекрестилась на все четыре стороны.

— Родителей сюда! — зычно крикнул нарядный возница с перьями на шапке.

— Нету родителей! — отозвался дружка. — Сироту выдают!..

Возница дернул вожжи. Кони выхватили телегу из грязи и враз пошли ходко.

Венчание в деревенской церкви. Темные лики святых, свечи, ладанный дым. Перед алтарем — невеста и жених. Избранник шахматовской сироты — примерно одних с ней лет, поджар, смугловат, с темным озорным глазом.

Священник спрашивает, согласна ли раба божья Анна взять в мужья раба божьего Алексея и согласен ли Алексей принять Анну...

...Повизгивая полозьями, размашисто бежали розвальни от Гжатска, зримого низкорослой окраиной и дымами труб, в равнинный снежный простор. Алексей Иванович Гагарин, «повзрослевший» на двенадцать лет, вез жену из родительного дома, твердой рукой укрощая резвого меринка. Анна Тимофеевна прижимала к себе большой конверт с новорожденным.

Дома их с нетерпением ждали старшие дети: Валентин и Зоя.

— Вот Юрку вам привезли, — сказала Анна Тимофеевна, опуская конверт с младенцем на кровать.

— Юрка! — добродушно, во весь рот улыбается Валентин.

— Юрка! — вторит ему белобрысая Зоя.

Видимо, почуяв неладное, Анна Тимофеевна поспешно и ловко — третий ведь! — распеленала младенца. Так и есть — мокро.

— Ну вот, поплыл по морю, корабельщик! — любовно сказал счастливый отец.

Младенец шевелит руками и ногами, каждым пальчиком поврозь, но, вместо того чтобы разораться, как положено каждому писуну, улыбается своим маленьким розовым ртом...

Здесь возникает название фильма и первые титры...

...Разливистой весной 1961 года, в двенадцатый от начала апреля день, Алексей Иванович, не ведая о том, что уже стало достоянием всего мира, с инструментом в продолговатом ящике за спиной и пилой в рогожной заертке на плече отправился из Гжатска в Клушино по своему плот-

нищкому делу. В этом сильно постаревшем человеке мудрено высмотреть того молодого, смуглого парня с горячим темным глазом, каким мы видели его на свадьбе.

Сильно припадая на левую больную ногу, добрался он до переправы через Гжать и попросил дедушку-перевозчика доставить его на ту сторону.

— Только побыстрей, Петрович, запозднил я.

— Куда путь-то держишь?

— Да в Клушино. Подрядился новую чайную под крышу подвести.

Гагарин сложил в лодку свой инструмент, забрался сам.

Оттолкнувшись веслом, старик погнал лодку против мелкой волны.

— Слышь, Юрка твой в каком чине-звании?

— До старшего лейтенанта уже допер! — значительно сказал Алексей Иванович. — Будь здоров!

— Значит, не он, — решил перевозчик. — По радеву говорили: майор Гагарин на Луну полетел.

— Мало ли Гагариных летает, — философски заметил Алексей Иванович. — Может, когда и мой на Луну соберется... А тот, видать, отважный все ж таки парень!

Перевозчик согласно кивнул головой.

...Продолжаются титры. Теперь они идут на фоне хроникальных кадров полета космического корабля.

В Париже люди вырывают друг у друга свежие листы специального выпуска «Юманите».

В Берлине инвалид на протезе раздает прохожим непросохшие листовки с сообщением ТАСС.

Ликуют Лондон... Прага... София... Лагос... Мехико... Гавана...

Тысячи москвичей запрудили Красную площадь. Качают летчиков. Над толпой появляется плакат с портретом Гагарина.

На весь экран ложится чудесная гагаринская улыбка, заморожившая современников, затем медленно истаивает, замещаясь видом опаленной войной Гжатчины...

Стелются над равниной темные дымы. Бомбардировки уже сделали свое дело: горят железнодорожные строения, склады, горят деревни, стога сена, рончи, перелески. Ползут по дорогам нестройные толпы беженцев из Белоруссии, со Смоленщины, движутся навстречу им части подкрепления...

Угол зрения камеры все сужается, и наконец в зримом пространстве остаются лишь околица Клушина и малый дом, куда двадцать лет назад Алексей Гагарин ввел молодую жену, шахматовскую сироту — Анну.

Небогатое, но опрятное крестьянское жильё: русская печь в свежей побелке, поставец с выцветшими фотографиями в углу, рядом, — две-три похвальные грамоты, цветы на подоконниках, исхоженные, но стиранные половики, широкая кровать с горой белейших подушек.

Анна Тимофеевна собирает сына в школу. Она намазывает маслом ржаные толстые блины и заворачивает в газету. Кладет завтрак вместе с тетрадками, учебниками и пеналом в самодельный, обтянутый козелком ранец. Восемилетний Юра, чистенько одетый, причесанный и наглаженный, с волнением следит за сборами.

— Ты все положила?

— Все, все, сынок, надевай свою амуницию.

От волнения Юра никак не может попасть в лямки ранца. Анна Тимофеевна берет руку сына и просовывает в ременную петлю. Он нахлобучивает кепку и идет к двери.

— Не балуйся, сынок, слушайся учителей, — напутствует мать.

Юра быстро шагал по деревенской улице. Школа была расположена в другом конце деревни, за церковью и погостом. На церковной ограде, на стенах соседствующего с храмом сельсовета наклеены плакаты начала Великой Отечественной войны: «Родина-мать зовет!», «Будь героем!», «Смерть немецким оккупантам!», поблизости с десятком де-

ревенских жителей под командой ветерана-инвалида занимались разучиванием ружейных приемов и шагистикой. Боевое оружие, не имевшееся в наличии, заменяли гладко обструганные палки.

— К но-ге!.. — кричал ветеран. — На пле-чо!.. Смир-но!.. Разучиваем парадный шаг!..

Юра Гагарин подошел к школьному крыльцу, украшенному еловыми ветками; сюда тоненькими струйками стекались со всех сторон деревенские ребяташки...

..Анна Тимофеевна из-под руки следила за сыном. Прихрамывая, подошел Алексей Иванович Гагарин. Его костистое лицо притемнилось.

— Не берут, чтоб им повылазило! — проговорил в сердцах. — Как сруб стонять, так Гагарин, а как отечество защищать — пошел вон! Здоровьем я, вишь, им не угодил, чертям наповаженным!..

— Будет тебе, Алеша! — успокаивающе и печально сказала жена. — Никого не обойдет эта война проклятая.

— И то правда! — вздохнул Гагарин. — Люди сказывают, он к самой Вязьме вышел.

— Неужто на него управы нет?

— Будет управа в свой час.

— Когда же он настанет, этот час?

— Когда народ терпеть утомится...

Первый школьный день приближался к концу. Учительница Ксения Герасимовна предложила каждому новобранцу учебы прочесть свое любимое стихотворение. Сейчас, заикаясь и проглатывая слова, читала маленькая конопатая девочка:

...В каждом доме, в каждом чуме,

На полях, в фабричном шуме

Имя Ленина живет!.

И, вспыхнув всеми веснушками, девочка вернулась за парту.

— Молодец, Былинкина! — одобрила учительница. — Лупачев, теперь ты.

К столу учительницы шагнул толстый, молочный мальчик, похожий на мужичка с ноготок. Он аккуратно одернул свой серый пиджачок, прочистил горло и сказал, что любимого стихотворения у него нет.

— Ну так прочти какое хочешь, — улыбнулась учительница. — Пусть и нелюбимое.

Лупачев снова одернул пиджачок, откашлянул и сказал:

— А зачем мне нелюбимое запоминать? — И спокойно вернулся на свое место, ничуть не смущенный хихиканьем класса.

— Очень плохо, Лупачев, что ты не любишь стихов, — огорченно сказала Ксения Герасимовна. — Стихи делают красивее нашу жизнь... Гагарин!

Она еще не договорила фамилии, а Юра выметнулся из-за парты и стремглав — к учительскому столу.

— Мое любимое стихотворение! — объявил он звонко, скользя по классу загоревшимися глазами.

Он не заметил, что в окно за ним наблюдала мать, обеспокоенная долгим отсутствием сына, — первый школьный день действительно что-то затянулся.

Мой милый товарищ, мой летчик,
Хочу я с тобой поглядеть,
Как месяц по небу кочует,
Как по лесу бродит медведь.
Давно мне наскучило дома...

До этого места все шло прекрасно, на высшем вдохновении, но тут заело:

Давно мне наскучило дома...
Давно мне наскучило дома...

— Что ты как испорченный граммофон, — прервала его учительница. — Давай дальше.

— «Давно мне наскучило дома...» — сказал Юра затухающим голосом.

Класс громко рассмеялся. Юра поглядел возмущенно на товарищей, сердито — на учительницу, и тут пронзительно прозвенел звонок — вестник освобождения.

— Ну, хоть тебе и наскучило дома, а придется идти домой, — улыбнулась Ксения Герасимовна. — Занятия окончены!

Ребята захлопали крышками парт.

— Не разбегаться! Стройтесь в линейку!

— Как это — в линейку, Ксения Герасимовна?

— По росту.

Началась катавасия. Особенно взволнован Юра. Он мерился с товарищами, проводя ребром ладони от чужого темени к своему виску, лбу, уху, и таким способом неизменно оказывался выше всех. Со скромной гордостью Юра занял место правофлангового, но отсюда его бесцеремонно теснили другие, рослые ученики, и он в конце концов очутился почти в хвосте.

Но и тут не кончились его страдания. Лишь две девочки, в том числе конопатая Былинкина, согласились считать себя ниже Юры, но, оглянув замыкающих линейку, учительница решительно переставила Юру в самый хвост.

Он стоял, закусив губы, весь напрягшись, чтобы не рыдаться. А во главе линейки невозмутимо высился толстяк Лупачев, не знавший ни одного стихотворения.

— До свидания, ребята! По домам! — сказала учительница.

Юра опрометью кинулся из класса. И угодил в добрые руки матери. Она все видела, все поняла.

— Не горюй, сыночек, ты еще выше всех вымахашь!..

По деревенской улице гнали стадо. Сшибаясь крутыми боками, покорно брели черно-белые остфризы, потупив печальные, терпеливые морды, словно ведали, какой долгий и нелегкий путь им предстоит. За коровами шли бычки-годовики, толкаясь короткими рожками. И в слезах бежала за ними ослепшая от горя заведующая фермой Анна Тимофеевна Гагарина.

Она нагнала пожилого ветеринара, мужниного брата Павла Ивановича Гагарина.

— Иваныч, побереги теляток-то! Доставь в целости и сохранности!..

Тот ничего не ответил, только поглядел грустно и понимающе да перекинул в губах погасший окурочок.

— Паша... Пышкова... — обратилась Анна Тимофеевна к молодой женщине, сопровождавшей стадо. — Послаще им травку-то выбирай. А то грех на тебе будет.

— Не сумлевайся, Тимофеевна, — отозвалась Паша.

Замыкая стадо, прошла старая большая корова с иссякшим выменем, а за ней прокатилась войлочная груда овец похожая на громадный ком репейника. И в клубах пыли скрылось уходящее от войны колхозное стадо.

— Мам, не плачь, не надо! — просит невесть откуда взявшийся Юра.

— Как не плакать, сыночек, ведь сколько сил, сколько трудов отдано!.. — утираясь, произнесла Анна Тимофеевна.

Тишина разорвалась оглушительным треском моторов. Кинулась врассыпную деревенская живность, отыскивающая корм в траве обочь дороги, завыли цепные псы. Дико, невероятно и жутко, как в больном сне, над деревней пронеслись два краснзвездных самолета, за одним из них тянулся хвост черного дыма. Внезапно возникнув, они так же внезапно скрылись, только грохот их еще колебал воздух. Казалось, самолеты сели на картофельное поле за деревней.

Юра оторвался от матери и бросился в поле. Еще несколько деревенских ребятишек последовало его примеру.

Их ожидало разочарование: на обширном поле за деревней не было и следа самолетов. В разных местах подымались дымы, но то были костры пастухов, угоняющих на восток смоленские стада, костры беженцев или же то догорали строения, подожженные немецкими зажигалками.

— Улетели, видать...

— К базе своей потянули...

Ребятишки повернули назад. Юра остался. Он жадно оглядывал окрестность, вдруг сорвался и побежал через поле к можжевельной поросли, за которой в низине лежало болото.

Там они оказались. Один самолет, целехонький, стоял на твердой земле, другой исходил последним дымком в темной жижке торфяного болота. Видно, его погасило болотной влагой.

Юра подошел совсем близко, но пилоты не замечали его. Старший бинтовал своему молодому белобрысому товарищу раненую руку. Тому было очень больно, и, чтобы скрыть это, он на все лады честил Гитлера:

— В бога... в душу... в мать Адольфа!..

— Больно, да? — спросил старший.

— Чепуха!.. Если бы не ты, стучаться бы мне у райских врат.

— Ладно!..

— Я тебе этого сроду не забуду.

— Не трави баланду! — сердито оборвал старший. Он кончил бинтовать и заметил Юру. — Эй, пацан, это что за деревня?

— Это не деревня — село, — застенчиво пробормотал Юра.

— Вот формалист! Ну, село...

— Клушино.

Летчик достал из планшета карту, развернул.

Юре очень хотелось посмотреть, что это за карта, но, уважая военную тайну, он пересилил себя.

— Понятно, — пробормотал летчик. — Как звать-то?

— Юра.. Юрий Алексеевич.

— Ого! А фамилия у тебя есть?

— Гагарин.

— Хорошая фамилия, княжеская.

— Не, мы колхозные.

— Того лучше. Председатель у вас толковый?

— Ага.. — И, вспомнив слова, что говорили взрослые, Юра добавил серьезно: — Хозяйственный и зашибает в меру.

Оба летчика рассмеялись.

— Вон как здорово! Записку ему отнесешь.

Подложив планшет под листок, вырванный из блокнота, пожилой летчик принялся что-то писать.

— Дядь, а вас на фронте подбили? — спросил Юра раненого.

— Факт, не в пивной, — морщась, ответил тот.

— А он чего так низко летел? — спросил Юра о старшем.

— Меня прикрывал.

— Как — прикрывал?

— От врагов оборонял. Это, браток, взаимовыручкой называется. Запомни это слово.

— Я запомню. Дядь, а когда летаешь, звезды близко видны?

— Еще бы! — усмехнулся раненый. — Как на ладони.

— А там кто есть?

— Вот не скажу. Так высоко мы еще не залетали. А сейчас и вовсе не до звезд. Начнешь звезды считать — тут тебе немец и всыпет.

— Значит, вы звезды считали?

— А тебе пальца в рот не клади! Я ихнюю колонну поливал и от снаряда не уберегся.

— Слушай, Юрий Алексеевич, тебе боевое задание, — сказал пожилой летчик. — Передашь вот эту записку вашему преду. Понятно?

— А вы не улетите? — с тоской спросил мальчик.

Летчики переглянулись.

— Мы здесь зимовать останемся, — пошутил молодой.

— Нам воевать надо, — серьезно сказал старший. — А ну-ка, исполнять! Живо! Одна нога здесь, другая там!

Юра опрометью кинулся выполнять первое в своей жизни боевое задание...

По пути он чуть не сшиб с ног горбатенькую соседку тетю Пашу.

— Ишь, оглашенный!.. Глаза потерял?..

— Теть Паша, ты председателя не видела?

— На площади он... Ополченцев провожает.

Юра попал на «площадь» — утоптанное малое пространство перед правлением колхоза с биллом посередине, — когда председатель Сурганов заканчивал напутственное слово клушинским народным ополченцам.

— ...От века клушинцы бесстрашно ломали горло врагам России. Не посрамит боевой славы нашей земли клушинское народное ополчение. Ждем вас с победой, товарищи!..

Председатель вроде хотел еще что-то добавить, но тут его кто-то сильно потянул за локоть. Он оглянулся и увидел гагаринского мальчонку.

— Чего тебе?..

Юра таинственно поманил его в сторону. Сурганов удивленно повиновался и получил в ладонь записку летчиков. Пока он разбирал наспех набросанные строки, ополчение построилось в походный порядок, развернулось и двинулось в сторону Гжатска. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» — хрипловато и дружно понеслось над Клушином.

— Все ясно, — сказал председатель. — Они на болоте?

— Ага, за вырубкой.

— Ладно. Задание ты выполнил. Можешь быть свободен. Только ни-ни! — Скрывая улыбку, Сурганов прижал палец к обветренным губам. — Военная тайна...

Анна Тимофеевна не без любопытства наблюдала за таинственными переговорами сына с председателем, но тут внимание ее отвлек Алексей Иванович, возникший неведь откуда и присоединившийся к колонне ополченцев. Он был повязан ремнем поверх своего вытертого пиджака, в сапогах и старой армейской фуражке, с «сидором» за плечами. Она охнула, бросилась было к нему, но вдруг раздумала.

Командир ополчения подошел к непрошеному хромому добровольцу и что-то сказал ему. Алексей Иванович сделал вид, что не слышит, и продолжал шагать в строю. Командир, приблизив ладонь ко рту, бросил какую-то коман-

ду, ополчение прибавило шаг. Гагарин изо всех сил старался не отставать.

Ополчение перевалило через бугор и двинулось чуть не на рысях полем в ту сторону, где небо обливалось зарницами залпов. Гагарин отстал. Он старался изо всех сил, но против рожна не попрешь — не позволяла калеченая нога. Он отставал все сильнее и сильнее. Потом остановился, грустно и сердито поглядел вослед уходящим, плюнул и повернул назад.

Анна Тимофеевна успокоилась. Теперь внимание ее переключилось на сына.

— О чем это ты с председателем шептался? — спросила она подозрительно.

— Военная тайна, маманя.

— Вот высыплю горячих, будешь знать военную тайну! — обозлилась Анна Тимофеевна.

— Да за что?... — вскрикнул Юра, предусмотрительно отступив.

— Самостоятельные больно стали!.. — проворчала Анна Тимофеевна.

И тут она заметила, что Алексей Иванович пробирается задами, сквозь заросли крапивы и чертополоха, к дому. И, щадя его потерпевшее урон самолюбие, сказала:

— Давай к тетке Дарье заглянем, она мне дрожжей обещала.

Мать с сыном пошли другой улицей...

...Алексей Иванович раздвинул ветви жимолости и почти наткнулся на чернявого, цыганистого мужика, смолившего сигарку у плетня. Мужик поглядел на него насмешливо.

— Что, не утнался?

— А тебе какое дело? — огрызнулся Гагарин.

— Не горюй, Иваныч, — с той же насмешкой продолжал цыганистый мужик, — целей будешь. От этого воинства затрапезного и кучки дерьма не останется.

— Ну ты, полегче! — вскипел Гагарин. — Люди на бой пошли!..

— Какой бой, Иваныч? Чем они биться-то будут? Учебными винтовками — одна на десятерых?

— Рано, гляжу, тебя из тюрьги выпустили.

— Не-ет!.. — Мужик явно издевался. — В самый, как говорится, раз! Ты еще убедишься, Иваныч, что в самый-самый час свой вышел я на волю!

Это прозвучало угрожающе. Но Гагарин был не из пугливых.

— Я-то, правда твоя, не утнался. А ты, похоже, в кусты?..

— Грызь у меня, Иваныч, — нарочито жалобно сказал мужик. — Однокамерники каблуками все кишки отшибли.

— Доносил, что ли?

— Грубо, Иваныч! Есть культурное слово: ин-фор-ми-ро-вал..

— А по мне: как донос не называй, он все равно донос!

...По пути Анне Тимофеевне и Юре попался холмик с деревянной оградой и белым, источенным мохом камнем, на котором не разобрать было надписи. Холмик усыпан поздними осенними цветами: астрами, георгинами, золотыми шарами.

Анна Тимофеевна сдержала шаг.

— Видал? Хорошо было — все забросили могилу Ивана Семеныча, пришло лихо — вспомнили, кто тут Советскую власть делал.

— Мамань, его белые убили?

— Мятеж контрики подняли сразу после революции. Ну, которые деревенские коммунисты, в подполье ушли, а Сушкин Иван Семеныч отказался. Я, говорит, ничего плохого не сделал, зачем мне прятаться! Чистой, детской души был человек. Прискакали сюда конные, взяли Ивана Семеныча прямо в избе, повели на расстрел, да не довели, на-смерть прикладами забили.

Постояли, посмотрели на могилу первого клушинского коммуниста мать с сыном и двинулись дальше...

Ночью Юра ворочался, стонал во сне, вскрикивал. То ему снились проносящиеся над деревней с яростным грохотом самолеты, то гордый сельский коммунист Иван Семенович Сушкин, не склонивший головы перед мятежной контрой...

Он вскочил ни свет ни заря, когда вся семья еще спала, и опрометью кинулся к своим друзьям-летчикам.

Юра бежал напрямик сквозь мокрый от росы орешник, через овраг, острекался злой осенней крапивой, но все равно опоздал. Летчиков не было. Лишь в темной торфяной жиже сиротливо торчал полузатонувший истребитель. Носовая его часть была разворочена и черна от сажи — перед отлетом летчики вывели из строя мотор.

Юра с грустью поглядел на пепельный кружок костра, на глубокие борозды, оставленные самолетом, унесшим летчиков.

А потом, перепрыгивая с кочки на кочку, добрался до полузатонувшего самолета и залез внутрь. Занял место пилота, положил руки на штурвал, и его детское лицо исполнилось недетской серьезности. Он чуть повернул штурвал, перед ним распахнулось небо, а внизу легла земля в квадратах полей и лесов, в тенях облаков.

...И сместилось время — курсант Саратовского аэроклуба Юрий Гагарин совершает первый в жизни самостоятельный полет.

Гагарин сделал круг над аэродромом и приземлился возле посадочного знака. Спрыгнув на землю и стараясь не выдавать обуревавшего его восторга, отрапортовал инструктору Мартьянову:

— Товарищ инструктор летного дела, задание выполнено!

— Молодец! Поздравляю! — Мартьянов шагнул вперед и крепко обнял Гагарина.

— Для первого полета совсем неплохо, — заметил подошедший к ним седоусый генерал авиации со Звездой Героя на кителе. — Какой путь себе избрали? — обратился он к курсанту.

Гагарин смешался, за него ответил Мартьянов:

— Индустриальный техникум кончает, будет литейщиком.

— Хорошее дело, — наклонил крупную голову генерал. — А только он прирожденный летчик. Мог бы стать Пилотом с большой буквы.

— Я хочу летать, товарищ генерал! — вдруг звонко сказал Гагарин. — Я ничего другого не хочу!..

— Вон как! — Генерал внимательно посмотрел на курсанта. — Фамилия?

— Гагарин.

— Хорошая фамилия, княжеская, — усмехнулся генерал.

— Не, мы колхозные, — как во сне произнес Гагарин.

— Боже мой! — Генерал приложил пальцы к седому виску. — Я уже слышал однажды эти слова...

— Под Клушином... за Гжатском... в начале войны... — взволнованно проговорил Гагарин.

— Надо же!.. Вот уж правда: гора с горой не сходится, а человек с человеком!.. Значит, звезды по-прежнему зовут?

— Зовут, товарищ генерал, — ответил Гагарин...

...Очнулся за штурвалом восьмилетний Юра, провел рукой по глазам. На лице его затухает странная улыбка. А вокруг все то же: мертвый самолет, пустынное болото, тающий туман, дымы по окоему пространства, ворчание приближавшейся войны...

Учительница Ксения Герасимовна повела первоклассников на экскурсию. Совсем недалеко — просто за околицу.

Гжатская земля, село Клушино и его окрестности не раз оказывались ареной ожесточенных битв русского во-

инства с иноземными захватчиками. А в глубокую старину русские богатыри стояли тут на страже молодого зарождающегося государства.

И сейчас учительница показывает ребятам округлую насыпь, по которой проложена узкая дорожка.

— Эти насыпи называются «жилища богатырей», — поясняет Ксения Герасимовна. — Кто знает почему?

Ребята молчат.

— Тут богатыри жили? — высказал предположение толстый мальчик Лупачев.

— Не просто жили, а землю русскую охраняли. И друг с дружкой перекликались. — Учительница вскарабкалась на насыпь и, поднеся ладони рупором ко рту, закричала: — Ого-го!.. Спокойно ли у вас, други-витязи?.. Не тревожит ли рать вражеская?..

Она очень трогательна сейчас, эта немолодая женщина со встрепанными ветром седеющими волосами. Юра Гагарин пристально смотрит на учительницу. В ушах его звучит:

— Нет покоя нам, други-витязи!.. Тучей черной ползет рать вражеская!..

Юра встряхнул головой, прогнав наваждение.

Ксения Герасимовна подвела ребят к могильному кургану.

— А здесь покоятся русские воины, которые в семнадцатом веке гетмана Жолкевского на Москву не пускали.

Страшная битва была. Воевода Дмитрий Шуйский, царев брат, чуть не всю рать положил. Но и от воинства гетмана не много уцелело. Жолкевский говорил: «Еще одна такая победа, и нам конец»... А вот скажите, ребята, кто еще через Клушино на Москву шел?

— Наполеон!.. — враз вскричало несколько учеников.

— Правильно, Наполеон... Вот какое историческое место наше Клушино!

— Ксения Герасимовна, а Гитлер сюда придет? — спросил Лупачев.

— С чего ты взял? — вспыхнула учительница.

— Беженцы говорят, он уже под Гжатском.

— Москвы Гитлеру не видать как своих ушей, — твердым голосом сказала Ксения Герасимовна, уклонившись, однако, от прямого ответа.

Дети это почувствовали.

— Ну а к нам? — настаивал Лупачев.

Ответа не дождался. Из-за леса на низком, почти бреющем полете стремительно вынесся самолет и хлестнул пулеметной очередью.

— Ложитесь! Ложитесь! — закричала Ксения Герасимовна.

Дети распластались на земле где кто стоял. Им отчетливо были видны пауки свастик на крыльях и черные кресты на фюзеляже.

Самолет пошел на деревню. Громко, отчетливо забили его крупнокалиберные пулеметы.

— Зажигалки! — крикнула Былинкина. — Он кидает зажигалки!

Дети вскочили на ноги.

В стороне деревни взметнулось пламя, столбами повалил черный дым.

— Школа горит! — крикнул Гагарин.

Со всех ног дети кинулись к деревне.

— Стойте, ребята!.. Куда вы?.. — тщето взывала Ксения Герасимовна.

Никто ее не слушал, и учительница тоже побежала.

Когда они достигли Клушина, немецкий самолет, сделав свое черное и бессмысленное дело, убрался восвояси. Деревня горела в разных концах. Пылали коровник, водочка, несколько изб, горела школа.

Неподалеку от школьного крыльца лежала расстрелянная с самолета молодая женщина.

— Дуня... Позднякова... — узнали ребята клушинскую почтальоншу.

Ксения Герасимовна сняла с головы шерстяной платок и прикрыла лицо погибшей.

От конторы подбежали мужики, с ног до головы испачканные глиной, — видать, отлеживались в огороде. Они подняли Дуню и отнесли.

И тут все услышали плач, прерывистый, взхлеб, похожий на кудахтанье.

На чурбаке, у поленницы дров, сидела маленькая девочка и горько плакала, прижимая кулаки к глазам.

Ребята окружили девочку. Ксения Герасимовна опустилась перед ней на землю.

— Ты кто такая?

Рыдания стали громче.

— Откуда ты, девочка?

Ксения Герасимовна сильно и умело отвела кулаки девочки от глаз. Открылось мокрое веснушчатое личико с заплаканными черными глазами. Она была невиданно весновата, лицо ее напоминало апельсин, и дети сразу оценили это маленькое чудо.

— Вот это да! — восхитился толстяк Лупачев. — Она пестрей Людки Былинкиной!

— Сравнил тоже! — подхватил чернявый как жук Пека Фрязин. — Людке до нее, как до небес!

— Помолчите, ребята! — строго сказала Ксения Герасимовна. — Ты откуда, девочка?

— Мясоедовские мы, — по-взрослому ответила девочка.

— Как тебя звать?

— Настя.

— А фамилия?

— Жигалина.

— Постой, ты не предколхоза дочь?

— Ага.

— А как ты здесь очутилась?

— Меня мамка привела. К тете Дуне жить...

— Дуня вам родня?

— Ага. Она тети Валина дочка.

— А где же твои родители?

— Папка в этом... ополчении, а мамка в госпитале.

Ксения Герасимовна чуть помолчала, что-то соображая про себя.

— Слезами горю не поможешь, — решительно сказала учительница. — Пойдем, будешь у меня жить...

...Клушинская школа расположилась в помещении колхозного правления. Сюда же переколотили школьную вывеску.

После уроков, когда ребята гуртом выкатились на улицу, толстяк Лупачев предложил Пеке Фрязину:

— Эй, жук, давай из новенькой «масло жмать»!

— Лучше из тебя жмать, жиртрест! — огрызнулась новенькая — Настя Жигалина.

Ей бы помолчать — из новеньких всегда «жмут масло», и ничего страшного тут нет, но ее насмешка обозлила Лупачева, а строптивость — Пеку Фрязина. И «жмать» ее стали с излишним азартом.

— Да ну вас!.. Дураки!.. Пустите!.. — крикнула Настя. — Да ну вас, черти паршивые!.. — В голосе ее послышались слезы.

Но ее вопли лишь придавали прыти «давилыщикам», они разбегались и враз прижимали девочку с боков. Настя захныкала. И вдруг вместо податливого Настиного тела Лупачев встретил чье-то колючее плечо, ушибся о него ребрами и отлетел в сторону.

— Ты чего?.. — пробормотал он обиженно, но сдачи не дал, ибо отличался миролюбивым нравом и задевал лишь тех, кто был заведомо слабее его. А с Юркой Гагариным, известно, лучше не связываться. Вот Пека Фрязин попробовал — и оказался на земле. Вскочил, сжал кулаки — и снова уткнулся носом в грязь. И главное, Юрка не злится вовсе, губы улыбаются, глаза веселые, блестящие и... опасные. А крепок он, как кленовый корешок. Нет, лучше с ним не связываться. Да и на кой она сдалась, эта конопатая плакса! И Лупачев пошел себе потихоньку прочь, а за ним, ругаясь и грозясь, ретировался отважный Фрязин.

— Не плачь, — сказал Юра девочке. — Они же в шутку. Настя дернула носом раз-другой и успокоилась.

— Какой ты сильный! — сказала она восхищенно. — Здорово дал!

— Да это понарошку, — отмахнулся скромный рыцарь. — Слушай, ты умеешь хранить тайну?

— Ага!

— Побожись, что никому не скажешь.

— Гада буду!.. — Веснушчатое Настино лицо выражало трепетное любопытство.

— Тогда пошли!..

И ребята быстро зашагали по деревне в сторону околицы..

...— Видишь? — Гагарин показал на торчащие из болота останки самолета.

— Чего? — В глазах Насти полнейшее равнодушие.

— Как — чего? Самолет! — И с гордостью: — Это мой самолет, никто о нем не знает.

— Ну да? — вежливо удивилась Настя.

— Рыжим буду!.. Тут наши летчики сели. Одного немцы подбили, а другой его прикрывал. Взаимо-выручка, — выговорил он важно, хоть и не без труда. — Хочешь, покатаемся?

— А он же сломанный, — резонно заметила Настя.

— Да нет же!.. Знаешь, как летает? Будь здоров! Надо только залезть туда и сильно-сильно захотеть. Я сколько раз летал!.. Правда.

Настя весьма скептически относится к Юриному энтузиазму, но, как существо женственное, чувствует, что это из тех мужских глупостей, которым лучше верить или хотя бы делать вид, будто веришь, если не хочешь потерять друга.

— Ну, давай... — Она шагнула вперед и сразу провалилась в торф. — Топко!..

— Полезай на закорки!

Юра пригнулся, Настя обхватила его руками за шею и повисла у него за спиной. Он пересек узенькую полоску

болота и опустил ее на крыло самолета. Вскарabкался сам и помог ей забраться в кабину.

— Держись крепче. Сейчас мы взлетим.

Он делает вид, будто заводит мотор, берет на себя штурвал и отменно имитирует воющий звук самолета.

Чуть побледнев, Настя смотрит на плывущие по небу облака.

— Поднимаемся! — ликует Юра. — Чувствуешь, как высоко?

То ли налетел ветер, убыстрив ход облаков и облив тугими струями искалеченный фюзеляж и разгоряченные щеки, то ли такова власть чужой убежденности и веры, но Настино сердце на миг испытало ощущение полета. Она зажмурилась и закинула голову назад, маленький рот чуть приоткрылся. Вслед за тем она испуганно распахнула глаза и крикнула:

— Назад хочу!

— Идем на посадку! — радостно откликнулся Юра.

Он перенес Настю на твердое.

— Понравилось летать?

— Ага, — сказала она равнодушно и уже совсем иным тоном — живым и мечтательным: — Пирожка бы сейчас!

— Оголодала?

Настя замотала головой.

— Я сытая. Пирожка охота... У нас каждый-каждый день пироги пекли. С яйцами, грибами, капустой, рисом, с яблоками, вишнями, черникой...

— А ты, видать, балованная! — засмеялся Гагарин.

— Конечно, — с достоинством подтвердила Настя. — Я моленное дитя.

— Как это — моленное?

— Папка с мамкой никак родить не могли. И бабка покойная меня у Бога вымолила.

— А разве Бог есть? — озадачился Юра.

— Только у старых людей. У молодых его не бывает.

— Жалко! — снова засмеялся Юра. — А то бы мы пирожка намолмили!

— Посмейся еще! — обиделась Настя. — Я с тобой водиться не буду.

— Знаешь, — осенило Юру, — пойдем к нам. Мать вчера тесто ставила. Насчет пирогов — не знаю, а жамочку или пышку наверняка стрельнем.

— Пышки с вареньем — вот вкуснота! — плотоядно зажмурилось моленное дитя...

...Но пока настал черед сладким пышкам, им пришлось отведать кисленького. У Гагариных сидела встревоженная и обозленная Ксения Герасимовна.

— Явились — не запылились! — приветствовала она появление нежной пары. — Я тут с ума схожу, а им и горюшка мало. Куда вы запропастились?

— Да никуда, — подернул плечами Юра. — Просто гуляли.

— Дышали свежим воздухом, — присовокупила Настя.

— Видали? — всплеснула руками Ксения Герасимовна, и седые волосы ее взметнулись дыбом от возмущения. — Воздухом они дышали! — Она повернулась к Анне Тимофеевне, с укоризной поглядывающей на сына. — Недовольна я вашим парнем, Анна Тимофеевна, очень недовольна.

— Чего он еще натворил? — огорченно спросила Гагарина.

— Ведет себя кое-как...

В избу вошел Алексей Иванович и остановился у печи, чтобы не мешать разговору.

— ...дерется, товарищей обижает.

— Сроду никого не обижал, — сумрачно проговорил Юра.

— Вспомни, что было после уроков...

— А зачем они с меня «масло жмали»? — вмешалась Настя.

— Не «жмали», а «жали», Жигалина, — по учительской привычке поправила Ксения Герасимовна и слегка покраснела. — Прости, Гагарин, я не знала, что ты заступился... Ладно, пошли домой, Настасья!

Зоя внесла кипящий самовар, поставила на стол.

— Может, чайку попьете, Ксения Герасимовна? — предложила Гагарина. — С горячими пышечками.

— Спасибо, Анна Тимофеевна. Мне еще гору тетрадок проверять. Бывайте здоровы.

Учительница увела разочарованную Настю, но Юра успел — уже в сенях — вручить своей подружке кулечек с теплыми пышками...

..Семья Гагариных в полном составе чаевничает под семейной лампой. Не скоро соберутся они так вот вновь за общей домашней трапезой. Меньшой, Борька, сидит на коленях матери.

— Гагарины завсегда отличались бойцовой породой, — рассуждает Алексей Иванович, направленный в это воинственное русло известием о подвигах сына...

— Ладно тебе, Аника-воин! — Анне Тимофеевне не по душе такие разговоры.

— Правду говорю. Батька мой Иван Гагара — первый кулачный боец во всем уезде был.

— Сказал бы лучше, первый выпивоха и дебошир.

— И это верно. Он мог ведро принять — и ни в одном глазу. А ты злишься, что он ваших шахматовских завсегда колотил.

— Подумаешь, заслуга! В моей семье не дрались. Мы народ пролетарский, путиловской закваски.

— И мясоедовских пластал, — не слушая, продолжал Алексей Иванович. — Никто против него не мог устоять.

— Папань, а правда, он, поддамши, избу разваливал? — спросил Валентин.

— Не разваливал, а разбирал по бревнышку. И в тот же день обратно складывал. Золотые руки! Отменный мастер, герой, победитель!

— Шатун, перекасти поле... — вставила Анна Тимофеевна, которая явно была настроена против героизации этого гагаринского предка.

Но парни, кроме несмышленища Борьки, и даже женственная Зоя слушали отца с восторгом: светила им легендарная фигура основоположника рода.

— Все Гагарины волю любят, — веско сказал Алексей Иванович. — Я вон тоже побродил по белу свету...

— А чего хорошего? — перебила Анна Тимофеевна.

— Как — чего? Людей поглядел, чужие города, места разные интересные, озера, реки. Человеку нельзя сиднем сидеть. Ему вся земля нужна...

— И все небо, — будто про себя проговорил Юра.

— Правильно, сынок! И все небо, и все звезды...

— Размечтались!.. Шумел, колобродил Иван Гагара, а пропал ни за грош.

— Убили?.. — охнула Зоя.

— Заснул и под поезда угодил.

— А все равно он жить умел, радоваться умел. Великое это дело — радость любить. Тогда ничего не страшно.

— Тут я с тобой согласная: чтоб ни случилось — держи хвост морковкой! — заключила Анна Тимофеевна...

На рассвете Гагариных разбудил рев танков. Выскочили из дома — к околице, жуя землю гусеницами и разбрызгивая грязь, подошли два черных, обгорелых, с оплавленной броней танка и подрулили к колодцу. Тоже черные, в крови и копоти, танкисты выскочили из горячих машин и стали жадно пить, остужая раскаленное нутро.

— Родненькие, как там положение у нас? — обратилась к ним Горбатенькая.

Ничего не ответили танкисты, только рукой махнули. Забрались назад в танки и ушли, но не к фронту, а в обратном направлении.

— Не туда наступаете, ребята! — крикнула им с болью Горбатенькая.

А вскоре процокала копытами и конная часть, видать, тоже из боя. Под фуражками бинты, кровь на ватниках. Иные лошади шли в поводу: выбели их седоков из строя.

Мрачно смотрели клушане на отходящее воинство. Ничего уж не спрашивали, и так все было ясно...

Вечером в просторной и пустой избе Горбатенькой набилось чуть ли не полдеревни женщин — все безмужние, среди других и Ксения Герасимовна с Настей. Миром не так страшно лихо встречать. Унылые велись речи:

— Немцы уже в Гжатске...

— Не иначе, ночью придут...

— Что с нами будет?..

— Самое, говорят, страшное — первые дни...

Горбатенькая и Ксения Герасимовна шептались в уголке.

— А председатель ваш убрался? — спрашивает Горбатенькая учительницу.

— Убрался. Все оставшиеся коммунисты в лес ушли.

— И слава богу! Их бы не помиловали.

В избу явилась со всеми чадами Анна Тимофеевна. Четырнадцатилетняя рослая Зойка, измазанная сажей, в залосненном ватнике и драном платке, испуганно жалась к матери.

— Ты чего это оделась, как от долгов? — подскочила к ней Горбатенькая.

— Для маскировки, — сумрачно отозвалась Зоя.

— А чтоб они Зоеньку не обидели, — пояснила Анна Тимофеевна. — Ее все за взрослую принимают.

— Будто они малолетками гребуют, — бросила Горбатенькая.

— Примешь гостей, Пашунчик? Или у тебя без нас тесно?

— Та чего там, Тимофеевна, устроимся! — отозвалась Горбатенькая. — Хозяина-то куда дела?

— На печи лежит. Ногу ему схватило.

Пришедшие устраиваются на полу, возле Ксении Герасимовны. Горбатенькая дает им подушки без наволок, разное тряпье, старый тулуп. Они ложатся. Анна Тимофеевна одной рукой обняла дочь, другой — младшего, Борьку.

Юра толкнул в спину Настю и незаметно передал ей гостинец. Настя накрылась с головой одеялом и захрумкала.

— Не бойтесь, Тимофеевна, — шепнула учительница. — Мы врагу не дадимся. — И показала старый музейный пистолет.

— Где же это вы откопали? — ужаснулась Анна Тимофеевна.

— Из реквизита драмкружка. Наполеоновский!

— Спрячьте его подальше, за-ради бога! Беды с ним не оберешься.

Горбатенькая потушила лампу. Темнота. Тишина. Громко тикали ходики. Завыла собака на улице. И выла так истошно, выматываяще и долго, что не было сил терпеть. Опять настала тишина, только стучали ходики, будто отсчитывая последние мгновения жизни. И никто не знал, в глухую ночь или под утро деревня наполнилась ревом моторов, чужими страшными голосами, топотом, лязгом.

Дверь распахнулась, ударил свет электрического фонарика. Световой кружок забегал по лицам. Люди жмурились, закрывались рукой. Бортом ватника, ветошкой, иные вперяли в зашельца полные ужаса глаза.

Анна Тимофеевна, будто в сонном беспмятстве, навалилась на дочь, закрыла ее собой. Ксения Герасимовна сжимала в руке наполеоновский пистолет. Настя капризно куксилась и терла глаза кулаками.

Немец продолжал водить фонариком, не пропуская никого в избе. Он видел ужас, страх, притворство, растерянность, настороженное любопытство, смятение, но ничто не задевало очерстневшего сердца старого солдата. И тут лучик его фонаря упал на спящего. Да, в этом испуганном человеческом массиве один продолжал крепко спать — мальчик лет восьми. Солдат приблизил фонарик к его лицу. Не было никаких сомнений — он действительно спал, мерно и глубоко дыша, посреди этой грязной ночи. Что-то вызывающее было в этом спокойном, безмятежном сне.

Немец усилил свет фонарика и направил луч прямо в глаза мальчика. Тот сморщился, чихнул, открыл круглые блестящие глаза и, не жмурясь, поглядел прямо в свет фо-

наря и улыбнулся, то ли незнакомцу в зеленой ядовитой шинели, то ли еще не истаявшему в нем сновидению, то ли побудке, обещающей продолжение жизни.

И Ксения Герасимовна, цепенеющая рядом, одна поняла те странные слова, которые сказал на своем языке немолодой, с усталым лицом немецкий солдат:

— Ну и глаза у этого мальчишки! Ну и глаза!.. Какие же сны ему снятся, если он может так смотреть!..

Свет фонарика погас, скрипнули половицы, захлопнулась за солдатом дверь.

— Юр, Юр, что тебе снилось? — шепотом спросила учительница.

— А как мы раков решетом ловили... — зевнув, ответил мальчик...

С того утра стало Клушино не советской колхозной деревней, а оккупированной территорией. Всюду звучала немецкая речь, немецкие песни, немецкие марши. По улицам бегали солдаты в зеленых шинелях. Рычали немецкие грузовики. Тарахтели немецкие мотоциклы.

Во двор к Гагариным въехал небольшой грузовик, а в нем — тридцатилетний румяный верзила с фельдфебельскими погонами. Он вошел в дом, хозяйским взором окинул скромный крестьянский уют, сбросил на пол рюкзак, автомат, противогаз, швырнул на чистую крахмальную постель грязную зеленую шинелишку и произнес такой монолог, мешая немецкие и русские слова:

— Их бин фельдфебель Альберт Фозен, аус Мюнхен. Тут у вас ганц гут, карашо, кейне швейнерей. Их блейбе хир. Буду проживать. — Он сильно втянул воздух носом и аж задрожал под мундирчиком, почуяв запах печеного хлеба. — Эй, матка, давай брот, булька, хлииб!

— Никст, пан, брот, — ответила по-немецки Анна Тимофеевна. — Откуда хлебу-то взяться? Твои камрады утресь заходили, весь брот, всю муку забрали.

Фельдфебель потыкал в свой нос.

— Врать, врать! Рус всегда врать! Хлеб есть!..

— Нет, пан!.. Никст!.. Не веришь — сам поищи!..

Альберт выскочил наружу и позвал сидящего переводчика, прыщавого малого в немецких брюках и ватнике. Переводчик понимающе закивал головой, они вдвоем вошли в дом.

— Будет вам дурочку строить, — сказал толмач. — Вы немца обмануть можете, только не меня. Пекли вы хлеб, нешто я запаха не чувствую.

— А мы и не отказываемся. Пекли. Только забрали у нас все до крошки.

— Кто забрал? Укажите.

— Помилуй, пан! Нешто мы в них разбираемся? Все на кузнечиков похожи. Такие же оголодавшие товарищи, как вот этот. — Анна Тимофеевна кивнула на фельдфебеля Фозена.

Толмач посмотрел сумрачно.

— Помалкивай, целее будешь.

— Спасибо за добрый совет.

Тут фельдфебель что-то заорал, брызгая слюной от ярости, а руками показывая на дверь.

— Он говорит, чтобы вы катились отсюда к чертовой матери.

— Куда же мы пойдём из собственного дома?

Немец понял и без переводчика:

— Цум тейфель!.. Ин дрек!.. Ин бункер!.. Ин келлер!.. Ин шайсе!..

— Вон сколько мест, чего и выбрать!..

— Переселяйтесь в погреб, коли не хотите, чтобы вас вовсе со двора выгнали, — порекомендовал толмач.

Альберт продолжал выкрикивать какие-то раздраженные фразы.

— Он говорит: забудьте, что это ваш дом. Это его дом. Он будет здесь жить всегда. Он привезет сюда свою жену Амалию и деток. А вы будете служить им, и ваши дети будут служить, и ваши внуки.

И тут с печи, крепко напугав немца, спрыгнул в одних подштанниках занедуживший Алексей Иванович Гагарин.

— Ладно, заткни фонтан! Мы и сами тут не останемся. Нам вольного воздуха не хватает. Забирай, мать, барахло! — И, стянув с вешалки ворох старой одежды, он первым направился в огород...

...До позднего вечера трудились всей семьей Гагарины, приспособившая под жилье холодный погреб. Копали землю, натаскивали дерну, утепляли, оборудовали печурку с трубой. А тем временем Альберт Фозен превращал их сарай в мастерскую для зарядки аккумуляторов...

Фельдфебель Альберт Фозен, зарядчик аккумуляторов во славу гитлеровского оружия, пошел в огород опорожнить поганое ведро и увидел, что несколько деревенских ребятишек копаются в сбросе свежей земли у бункера Гагариных, извлекая оттуда то обломок штыка, то старинного литья пулю, то разрубленную кирасу, то проржавевший ружейный ствол. Альберт, заинтересованный, подошел к ребятам.

— О, кульгельн!.. Эйне флинте!.. Дас ист ферботен!.. Запрещено!..

— Старое... От французов осталось, — пояснил Юра.

— Францозен? Варум францозен?..

— Наполеон через наше Клушино на Москву шел.

— Нах Москау?.. Мы тоже ходить нах Москау.

— Ага! Сперва «нах», а потом «цурюк»!

Ребята засмеялись.

— Мы не «цурюк»! — разозлился Альберт. — Нур дранг нах Остен!

— Дранг нах Остен, драп нах Вестен! — заорали ребята и кинулись врассыпную.

Альберт бросился за ними, но всю ватагу будто ветром сдуло. Остался лишь маленький Гагарин — Борька. В младенческом неведении он жевал черную корку и радостно

смеялся, сам не зная чему. Альберт схватил его, поднял на воздух и повесил за шарфик на сук ракиты. Борька обронил корку и ужасно закричал. Теперь пришла очередь смеяться Альберту. Отсмеявшись вдосталь, он вернулся к своим аккумуляторам...

Анна Тимофеевна ведать не ведала, какая беда стряслась с ее меньшим, когда в землянку вбежал Юра.

— Мам, Борьку повесили!

Без памяти, простоволосая, Анна Тимофеевна бросилась во двор.

Борька уже не кричал, а хрипел, красный, полузадохнувшийся. Он висел высоко, матери было не дотянуться. И тогда крупная, крепкая в кости женщина от беспомощности стала жалко прыгать вокруг ракиты в тщетной надежде достать сына.

Рыжий Альберт видел все это и от души веселился.

— Мам, подсади меня, — попросил Юра.

Анна Тимофеевна подняла Юру, и он быстро освободил братишку.

Альберт расстроился, хотел было вмешаться, но тут подкатило какое-то начальство и ему пришлось отложить свои мелкие мстительные планы...

Из машины вылезли лейтенант, сержант и полицейай — тот самый чернявый, цыганистого обличья мужик, с которым имел столкновение Алексей Иванович Гагарин. Он разительно изменился: приосанился, раздался в плечах, будто выше ростом стал.

На нем была зеленая немецкая курточка, сапоги с короткими голенищами, ватные брюки и советская командирская фуражка без звездочки. Вся команда направилась к землянке Гагариных.

— Хозяин дома? — спросил полицейай Анну Тимофеевну.

— Болеет он...

— Все болеют. Раз не помер, пуцай выйдет.

Анна Тимофеевна мигнула Юрке, тот опрометью кинулся в погреб.

— Чего им надо, Сергун? — спросила Анна Тимофеевна полицаю.

— Какой я тебе Сергун, халда? — обозлился тот. — Господин Дронов, заруби себе на носу.

Тут вышел Алексей Иванович, красный, в жару, глаза воспалены.

— Кому я тут зандобился? — спросил, глядя в землю.

— Ну что, Иваныч, рановато меня выпустили или, может, в самый раз? — посмеиваясь, спросил Дронов.

— В самый раз, — пробурчал Гагарин.

— Хальт мауль! — невесть с чего завелся лейтенант. — Будешь мельница работать.

— Вот те раз! — удивился Гагарин. — Я плотник, столяр, кого хошь спросите. Какой из меня мельник?

Лейтенант злобно глянул на полицаю.

— Врет он, ваше благородие, как сивый мерин. Плотник, столяр!.. А когда в голодуху на заработки шлялся, ты где вкальывал? На мельнице. В Малых Липках, под Брянском. Что, выкусил? У меня память железная.

— Вон что вспомнил! Когда это было!..

— Молшать!.. — сказал лейтенант. — Немецкий армей не нужен столяр, немецкий армей нужен мюллер. Форвертс!..

Гагарина схватили, скрутили и потащили к машине...

Скрипят крылья старого ветряка и будто отсчитывают дни, недели, месяцы. То сквозь дождь, то сквозь снег, то сквозь весеннюю крупу проносятся они и замирают на фоне чистого, прозрачного майского неба...

Алексей Иванович Гагарин объясняется с немецкими солдатами, привезшими на мельницу зерно для помола:

— Не выйдет, господа хорошие! Никст винд!..

Немцы что-то лопочут по-своему, но Алексею Ивановичу слышится лишь бессмысленное «ла-ла-ла-ла-ла!...».

— Да что там «ла-ла-ла», никст винд. Вона! — Он послюнил палец и завертел им во всех направлениях. — Ветра нету — мельница стоит.

Немцы опять принялись за свое «ла-ла-ла» и пальцами в грудь тычут: мели, мол, и никаких! Тут на мотоцикле подкатили двое: переводчик и полицей Дронов. Немецкие солдаты — к ним. Толмач стал переводить:

— Они говорят: когда своим молоть — всегда ветер, а когда немецким солдатам — у тебя никогда ветра нет.

— А ты им объясни: нешто это от меня зависит? Может, русский ветер им служить не хочет.

— Сам объясни, если ты в обиде на свою задницу.

— Саботажник он! Работать не хочет! — с ненавистью прохрипел Дронов.

Переводчик вздрогнул и что-то сказал немцам. Главный из них нацарапал несколько слов на листке бумаги и сунул Гагарину.

— В комендатур!..

— Допрыгался, гнида! — злорадно сказал Дронов.

Алексей Иванович своим неспешным, прихрамывающим шагом двинулся в поход. Он с грустью примечал все порухи, наделанные войной. Много домов было сметено во время бомбежек, много погорело. Деревня стала сквозной, во все стороны проглядывалось ровное поле, окаймленное лиственным лесом. Там, где улица делала крутой поворот к центру села, он обнаружил сына Юру и окликнул его:

— Эй, сударь, ты чего смутный такой?

— Живот чегой-то болит.

— Переел, видать, — усмехнулся отец. — Перепояшься потуже, враз пройдет.

— А ты куда, папаны?

— В комендатуру. Записку велели снести.

— Зачем?

— Я так полагаю: просят выдать мне десять кило шоколада.

— Не ходи ты за ихнем шоколадом, папаны.

— Нельзя, сынок. Этак худшее зло накличешь. А то пострашают для порядка — и делу конец.

Юра пошел с отцом. Они миновали гигантскую старую ветлу с мощным изморщиненным стволом, необъятной кроной, и была та ветла под стать древнему дубу.

— При деде моем стояла, — с нежностью сказал Алексей Иванович о дереве. — Может, оно еще в дни царя Петра посажено!

— Папань, ты что, спятил? — спросил сын. — Я же миллион раз это слышал.

— Неужто миллион? — удивился Алексей Иванович. — Стало быть, я повторяюсь? Видать, старею, сынок.

Впереди, на горужке, возникла красивая церковь, справа от нее находилась контора, превращенная немцами в комендатуру. За конторой лежал колхозный двор, пустующий ныне, только в конюшнях немцы держали своих заморенных лошадей.

— Полтораста лет назад так же вот были мы под неприятелем, — отвечая собственным мыслям, проговорил Алексей Иванович. — Выдюжили тогда, выдюжим и сейчас.

— Папань, и скоро его прогонят?

— Теперича, должно, скоро.

— А почему знаешь?

— По терпению своему. Мало его осталось.

В комендатуру Юру не пустили. Отец ушел, а сын остался снаружи и стал наблюдать в окошко, как в караулке отдыхающие немецкие солдаты борются с вшами. Они задирали подол рубахи, снимали вошь и, не догадываясь ее щелкнуть, кидали на пол, приговаривая:

— Капут, партизан!

Из комендатуры вышел Алексей Иванович, бледный, но спокойный, в сопровождении известного всей округе палача, толстомясого Бруно.

— Папань! — кинулся к нему Юра.

— Ничего, сынок, поугаать хотят...

Юра уцепился за отцов ватник. Бруно отшвырнул его прочь.

Алексея Ивановича отвели на конюшню. Здесь уже поджидал прыщавый переводчик. Гагарина поставили к яслям, велели снять ватник и обхватить стойку руками. Палач что-то буркнул.

— Штаны спусти, — перевел прыщавый.

Гагарин повинился.

— Кальсоны тоже.

Гагарин вздохнул.

— А совесть у вас есть? Я же в отцы вам гожусь.

— Живо! — сказал переводчик.

Гагарин подчинился.

Старая кавалерийская лошадь со стертой в кровь спиной подняла костлявую умную голову и с удивлением, печалью поглядела на дела человеческие...

...Юра услышал свист плети и кинулся к конюшне. Немецкий часовой отшвырнул его, но Юра снова кинулся. Часовой схватил его за плечи, повернул, ударил что было силы ногой пониже спины. Мальчик отлетел далеко прочь и распластался на земле...

...Бруно опустил плеть, что-то буркнул переводчику.

— Он спрашивает: почему ты не кричишь?

— Нельзя мне, сын может услышать... — прохрипел Гагарин.

— Может, он слишком слабо бьет?

— Бьет не гладит.

Бруно посипел, отдышался снова и принялся за работу. На челе его выступил трудовой пот. Но вот он снова опустил замлевшую руку.

— Он спрашивает: ты будешь кричать?

Гагарин ответил не сразу — дыхание со свистом вырывалось у него из груди.

— Пусть не сердает... Мне бы самому легче... Да ведь сын рядом.

— Он только что пообедал и не в руке.

— А у меня претензий нету...

Бруно снова заработал, но быстро выдохся.

— Покричи хоть для его удовольствия, — сказал толмач.

— Пан... — через силу проговорил Гагарин, — в другой раз. Когда один буду. Нельзя, чтоб мальчонка слышал...

— Он очень расстроен, — сообщил толмач. — Начальство подумает, что он плохой экзекутор, и отошлет его на фронт. А у него трое малых детей. Пойми его как отец.

— Коли надо, могу ему справку выдать... Так сказать, с места работы.

— Допрыгаешься ты, Гагарин! — пригрозил переводчик.

— Уже допрыгался!..

Бруно хлестнул плетью раз-другой и опустил руку.

— Он говорит, что не хочет даром тратить силы, — сказал толмач. — Ты и так получил с привесом. Одевайся.

Лицо Гагарина мокро, как после парилки. Он молча оделся и шаткой, неверной поступью побрел с конюшни.

У бочки задержался, зачерпнул горстью воды, умыл лицо, потом припал к бочке и долго пил...

..Сын поджидал его возле комендатуры.

— Папань, сильно они тебя?

— Пугали, и только. Не думай об этом.

— А чего ты шатаешься?

— Вот те раз! Я ж хромой. А ты чего скривился?

— Я ничего... нормально.

— Врешь! Ты же идти не можешь!

— Да это я к тебе приноравливаюсь.

— Избили тебя?.. — ослабевшим голосом спросил Алексей Иванович.

— Юрка! — послышался радостный вопль.

К ним подбежала Настя. Отец с сыном остановились. Девочка с размаху обхватила Юру, тот побледнел от боли и чуть не упал.

— Что с тобой? — спросила Настя.

— Ничего...

— Какой-то ты не такой...

— Ногу подвернул... — небрежно сказал Юра.

Настя чуть подумала и нашла самое верное лекарство для своего друга. Она вынула из кармана комочек серого клейкого теста и протянула Юре.

— Что это?

— Пирог с хлебом. Ксения Герасимовна испекла.

— Я сытый, — соврал Юра.

— Возьми на потом. У меня еще есть.

— Тили-тили тесто, жених и невеста!.. — слышалась старая как мир детская дразнилка.

Настя яростно обернулась. Какой-то сопляк в большой взрослой кепке со сломанным козырьком кочевряжился по другую сторону буерака.

— Всыпь ему хорошенько! — попросил Юра. — Я бегать не могу.

Настя с воинственным кличем устремилась в погоню, а отец с сыном поспешно заковыляли прочь.

Как из тумана, выросла перед ними старая ветла.

— Знаешь, какое это дерево?.. — каким-то далеким голосом произнес Алексей Иванович.

— При царе Петре посаженное? — тоже издалека отозвался Юра.

— Да нет. Это целебное дерево. Коснись его — и всякую хворь как рукой снимет.

Сошли они с дороги, добрались, шатаясь, до ветлы и прижались к ее шершавому стволу...

Видать, и впрямь сообщилась им целебная сила дерева. Когда явились домой, собиравшая на стол Анна Тимофеевна даже и не заметила, что муж с сыном малость не в себе.

— Садитесь! — сказала она, ставя две жестяные миски на одноногий, грубо сколоченный столик.

Те переглянулись и взяли тарелки в руки.

— Чего же вы не садитесь? — удивилась Анна Тимофеевна.

— Знаешь, мать, — сказал Алексей Иванович, — мы решили принимать пищу по красивому заграничному способу.

— Это еще что такое?

— Как на званых, исключительных приемах, по-нашему — встояк, по-ихнему — а-ля фуршет...

Ночь в землянке. Слабо чадит самодельная коптилка. Юра лежит на животе, задумчиво жуя «пирог с хлебом». Отец постанывает во сне и будто сам себя обрывает. Зоя и Бориска спят тихо. Валентин пытается читать, но плохо видно, и сон клеит ему глаза. Анна Тимофеевна чинит какую-то одежду.

— Мам, — шепотом говорит Юра, — для чего люди женятся?

— Вот те раз! Чтоб детей иметь.

— А вон Нюшка Голикова сроду замужем не была, а у нее двое.

— Больно ты вострый! Ну, чтобы всегда вместе быть. И чтобы все пополам — и горе и радость. Заботится друг о дружке, никогда не разлучаться.

— А как женятся?

— Мы с отцом в церкви венчались.

— Нет, без церкви.

— Ну чего пристал? Не знаю я, как нынче окручиваются. Сроду в загсе не была. А мы женились красиво... — сказала она мечтательно, уносясь памятью к далеким дням юности.

На задах деревни, в заброшенном сарае, ставшем на сегодня церковью, Юра и Настя сочетаются браком. На голове Насти — фата из бинта, белая марля увивает ее с головы до пят, означая невестино платье. Венчание производит «священник» Лупачев в ризе из мешковины с огромным желтым крестом на пузе и другим — деревянным — в руке. «Дружка» Фрязин и «свах» Былинкина держат в руках огарки свечей.

— Согласна ли ты, раба божья Настасья, взять в мужья раба божьего Юрия?

— Ага.

— А ты, раб божий Юрий, согласен ли взять в жены рабу божью Настасью?

— Согласен!

«Священник» подает им проволочные кольца, они надевают их на пальцы друг другу.

— Со святыми упокой!.. — заводит басом Лупачев.

— Очумел? — оборвал его Фрязин. — Ты что, на похоронах?

— А я думал, так положено.

— Поцеловаться они должны, — сказала «сваха».

— Это обязательно? — смущенно спросил Юра.

— Иначе свадьба не считается.

Небольшое замешательство. Молодая оказалась смелее — она стала на цыпочки и чмокнула «суженого» в щеку. Мучительно покраснев, Юра закрыл глаза и наугад клюнул ее в веснушчатый нос.

— Ну вот, — по-взрослому сказала Настя, — теперь дети пойдут...

Матримониальные заботы не мешали главному — борьбе с оккупантами.

По дороге, ведущей из Клушина в Гжатск, мчится мотоцикл. За рулем — человек в кожанке и кожаном шлеме с очками. И вдруг на всем ходу спускает передняя шина, словно рассеченная ножом. Мотоциклист не успевает притормозить и летит через руль в канаву, туда же заваливается и мотоцикл. Вертятся по инерции колеса.

Мотоциклист поднялся, с трудом втащил на дорогу машину. Он поднял на лоб очки — это прыщавый толмач. Горестно осмотрел колесо и обнаружил большой гнутый гвоздь. Сунул гвоздь в карман, погрозил кому-то незримо кулаком и, прихрамывая, поплелся к деревне, волоча за руль мотоцикл.

Скрывавшиеся в придорожных кустах Юра Гагарин, Лупачев и Пека Фрязин обменялись усмешливо-торжествующим взглядом. Впрочем, у Лупачева усмешка выглядела несколько натянутой.

— Пошли! — сказал Юра.

— Может, хватит? — просительно сказал Лупачев.

— Не видишь, что ль, колонна ползет?

Вдалеке на дороге, в стороне Гжатска, червячком извивалась колонна грузовиков.

— Ну, вижу... Тошнит меня что-то, — пожаловался Лупачев. — Видать, собачьим салом отравился.

— Будет врать-то! — сказал Пека Фрязин.

— Ей-богу! Мне бабка Соломония для легких прописала. — И он рыгнул, чтобы показать, как ему плохо.

— Сказал бы прямо — дрейфишь!

— Кто дрейфит-то?.. Подумаешь, герой!..

— Ладно вам, — остановил друзей Юра. — Нашли время!.. — Он чуть улыбнулся Фрязину. — Не видишь, что ли, человек болен, тяжелое отравление. Ты давай скорее домой, — повернулся он к Лупачеву. — Не то помрешь здесь, что тогда делать?

Лупачев глянул на него искоса и с постной миной побрел прочь. Но, отойдя немного, перестал притворяться и со всех ног устремился к деревне.

— Такой больной, а побег, как здоровый! — заметил Фрязин.

— Да ладно тебе!.. Пошли!..

Пригнувшись, они двинулись вдоль дороги. Карманы ребят были набиты ржавыми гвоздями, осколками стекла, острыми железяками. Широким жестом сеятеля Юра швырнул пригоршню железок на дорогу. Фрязин тоже размахнулся, но Юра схватил его за руку.

— Гляди!..

В стороне, там, где шли немецкие грузовики, слышалась частая ружейная и пулеметная пальба. Немецкие солдаты выскакивали из кузовов и стреляли по лесным зарос-

лям, подходящим вплотную к дороге. Оттуда полетели связки гранат. Один грузовик взлетел на воздух, другой — загорелся.

— Партизаны! — обмирающим голосом произнес Юра, и мальчики со всех ног кинулись к деревне...

На задах русского погоста выросло белыми, свежеструганными крестами новое немецкое кладбище. На каждый крест насажена рогатая каска. Алексей Иванович Гагарин, первый клушинский столяр и плотник, передает могильщикам очередной, сработанный на славу крест.

— Побольше бы такой работы! — шепнул он помогавшему ему Юре.

Подошел немецкий лейтенант, комендант Клушина, за ним в почтительном отдалении следовали толмач и полицейский Дронов. Оглядел лейтенант ровные ряды светлых стройных крестов, и строгий порядок порадовал его прусскую душу.

— Гут! — одобрил работу Гагарина.

— Рад стараться! — нарочито дурашливо рявкнул тот.

Немецкий лейтенант благосклонно кивнул, довольный такой готовностью, но хитрый Дронов прекрасно понял второй смысл выходки Гагарина.

— Доберусь я до тебя, гнида!.. — прошипел он сквозь зубы...

И опять пришла зима, а с ней — новое лихо.

На площади перед разбитой церковью — плач и стон: угоняют в немецкую неволю деревенских парней и девушек. Они стоят, сбившись в тесную кучу, испуганные, потерянные, выплакавшие глаза, в армячках, зипунишках, толсто подшитых валенках, с дорожными котомочками. Охрана из пожилых нестроевиков не мешает матерям совать им на дорожку сухарей, еще сальца, еще теплых вещей, целовать мокрыми от слез губами, обнимать родимую, жалостную плоть. Среди гонимых в неволю — Зоя и Валентин Гагарины.

Ревет, заходится маленький Борька, кусает губы в кровь Алексей Иванович, чтоб не разрыдаться, из последних сил держится гордая Анна Тимофеевна и все советует своим детям:

— За ногами следите. Боже упаси в пути ноги сбить... Холодного не пейте, чтобы грудь не застудить...

Юра крепится, хотя слезы застилают ему глаза. Он набивает карманы брата подсолнухами, жареными тыквенными семечками.

И где-то неуместно, будто в насмешку, немецкий патефон наяривает сентиментальную песенку:

Ах, майн либер Аугустин,
Аугустин, Аугустин...

Но вот прозвучала отрывистая, похожая на хриплый собачий лай команда — колыхнулась и тронулась в долгий путь колонна. Заголосили женщины. Не выдержал Юра, заплакал, уткнувшись в материнский подол...

Неумолчно звучит над Клушином било. Его тугие, с отзвоном удары тяжело падают в тишину зимнего подвечера.

Пожилые солдаты немецкой комендатуры вместе с подручными полиция Дронова обходят избы, колотят прикладами автоматов, палками и просто кулаками в окна, двери, сгоняя народ на площадь.

— С детьми! — хрипит подручный полиция.

Женщины, испуганные, смятенные, торопливо одевают детей, заматывают головы платками и, не попадая в рукава, выбегают на улицу. На бегу клушане перекидываются короткими фразами:

— И председателя взяли?..

— Всю головку...

— Кто ж их выдал?..

— Дронов выследил...

— Все ходы и выходы знает... Иуда!..

— Как его земля носит?..

— Поносит, поносит, да и сбросит!..

— Ох, скорей бы!..

Посреди площади высилась наспех сколоченная виселица. Под темной перекладной стояли на табуретках с петлей на шее осужденные — партизаны разгромленного карателями отряда. На лицах черной коркой запекалась кровь, и одежда, и руки, и босые ноги измараны кровью. Автоматчики держат на прицеле деревенскую толпу, согнанную к лобному месту с окрестных деревень.

Комендант зачитывает приказ, толмач переводит.

— ...Впредь за убитого немецкого солдата мы будем казнить каждого десятого жителя деревень: Клушино, Шахматово, Мясоедово...

Полицай Дронов расхаживает за спинами осужденных. Вот он поравнялся с председателем клушинского колхоза.

— Допрыгался, Сурганов?..

Председатель молчит, половина его лица затекла иссиня-черным. Дронов носком сапога покачал под ним табуретку.

— Заплатишь ты мне нынче свой должок...

— Папаня!.. — прозвенел над площадью отчаянный девчачий голос.

И осужденный, стоявший рядом с Сургановым, дернулся, чуть не упал с табурета. Худощавый, с мальчишеским веснушчатым лицом, он привстал на цыпочки, сияясь высмотреть в толпе узнавшую его дочку.

Полицай вломился в толпу, но люди не расступались, они нарочно создавали заторы, будто в испуге и обалдении.

Ксения Герасимовна схватила на руки и с силой прижала к себе Настю, накрыла ей голову полой жакета.

— Молчи, молчи, молчи!.. — шептала она иступленно.

Анна Тимофеевна притиснулась к ним и загородила своей широкой фигурой.

Ищейки отступили, поняв, что им не пробиться.

Комендант сложил приказ и сунул за обшлаг шинели. Затем резко махнул рукой.

Ударом ноги Дронов вышиб табурет из-под осужденного, стоящего с краю. Тетивой напряглась веревка, вытянулись босые ноги.

Широко открытыми, немигающими глазами смотрел Юра на казнь. Он и хотел бы отвернуться, да не мог — страшное зрелище притягивало против воли. И почему-то его зрение сфокусировалось на большом, корявом сапоге Дронова с толстой, на гвоздях, подметкой и подкованным каблуком. Вот подымается этот ужасный сапог, чуть задерживается на весу, примериваясь к табуретке, затем резко выбрасывается вперед, и вытягиваются босые ноги повешенного.

— Да здравствует Советская... — не договорил Сурганов: задушило в нем голос.

— Смерть Гитлеру! — успел крикнуть Настин отец, прежде чем дроновский сапог вышиб из-под него опору.

И все было кончено. Вместо восьми израненных, избитых, изувеченных, но все же живых людей осталось восемь безгласных трупов.

Толпа молча и поспешно расходилась, никто не глядел друг на друга.

Лишь завернув за угол, осмелилась Ксения Герасимовна опустить Настю на землю. Девочка не плакала. Лицо ее было сухо и странно спокойно.

— Нну, нничего... Нничего.. — Губы учительницы тряслись. Девочка не отозвалась.

— Настя, что с тобой? Почему ты молчишь? — еще больше испугалась вдруг она странного взгляда девочки. — Ну скажи мне что-нибудь... Ты меня слышишь?

Девочка медленно кивнула.

— Ты не хочешь говорить?

Настя увела взгляд.

— Ты не можешь говорить?!

Настя снова медленно наклонила голову...

Утро. Фельдфебель Альберт Фозен, жилец Гагариных, возится в своей мастерской. Что-то случилось с движком, и

Альберт тщетно пытается его завести. Но движок, пыхнув раз-другой, вновь замирает.

К сараю подъехал грузовик. Из кабины высунулся бело-брысый унтер и закричал по-немецки:

— Альберт, гони аккумулятор, я привез шнапс! — И потряс в воздухе бутылкой с сырцом.

Фозен высунул из дверей перепачканное маслом злое лицо.

— Придется обождать, Ганс Гейнц, движок заело.

— Хорош специалист! Не может движка наладить!

— А поди ты!.. — расвирипел Альберт и скрылся в сарае.

Грузовик умчался, а фельдфебель вновь начал проделывать все ритуальные действия, которые призваны были оживить замолкший двигатель: отвинчивал какие-то гайки, что-то продувал, подкачивал, завинчивал и до седьмого пота крутил заводную рукоять. Но тщетно.

Послышался резкий, требовательный сигнал комендантского «оппея». Фозен выскочил наружу, вид у него был разнесчастный.

— Извините, господин лейтенант, ночью стал движок. Зарядка прекратилась.

«Идиот», «дубина», «проклятый лентяй», «олух» были самыми мягкими определениями человеческой и профессиональной сути фельдфебеля Фозена в устах разгневанного коменданта. Затем он сунул наручные часы к носу Фозена, погрозил ему кулаком и умчался.

Фельдфебель чуть не заплакал. Он вернулся к движку, в сердцах стукнул его кулаком и взвыл от боли. Несколько секунд метался по сараю, сжимая отшибленную кисть, затем в полной растерянности отвинтил пробку радиатора и обнаружил в нем тряпку. Потянул и вытащил длиннющие обтирочные концы. Он сталковыряться в радиаторе, оттуда лезли и лезли тряпки. Тогда он заглянул в глушитель, в карбюратор и с проклятиями выскочил из сарая.

Ударом ноги Фозен распахнул дверь и ворвался в подземное жилье Гагариных. Алексей Иванович лежал с грелкой на животе, Борька чего-то мастерил, но при виде фельдфебеля забился в угол, Анна Тимофеевна стряпала. Изрыгая страшные проклятия, Фозен потребовал, чтоб ему представили сию же минуту «омерзительного бандита и преступника Юрку».

Анна Тимофеевна наконец разобрала в яростном потоке немецкой речи имя сына.

— Нет его, пан. Не ночевал он дома, вот те крест! Мы уже думали, в комендатуру его забрали!

Фозен, надрываясь, орал, что этот уголовник испортил ему движок и что он застрелит его собственной рукой. Но по расстроенному лицу Анны Тимофеевны он понял, что она говорила правду. Неизвестно, чем кончилось это объяснение, но снаружи сильно и плотно забили зенитки. Фозен выскочил. Анна Тимофеевна последовала за ним.

Над деревней низко шла шестерка краснозвездных бомбардировщиков, направляясь к ближним немецким тылам. Давно уже не видели в Клушине советских самолетов, и все жители высыпали на улицу, не обращая внимания на осколки зенитных снарядов. И немецкие солдаты, в том числе Альберт Фозен, глазели с тревогой и злобой на уверенный ход мощных бомбовозов.

Самолеты скрылись, истаял в воздухе их звуковой след, а фельдфебель Альберт, как-то разом утратив боевой пыл, скрылся в своей мастерской.

Анна Тимофеевна понимающе усмехнулась. Кто-то тронул ее за подол. Оглянулась — Настя.

— Что тебе, маленькая? — спросила с нежностью.

Настя поманила ее.

— Куда ты меня зовешь?

Настя прижала пальцы к губам. Она настойчиво тащила ее за собой, и Анна Тимофеевна повиновалась.

Настя привела ее к дому Ксении Герасимовны, но зайти не дала, а поманила дальше, за огород, к старой заброшенной баньке. Толкнула кособокую дверцу. Из темноты на пришедших глянули блестящие глаза Юры.

— Что же ты делаешь, парень?.. Мы с отцом чуть с ума не сошли.

Юра молчал, потупив голову.

— Альберт убить тебя грозитя. Видать, крепко ты ему досадил.

Юра махнул рукой. Что-то новое появилось в его лице — взрослое, что ли?

— Чепуха!.. Понимаешь, мамань, я должен был что-то сделать... Должен! — Он мучительно сморщился, не в силах выразить словами владевшее им чувство.

— Я понимаю, сынок, — тихо сказала Анна Тимофеевна. — Только побереги себя. Теперь уже недолго осталось. Наши наступают.

— Ладно, маманя. Ты не беспокойся. Я здесь отсижусь.

— Может, тебе чего нужно?

— У меня все есть. А понадобится — вот мой связной. — Он с улыбкой кивнул на Настю. — Вы там тоже...

Он не договорил. Послышался слитный гул возвращающихся с работы бомбовозов. Юра выглянул наружу. Машины шли тем же четким строем, но теперь их осталось только пять.

— Видать, сбили одного, — вздохнула Анна Тимофеевна.

Нет, не сбили, хотя и ранили. Он появился над деревней и шел низко, почти задевая верхушки старых берез, темный хвост дыма тянулся за ним. Немцы открыли по самолету бешеный огонь. Пули дырявили фюзеляж. Самолет вспыхнул. Уже объятый пламенем, он развернулся и врезался в колонну немецких грузовиков у заправочной станции. Раздался взрыв, и все задернулось черным дымом.

Наши наступали. На востоке небо то и дело обливалось алым. И все нарастал грохот орудий, все ближе подходил

фронт к Гжатску. Уже первые снаряды советской дальнебойной артиллерии разрывались на улицах Клаушина. Гарнизон спешно эвакуировался.

Собирался в дорогу и беспокойный постоялец Гагариных Альберт. Подогнал к дому грузовичок, погрузил в машину движок, но оставил в сарае аккумуляторы и прочее оборудование, считая, что в ближайшее время оно ему не пригодится. Зато щедро напихал в кузов узлы с гагаринским имуществом: постелями, скатертями, занавесками, домашней утварью. Даже керосиновой лампой не побрезговал.

Анна Тимофеевна, стоя во дворе, срамила ворюгу.

— Куда же вы, герр Альберт? А ведь обещали супругу свою привезти и все семейство. Мы бы вас обухоживали, и дети наши, и внуки служили бы вам верой и правдой...

— Хальт мауль! — огрызнулся Альберт, втаскивая в грузовик старую швейную машинку.

— Ох ты! Ух ты! Испугал!.. А вещички побереги, они трудом и потом нажитые. Мы еще за ними в твой Мюнхен явимся.

Рука Альберта невольно потянулась к кобуре, но в опасной близости Алексей Иванович тесал жердину топориком, и фельдфебель почел за лучшее не связываться.

— Русише швейне! — процедил сквозь зубы привычное ругательство.

— Ан свиньей-то ты вышел!.. У нас все чисто. Мы на чужое барахло не заримся, в чужой карман лапу не сунем...

Может, и нарвалась бы Анна Тимофеевна на крупные неприятности, но тут два советских дальнебойных снаряда разорвались рядом, через дорогу... Альберт прыгнул в кабину — и ходу.

Камень, пущенный меткой рукой ему вдогонку, пробил стеклышко, что аккурат позади водителя. Альберт схватился за шею и увидел на руке кровь.

— Их штербе! — произнес он жалобным голосом, уверенный, что его настигла пуля, и откинулся на спинку сиденья.

Но, обнаружив, что жизнь еще теплится в нем, снова схватился за руль. Не дав машине опрокинуться в кювет, газанул до отказа.

— Хорошо, сынок, — одобрил Юрин бросок Алексей Иванович, — прямое попадание!

Немцы драпали из Клушина. Не в силах вывезти технику и оборудование, они взрывали зенитные установки, склады, поджигали все, что способно гореть. И улепетывали на грузовиках, пикапах, легковушках, мотоциклах, конных фурах, верхом на тяжеловозах.

За околицей, в Гжатской стороне, полицейай Дронов и его прыщавый подручный пытаются уйти вместе с хозяевами. Но все машины и повозки переполнены, и мрачные автоматчики грубо отшвыривают своих вчерашних помощников, бьют по пальцам, суют прикладами в лица. Дронов действует молча и ожесточенно, он не привык никого щадить и не ждет от других снисхождения, но подручный совсем развалился.

— Родненькие, не бросайте!.. — молит он. — Миленькие, спасите!.. Мы-то.. вам-то!.. Будьте отцами!..

Но весь этот жалкий лепет не производит никакого впечатления на профессионалов войны, озабоченных спасением собственной шкуры.

И тут более крепкому, сильному Дронову удалось наконец зацепиться за борт полуторки. Он подтянулся на руках, лег животом на борт. Пожилой солдат с косым шрамом через щеку хотел сбросить его, но толстый палач Бруно заступился за коллегу. Оказавшись в кузове, Дронов, то ли желая услужить немцам, то ли чтобы избавиться от лишнего свидетеля своих дел, поднял ногу в подкованном сапоге и тем же ударом, каким вышибал табуреты из-под осужденных, отбросил подручного.

Подручный упал на дорогу прямо под гусеницы бронетранспортера.

— Своего?! Сволочь!.. — взревел солдат со шрамом на лице и выбросил Дронова из грузовика.

Отскочив на обочину, Дронов в слепой ярости выхватил пистолет и открыл огонь по грузовику. Автоматчик с бронетранспортера дал, не глядя, короткую очередь по Дронову. Полицай выронил пистолет, упал, скатился в кювет и пополз в поле, пятная снег темной кровью.

Красный флаг висит над дверью колхозного правления. Где-то весело, с переборами разливается гармонь.

Анна Тимофеевна с помощью Юры и Борьки перетаскивает в избу из землянки уцелевшее имущество, когда перед ними предстал глава семьи в дубленом полушубке и шапке-ушанке со звездочкой.

— Рядовой Гагарин убывает для прохождения воинской службы!

— Добился-таки! — всплеснула руками Анна Тимофеевна. — Да как тебе удалось?

А Юра и слова не мог молвить, пораженный блистательным обликом отца-воина.

— А я командованию минные поля показал и все проходы, — объяснил причину своего возвышения Алексей Иванович.

— Папаня, ты кто: пехотинец, артиллерист, сапер?.. — обретя дар речи, спросил Юра.

— Пехота. Царица полей, — горделиво ответил Гагарин.

— А где же твоя винтовка?

— В Гжатске выдадут. На складе.

— На каком складе?

— На военном, каком же еще? Не все мне картошку сторожить. Буду охранять военное имущество! — похвалился Алексей Иванович, не замечая глубокого разочарования сына.

Клушинские ребята вновь принялись за учебу. Школа, как известно, была уничтожена еще в начале войны, и сейчас занятия возобновились в доме Ксении Герасимовны. Все ребята принесли с собой «учебные пособия».

— Ксения Герасимовна, вот чернила! — Конопатая Былинкина ставит перед учительницей бутыл с темной жидкостью.

— Что это?

— Свекольный отвар, густой-густой!..

Пека Фрязин высыпает на стол патронные гильзы.

— Палочки для счета.

— Бумага! — Лупачев кладет на учительский столик ворох всевозможной макулатуры: тут и обрывки обоев, и какие-то фрицевские приказы, и старая оберточная бумага.

— Вот... заместо учебника. — Юра достает из кармана «Боевой устав пехоты».

— Отличная хрестоматия! — говорит учительница. — Читать не совсем разучились? Гагарин Юра, начинай!

И Юра читает по слогам:

— «За-щи-та Ро-ди-ны есть свя-щен-ный долг каж-до-го...»

В сторонке отрешенно сидит Настя...

Лето. Свежи и зелены деревья, густы рослые травы в яркой россыпи цветов.

Юра выгоняет со двора рыжую корову. Его поджидает на улице Настя. «Немая» — зовут ее в деревне.

Размахивая хворостиной, Юра гонит ее на выгон. Настя поспешает за ними. Юра без устали работает языком — ведь ему приходится разговаривать за двоих: за себя и за Настю.

— Знаешь, нам дали Буянку как семье фронтовика. А папаня в гжатском госпитале лежит. То животом мается, то поясницей. Так до фронта и не добрался...

Буянка пощипывает спорыш обочью проезжей части улицы.

— До чего умная скотина! — восхищается Юра. — Худую траву нипочем есть не станет, а хорошую всюду найдет. Вчера мы с ребятами на выгоне пасли. Ихние коровы морду воротят — кругом ядовитая купальница да чистотел, а Буянка пырей нашла, козлобородник, борщевик и знай себе хрумкает. Такая умница!..

Они вышли из деревни, по сторонам раскинулось полевое разнотравье, а впереди открылось небо в наплыве огромной сизой тучи, по которой пробегали бледные сполохи.

— Гроза будет, — сказал Юра. — То-то парит...

Буянка потянулась и стала ошипывать молодой клеверок.

— Видишь, чего делает? Это ж колхозные поля. Такая несознательная скотина! — Он замахнулся хворостиной на Буянку. — Пошла, пошла, тебе говорят!..

Буянка покосилась на него глазом, только что не подмигнула, и продолжала улетать колхозную траву.

— И всегда так, никакого уважения к общественной собственности. Буянка, предик!.. — крикнул он вдруг испуганным голосом.

Буянка тут же отпрянула на дорогу и с невинным видом затрусилась вперед.

Настя чуть улыбнулась. Юра был счастлив.

— Я с ней в цирке выступать могу! — похвастал он.

Они свернули с шоссе на большак, потом пустырем двинулись к лесной опушке. Здесь Юра пустил Буянку по тощеватой траве, отведенной для выпаса частного скота. Ребята расположились в тени орешника.

Они набрали хворосту и сложили теплячок. У Юры в мешочке было несколько картофелин, он сунул их в костер. Потом достал потрепанную книжку.

— Продолжим?

Настя кивнула. Юра оперся спиной о тугие ветви орешника. Настя пристроилась рядом.

— «Луиза уже ждала Рауля»... Ну вот, опять про любовь! — сказал он разочарованно. — Терпеть не могу! Я про сражения люблю и когда на шпагах дерутся. Может, пропустим?

Настя отрицательно мотнула головой.

— Ладно, — сказал он покорно. — «Луиза уже ждала Рауля. Она радостно вскрикнула, услышав на дворе знакомый цокот копыт».

Блеснула молния, и сразу мощно ударил гром.

— Ого! Будет дело!.. «Когда юноша вбежал в комнату, Луиза сделала ему навстречу несколько быстрых шагов. Увы, бедняжка хромала еще сильнее, чем в их последнюю встречу».

Снова ударил гром. Ветер затрепал листву орешника. Первые крупные капли гулко ударили по траве и лопухам.

— Бежим! — Юра схватил Настю за руку и потащил к Буянке.

Они едва успели забраться под ее брюхо, как мощным хлестом ударил ливень. Громадные вздутия Буянкиных боков не давали секущим каплям ужалить детей. Кругом неистовствовала разбушевавшаяся стихия, а детям было сухо, уютно и надежно под доброй защитой терпеливой Буянки.

Ливень отшумел так же быстро, как и начался. Туча ушла к деревне, а здесь опять всю сияло солнце с чистого, омытого неба. Сверкали капли в манжетках и чашечках распрямившихся цветов. Гудели шмели над медоносами, мир был опять прекрасен, только Юре ужасно не хотелось читать про любовные мерлихлюндии Луизы и Рауля. Он предложил неуверенно:

— Давай сбегает на болото. Как там мой самолет? Я с тех пор туда не ходил. Помнишь?..

Настя кивнула.

— Пойдем?..

Она снова кивнула. И дети помчались через поле, вмиг забрызгавшее их с головы до пят дождевой влагой.

Их ожидало разочарование. Болото поглотило самолет, всосало его в себя, так что и малого следа не осталось.

— Надо же! — потрясенно сказал Юра.

Постояли дети, погоревали и побрели назад. А здесь их ожидал удар похуже — пропала Буянка.

Вот и орешник, и погасший костерок с мокрыми картошками, и мешочек, а Буянки нет, как и не бывало.

— Может, в лес ушла? — высказал предположение Юра. — Ты общарь кустарник на опушке, — распорядился он, — а я маленько вглубь пройду. Ты не бойся, я аукать буду..

Густой смешанный лес с высокими соснами, темными разлапистыми елями, старыми березами, с плотным подлеском и буреломом меж деревьев принял мальчика в свою паркую духоту, прелый жар. Юра крался, сбрасывая клейкую паутину с лица, осторожно раздвигая ветви. Он и сам не мог бы объяснить, почему так напряжен и осмотрителен стал его шаг. Дети, особенно мальчики, очень впечатлительны и порой, неведомо для самих себя, начинают вести себя так, как действовали бы их любимые герои в сходных обстоятельствах. Через лес сейчас шел не деревенский мальчонка, а Следопыт, Зверобой, Разведчик.

Юра перепрыгнул через ручей, вскарабкался по крутому берегу и вдруг замер, удивленный странными, хорошо знакомыми и вовсе неуместными в лесу звуками. Он прислушался, сделал несколько быстрых шагов и раздвинул ветви.

На краю полянки спокойно стояла Буянка, лениво перекатывая в челюстях жвачку. Чьи-то большие, узловатые, загорелые руки дергали ее за дойки, и струи молока, позванивая, бежали в мягкое жестяное ведро.

Юра чуть просунулся вперед. К великому его изумлению, воровским делом занимался мужчина. Станный мужчина — с худым, вылуценным лицом, заросшим седой бородой, с темными острыми глазами, в изношенной, выгоревшей гимнастерке и ватных драных штанах. И доилец увидел Юру. Несколько мгновений они молча разглядывали друг друга, руки человека продолжали ритмично двигаться. Затем он неловко поднялся.

— Ах ты гад! — закричал истошно Юра. — Молоко воровать! Настя!.. Ребята!..

Щербатый рот человека злобно дернулся. Он поднял ногу, и корявый, подкованный сапог с силой опрокинул ведро. Пролилось на траву белое молоко. И мигом пробудилась Юрина память: виселица, табурет, Настин отец с петлей на шее, толсто подшитый, окованный сапог..

— Полицай! — вскрикнул он и, сунув пальцы в рот, пронзительно засвистел.

Рука Дронова дернулась к ножу на поясе, но тут же он повернулся и побежал через поляну, сильно припадая на раненую ногу...

Дронов хорошо знал лес, в котором скрывался, залечивая раны, уже несколько месяцев. Он полагал, что без труда уйдет от преследователей и отсидится в своем логове сколько надо будет.

Попетляв одному ему ведомыми тропками, почти неразличимыми в траве, валежнике и палых иглах, он вышел из чащи в солнечный просвет, огляделся и в конце узкой просеки увидел две детские фигурки. Он сразу узнал давешнего мальчонку. «Хитер стервец! — усмехнулся Дронов, вспомнив, как тот звал подмогу. — Дать бы тебе по башке, и вся недолга!»

Если б не покалеченная нога, Дронов, сильный, выносливый мужик, без труда ушел бы от этой жалкой погони. Но он не мог бежать, к тому же быстро уставал. Самое простое было — напугать детей, выгнать их из леса. Он поднял суковатую палку, обломил кривой конец и, опираясь на нее, сильно, размашисто зашагал в сторону детей.

Они и не думали бежать. Спокойно стояли на свету, и это Дронова смутило: может, на живца берут?.. Он сдержал шаг, потом вовсе остановился, тяжело дыша. Но выхода не было, и Дронов передвинул поудобней ремень с ножом и устремился вперед со всей быстротой, на какую только был способен. Покалеченной ногой он зацепил за корягу, чуть не упал, с трудом удержал равновесие, а когда вновь взглянул вперед, детей не было. Видно, трусили, чesанули из леса.

Он повернулся и не спеша побрел назад. На пересечении просек оглянулся. Дети шли за ним.

Дронов вломился в чащу, прошел по ручью, чтобы не оставить следов, вскарабкался наверх и забрался на старую ветвистую сосну.

Через некоторое время он увидел детей. Они вышли к ручью, недоуменно остановились, затем девочка пошла по берегу в одну сторону, а парень — в другую, к сосне.

Дронов спустился чуть ниже и вынул нож.

Мальчишка приближался, сейчас он окажется под деревом, и дело будет сделано. Но, обшарив окрест быстрыми, цепкими глазами, мальчишка отскочил назад. Дронов аж зубами заскрежетал от злости и разочарования. Мальчишка сунул пальцы в рот и громко засвистел, призывая девочку. Его свист ударил Дронова по нервам, он примерился и бесшумно спрыгнул в толстый бархатный мох.

Мальчишка не шелохнулся, похоже, не заметил и не услышал его соскока. Секунду-другую Дронов колебался — прикончить ли парня или тихо смыться? Выбрал второе.

Мох скрадывал его шаги. Перед ним был овраг, дальше начиналось болото, за которым — новый дремучий лес. Дронов прибавил шагу...

Он достиг болота и оторвался от преследователей. Тыча палкой в топкую почву, стал перебираться через болото. Внешне безобидное, оно скрывало под темно-зеленой осокой страшные засасывающие глубины. Дронов был предельно осмотрителен и точен в движениях. Он одолел больше половины пути и лишь раз оступился в торфяную жижу. Сорвав пук травы, соскреб с сапога тяжелые ошмотья грязи, примерился к ближайшей кочке — и увидел на бугре за болотом, куда он держал путь, своих преследователей. Как они там оказались?.. Видать, лучше его знали окрестности...

От огорчения бывший полицейский сделал неосторожное движение и провалился в жирный торф. Ухватился за корешок, ободрал в кровь ладонь, но все-таки втащил себя на кочку. Кочка оказалась плавучей, она перевернулась, и Дронов погрузился по пояс в топь. Рванулся вперед — и ушел по горло.

— Помогите!.. — безотчетно заорал Дронов.

Он видел, как дети сбежали вниз, потом мальчишка вернулся на бутор и стал подавать кому-то призывные знаки, размахивая рубашкой и что-то крича.

Дронов услышал ворчание трактора. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы вырваться из трясины. Ворчание стало ревом, и вдалеке показался трактор. Это было спасение, это была гибель. Дронов подался грудью вперед, хлебнул черной тухлой жижи и внезапно нащупал твердь.

Сильное тарахтенье раздалось над самой его головой. «Кукурузник ПО-2» шел так низко, что летчик, наверное, видел барахтающегося в болоте человека. Дронову показалось, что самолет делает заход на посадку. «Помочь хотят, мать их!» Отчаяние придало ему силы — он вырвался из трясины и вытащил на берег свое измученное тело. Он был весь облеплен торфом, трава набилась в сапоги.

Дронов с трудом стал на ноги и, оставляя мокрые следы, побрел к лесу. Оглянувшись, увидел, что дети, прыгая с кочки на кочку, перебираются через болото. Рука его потянулась к поясу — ножны были пусты: он обронил нож, пока барахтался в воде.

Болотистые кочки надежно держали легкие тела детей, а трактор уже вползал на бугор. Самое разумное было — воспользоваться полученной форой и уйти как можно дальше. Дронов так и сделал...

...Он и сам не знал, сколько времени плутал по лесу. День приметно склонился к вечеру. Он смертельно устал, жажда саднила гортань. Внезапно он услышал впереди стук топора и звон пилы. Перед ним был стан лесоповальщиков: брезентовая палатка, у входа — кадка с водой. Кадык заходил по горлу. Но Дронов пересилил себя, снова углубился в лес и вскоре набрел на бочажок. Став на колени, он потянулся к воде. Навстречу всплыло страшное, черное, незнакомое лицо с лихорадочно блестящими из глубоких провалов глазами. Дронов глядел на себя и не узнавал, и тут что-то стукнуло его между лопаток. Он взвизгнул от страха и вскочил. Кругом — ни души. Только на сосне, склонившейся над бочажком, белка грызла орехи. Дронов

погрозил ей кулаком, опустился на колени, напился и стал пробираться к своему логову.

Вот и его землянка под неохватным полусгнившим стволом поверженного молнией старого ясеня. Дронов огляделся и юркнул внутрь. Без сил рухнул на еловый лапник...

...Проснулся Дронов среди ночи. Он передохнул и вновь был полон сил. Хоть ему удалось уйти от погони, оставаться в этом лесу было опасно, надо менять логово. Он быстро собрался, сунул за пояс топор и выбрался наружу.

Большая, чистая, круглая луна стояла над островерхими елями, заливая лес серебристо-голубоватым светом. И в призрачном этом сиянии Дронов увидел в нескольких десятках метров от землянки сидящих на поваленном дереве детей. Девочка, похоже, дремала, мальчишка разбудил девочку, они слезли со ствола и не спеша отошли в тень.

Дронов замотал головой, ему показалось, что он сходит с ума. Эти вездесущие дети принадлежали не яви, а кошмару. По здравому рассуждению, даже подраненный, даже истомленный лишениями, но закаленный, крепкий Дронов, прошедший огонь, и воду, и медные трубы, должен был уйти от маломощных преследователей. Но разве знал Дронов, что за ним гнался не просто деревенский мальчик. Ребенок — личинка взрослого человека, в нем заложены все те качества, которые достигнут расцвета с приходом зрелости. И маленький Юра Гагарин уже был заряжен той нерядовой выносливостью, нерядовым мужеством, нерядовой наблюдательностью и смелостью, нерядовой выдержкой, что в свой срок заставят выбрать именно его из десятка первоклассных парней для первого космического полета.

Но пусть Дронов и не представлял, с какой исключительной душевной и телесной организацией свела его судьба, он понял главное — мальчишка дьявольски смышлен, смел, вынослив и настырен, впился в него, как клещ. Значит, остается одно. Не бежать, не скрываться, а самому преследовать, загнать и уничтожить.

И, выхватив топор, Дронов кинулся на детей. Они сразу разбежались в разные стороны, но девочка не интересовала Дронова, хотя ее проще было бы догнать. Сжав челюсти и пренебрегая болью в ноге, бывший полицей устремился за мальчишкой. Раз-другой он почти достигал его, но бить хотелось наверняка, а тот метался из стороны в сторону и не давал примериться к удару. Дронов опять начал задыхаться, больно закололо в боку, но ведь и мальчишка не железный, выдохнется когда-нибудь.

Кусты, ветви, стволы... Из света в тень, и опять в свет, и снова в тень... Сколько это длилось — час, сутки, год, вечность? Дронов спотыкался, падал и снова бежал, пот заливал ему глаза.

И вдруг в неправдоподобной близости он увидел перед собой узкую мальчишескую спину. Дронов размахнулся и метнул топор. Лезвие ослепительно блеснуло и врезалось в светлую ткань рубашки между лопаток. Дронов остановился, сбросил пот с лица. В стволе сосны торчал его топор. Он зыркнул глазами — мальчишка стоял на лужке, залитом лунным светом.

Шатаясь, Дронов подошел к сосне и с усилием извлек топор... Нет, ему не настичь этого гаденыша. Кончится тем, что тот выведет его к стану лесорубов или на проезжую дорогу. Надо уходить. Дронов вломился в чашу.

Он петлял, как заяц, между стволами, и когда наконец вышел в просвет, то подумал, что преследователей удалось обмануть. Но они шли прямо на него по просеке. Их тени, увеличенные луной, скользили по земле, подбираясь к его ногам. Дронов попятился, поджимая ноги, словно тени могли ожечь его. И вдруг, всхлипнув, метнулся прочь.

Он потерял ориентировку, путал стволы с прозорами между ними, когда же снова выбрался на просеку, по седой бороде текла кровь. Дети шли на него. Теперь они сами стали под стать своим теням, вытянувшись вровень с деревьями, и лунный нимб мерцал вокруг их голов.

Дронов повернул вспять, но и оттуда надвигались осинные луной великаны.

— Врешь! — сказал полицей и отступил за куст. — Врешь, не возьмете Дронова!

...Юра медленно и осторожно шел по узкой просеке. В нескольких шагах за ним ковыляла измученная Настя. Вдруг он резко шатнулся назад: на него впритык уставилось иссиня-бледное лицо Дронова с вытаращенными глазами и закушенным меж длинных резцов языком.

Дронов был мертв — он повесился на ремне, привязав его к стволу осины и подогнув ноги.

Подошла Настя, глянула и отвернулась.

— Идем отсюда! — Юра взял ее за руку.

— Какая я усталая!.. — сказала Настя.

За Настей приехала мать — военно-медицинская сестра. Она забрала Настю с собой в Можайск, где находился госпиталь, в котором она служила.

Провожали Настю все ее немногочисленные деревенские друзья во главе с плачущей Ксенией Герасимовной, но девочка, счастливая возвращением матери, никого не замечала. И Юра напрасно крутился возле госпитальной машины, Настю занимали медали на груди матери, звездочка на ее ушанке, белый мех романовского полушубка, медная пряжка ремня, Юру она не видела. И дело даже не в радости свидания с самым родным и близким человеком. Настя после леса выздоровела. Не только от потрясения, немоты, а и от всей здешней жизни, которая хотела быть доброй к ней, но против воли оказалась жестокой и страшной.

Немцы и полицей, ужасная казнь отца, вечный страх, недоедание, тоска, погоня за Дроновым — все это было выше ее малых сил. Об этой жизни — всей — лучше скорее забыть, выбросить ее из головы и сердца. В сущности, то было естественное стремление здоровой и дюжинной натуры.

Настя выздоровела и от Юры Гагарина, с его слишком страстной дружбой.

И когда машина тронулась и Юра сперва пошел вровень с кабиной, потом затрусил, потом побежал, не разбирая дороги, в надежде на какое-то чудо, Настя лишь на выезде из деревни повернула к нему свое веснушчатое лицо, улыбнулась рассеянно и махнула рукой...

А дома Юру встретила опечаленная мать. На столе валялся раскрытый солдатский треугольничек.

— Прощайся сынок, с Клушином. Отец в Гжатск зовет.

Юра вопросительно глянул на мать.

— Демобилизовали его по болезни. В Гжатске легче работу найти. — Анна Тимофеевна внимательно посмотрела на сына. — Что грустный такой?.. За Настей скучаешь? Привыкай к такому, сынок. Вся жизнь из разлук и встреч состоит...

Пасмурный, не летний вовсе, а безнадежно печальный осенний день, с серым, низким, сочащимся небом, с холодным, настойчивым ветром и хлопающими под ногами лужами.

По дороге, ведущей из Клушина в Гжатск, медленно движется возок. В оглоблях — терпеливая Буянка; телега гружена скудным гагаринским имуществом, наверху сидит закутанный в платки Борька. Анна Тимофеевна Гагарина и Юра идут за возком.

Далеко вытянулась, аж за горизонт, темная от дождя, узкая лента дороги...

...Но куда более длинной кажется космонавту-1 та красная дорожка, по которой он должен прошагать на глазах всего мира, чтобы отрапортовать Советскому правительству о «взятии» космоса.

И жадно приникла к телевизору с круглой линзой большая деревенская семья. Толкают друг дружку, смеются и шепчутся веснушчатые дети; их четверо — старшей лет

двенадцать, младшему и трех нету. Надувается, играет бровями, гордясь земляком, слегка выпивший на радостях глава семьи с широко обветренным лицом пахаря. Почти до слез взволнована хозяйка, в которой сквозь напластования лет, трудов, усталости, лишений легко узнать хотя бы по конопатой седловине носа бывшую девочку Настю.

Настя вглядывается в прекрасное лицо Гагарина, видит его серьезные и радостные глаза, его сжатые, но готовые к улыбке губы, и бывшее сладко и больно щемит сердце женщины.

— Господи, — шепчет она, — ведь сказать кому — не поверят...

— Ты о чем? — рассеянно осведоляется супруг.

— Ведь я знала Юру Гагарина, дружила с ним... Надежды! — И чувствуется, что она сама этому не верит...

...Далеко за горизонт протянулась мокрая грустная дорога, по которой, еще не ведая своей судьбы, бредет за возком чудесный мальчик...

Осенним днем двое охотников в комбинезонах, плащ-палатках, резиновых сапогах, с ружьями в твердых чехлах и дичью в ягдташах подошли к речному перевозу и попросили древнего деда-перевозчика доставить их на ту сторону.

— Сидайте! — сказал дед, и охотники быстро погрузились в лодку.

— До Гжатска далеко, отец?

— До какого Гжатска?

— Вот те раз! По Гжати возишь, а Гжатска не знаешь!

— Я город Гагарин знаю, — веско сказал старик.

Охотники переглянулись.

— Прости, отец, не в привычку еще... Далеко до Гагарина?

— На бугор подымитесь, и станцию видать.

Перевозчик дернул шнур, затарахтел слабенький мотор, лодка поползла по тихой воде.

- Вы местный? — спросил пожилой охотник.
- Здесь родился, здесь и в землю лягу.
- А Юрия Гагарина встречали?
- Мы с его отцом Алексеем Ивановичем по корешам.

А Юра завсегда меня проводывал.

- Небось сильно тут переживали его гибель?

Старик вздохнул, насупился.

- Вынули наше сердце...

— Такая блистательная жизнь, такая нелепая смерть! — будто про себя произнес молодой охотник.

Старик вскинулся, как боевой конь при звуке трубы.

— Это чем же нелепая? Такая жизнь, такая смерть — самая лепая!..

— А ты, отец, знаешь, как он погиб? — чуть удивленно спросил молодой охотник.

— Я-то знаю, мы все тут знаем!.. Вот вы, похоже, не больно знает! — с горечью сказал старик.

- Ну, расскажи, — попросил молодой охотник.

— Они с задания шли, а им в мотор иногороднее тело попало...

- Инородное, — поправил пожилой охотник.

— Ежели ты лучше моего сведом, так и рассказывай, а я послушаю. Или молчи и не перебивай. Какое еще инородное тело? Летающая тарелочка, что ли? Так их и в заводе нету. А иногороднее тело — пузырь, каким погоду измеряют. Он гдей-то оборвался, ветром его принесло и в мотор засосало. Самолет сразу клюнул и на лес пошел. Товарищ Серегин — он за командира был — говорит: «Приготовиться сигать с парашютом!» Это, конечно, не зонтик, а цельная машина, она летчика вместе с сиденьем выбрасывает. Нажал кнопку, пружина тебе под зад как даст, и ты со всеми удобствами высигиваешь. Ну, Юра, конечно, отвечает по военной краткости: «Есть приготовиться!» Товарищ Серегин другую команду дает: «Пошел!». И тут у него заедает кнопка. И понимает командир корабля, товарищ полковник Серегин, что ему не спастись. И еще видит он,

что Юрий Гагарин сидит на своем месте и палец на кнопке держит. «Почему не выполняешь приказа?» А Юра ему: «Приказ для нас обоих, один не буду». — «Отставить разговорчики! Я твой командир и приказываю!» — «Нет, товарищ командир, только с вами вместе!» — Голос старика дрожит, он шумно сморкается, утирает глаза. — А лес уже вот он, вот он, под самым брюхом самолета!..

Мощный, оглушительный вой и насадный грохот заполняют тишину простора, и сидящие в лодке видят, как погнулся темный лес на берегу, как пошло срезать незримой бритвой верхушки сосен, елей, берез, вязов. Белесым частоколом выстроился обезглавленный лес.

И раздался взрыв...

Потом все исчезло, остался лишь большой серый камень на том месте, где погиб Юрий Гагарин...

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА». Центральная студия детских и юношеских фильмов имени М.Горького. 1976.

Автор сценария — Ю. Нагибин. *Режиссер-постановщик* — Б. Григорьев. *Оператор-постановщик* — К. Арутюнов. *Художник-постановщик* — Б. Дуленков. *Композитор* — Г. Дмитриев. *Звукооператор* — Д. Боголепов.

В ролях: Л. Лужина, Г. Бурков, Олег Орлов, Света Поноарева, М. Булгакова, В. Бекерис, Б. Григорьев.

Срочно требуются седые человеческие волосы

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ второй вариант

Ленинград. По проспекту имени Кирова идет средних лет человек с непокрытой седой головой и смугловатым печальным лицом. Разгар июля, солнце плавит асфальт, а на человеке — темный, не по сезону костюм; тугой, округлый, «пасторский» воротничок, удушливо сжимает горло; на ногах — тяжелые ботинки на толстой микропоре, рассчитанные на осень или зиму. Видно, что одежда несколько не интересует человека. Руку ему оттягивает огромный, порядком заношенный дерматиновый портфель. Этот скучный и значительный портфель да и весь облик прохожего наводят на мысль, что он командировочный. Так оно и есть: инженер Сергей Иванович Гуцин приехал из Москвы на «Ленфильм» и сейчас прямым путем направляется через улицу к студийному подъезду.

Здесь внимание его привлекла доска объявлений. Он скользнул по ней взглядом внимательных светлых глаз и замер, будто наскочил на препятствие. Черным по белому — густой черной тушью на белом, с морозным гляncем ватмане — было смачно выведено: «Срочно требуются седые человеческие волосы». А рядом висели выцветшие, пожелтевшие объявления, оповещающие мир, что «Ленфильму» нужны уборщицы, осветители, шоферы, парикмахеры, электротехники, рабочие на пилораму, вахтеры, буфетчица, пиротехник и счетовод.

Гушин вслух перечел объявление, делая паузу после каждого слова:

— Срочно ... требуются... седые... человеческие... волосы... Вот это да!..

За его спиной послышался короткий смешок. Он обернулся и увидел девушку с чистым детским лицом и пышно застылой, слишком взрослой и модной прической.

— Не бойтесь, — сказала девушка. — Это же добровольно.

Гушин думал о чем-то своем и не понял обращенных к нему слов. Его взгляд стал растерянным.

— Вашей седине ничего не грозит, — чуть смущенно пояснила девушка.

— Хорошо хоть, что им не требуются человеческие зубы, ногти и кожа, — не понуждая себя ни к любезности, ни к остроумию, хмуро отозвался Гушин.

Страдальческая гримаса покривила лицо девушки, состарив его на миг.

— Простите, — сказала она. — Это была плохая шутка. Я бестактная дура.

Гушин пристально посмотрел на девушку, в его светлых глазах появилась теплота.

— Да что вы! Я вовсе не узник фашистского лагеря.

— Правда? А мне показалось, что я заставила вас вспомнить о чем-то дурном и страшном.

— Бросьте, ей богу! Все в порядке. — Гушин улыбнулся. — А для чего им нужны эти волосы?

— Для париков. — Девушка тоже улыбнулась, она поверила, что не причинила ему боли.

— А я думал, для матрацев.

— Для матрацев?!

— Да. В немецких гостиницах над умывальником висит целлулоидный рожок, туда полагается сбрасывать вычески. Потом этими волосами набивают матрацы.

— Как мило! Как разумно! — Девушка передернула плечами. — И как отвратительно!

— Что б вывесить такое воззвание, — Гушин кивнул на стенд, — тоже надо обладать завидно ясным и нетревожным духом.

— А что же делать? Как играть почтенных академиков, школьных учительниц на пенсии, изящных маркиз и прочих светских дам в исторических фильмах, если не будет седых париков?

— Вы правы... — рассеянно отозвался Гушин.

Между ними настала та неловкая пауза, которая неизбежна в случайном уличном разговоре двух незнакомых людей, ничего не знающих друг о друге, сведенных ненароком безотчетной симпатией и вынужденных расстаться.

Девушка посмотрела на ручные часы и охнула.

— Вы торопитесь? — вдруг ринулся напролом Гушин. — Может, побродим по городу?.. Если у вас, конечно, есть время. Я тут в командировке, только зайду на студию, буквально на пять минут... — Он говорил быстро, сбивчиво, боясь, что его прервут. — А потом мы могли бы покататься на речном трамвае, посидеть в кафе или пойти в Летний сад...

Девушка не прерывала Гушина, она смотрела на него вроде бы с сочувствием.

— Как много всего сразу! Мы должны выполнить всю программу: прогулка, кафе, речной трамвай, Летний сад? Вы ничего не забыли? Еще можно подняться на Исаакия, съездить в Лавру и на Волково кладбище, а Эрмитаж, Русский музей, квартира Пушкина?

— Простите, — сказал Гушин смиренно и без всякой обиды становясь на подобающее ему место... — Это внезапное помрачение рассудка, со мной давно никто не заговаривал на улице. Мне вдруг показалось, что мир сказочно подобрел.

Лицо девушки притуманилось и вновь будто постарело.

— Зачем вы так? Я же не отказываюсь. Но мне тоже нужно на студию, и тоже на пять минут.

— Так идите!.. Вам в какой отдел?

— В актерский.

— Вы?..

— Да, я именно то, что никогда не требуется на студии — актриса. А вы? Ума не приложу. Вы не подходите к студийной обстановке.

— Почему?! Судя по той же доске объявлений студия имеет дело не только с творческими работниками.

— Нет. — Девушка покачала головой. — Кино, как Бог шельму, метит всех, кто попадет в его орбиту. Студийный счетовод ближе к Олегу Стриженову, чем к другому счетоводу из какой-нибудь ЖЭК. Вы не киношник, вы серьезный и грустный человек, случайно попавший в страну лжечудес.

— Проще говоря, я инженер. По специальности катапультист. Меня прислали сюда по вызову группы «Полет в неведомое».

— Знаю, — сказала девушка. — У них там все время катапультируются. Вы, конечно, москвич?

— Да, я заметил, ленинградцы мгновенно угадывают москвичей.

— Простонародный говор выдает, — засмеялась девушка. — Ну что же, мы уже знаем друг о друге в пределах анкеты для поездки, скажем, в Болгарию. Не заполнена первая графа. — Она протянула ему руку. — Поскурова Наталия Викторовна. Наташа.

— Гуцин Сергей Иванович.

Они обменялись рукопожатиями и вошли в вестибюль киностудии.

— Вам за пропуском? — спросила Наташа и гордо. — А у меня постоянный. Значит, встречаемся здесь через четверть часа.

— Послушайте, — остановил ее Гуцин, — если вы не придете... не сможете прийти, это ничего. Я не обижусь. Я вам всю жизнь буду благодарен за встречу.

— Как странно вы говорите! За что вам меня благодарить?

— Вы были так добры... столько сделали для меня. Я не могу вам этого объяснить, — бормотал он растерянно.

— Но зачем же такой прощальный тон? Ведь мы же увидимся.

Гущин покачал головой.

— Да, да... Но в этих коридорах люди легко теряются...

— Я-то не потеряюсь! — засмеялась Наташа.

Она кивнула вахтеру, видимо, знавшему ее в лицо, и побежала по коридору помещения.

Гущин проводил ее взглядом, потом подошел к пропускной и протянул над барьером свой паспорт.

— Заявка есть? — спросил инвалид-охранник.

— Не знаю. Должна быть.

— Не вижу что-то...

— Я прихожу сюда уже пятый раз. Неужели вы меня не запомнили?

— Эдак я каждого могу запомнить... — начал скучным голосом охранник, но тут ему попала заявка на Гущина.

Он долго и старательно выписывал, вернее, вырисовывал пропуск своей калечной рукой. Вокруг творилась обычная студийная жизнь. Престарелая актриса с рыжим шиньоном умоляла по телефону заказать ей пропуск: «Аркадий Сергеевич сам назначил встречу. Вы что-то путаете, милейший... Он хотел попробовать меня на Царевну-лебедь» — в грудном голосе актрисы звучали слезы.

Длинноволосый юнец сказал своему приятелю с тонким прыщеватым лицом: «Старик, лента, несомненно, удалась!»...

Дама в пенсне провела мимо вахтера двух испуганных школьниц с милыми, жалкими косичками — девочек влекли на жертвенный алтарь искусства...

...Инвалид-охранник протянул Гущину пропуск. Но тут же снова забрал и еще раз сверил с паспортом.

— Похоже, что у вас не киностудия, а термоядерный институт, — заметил Гущин.

— Это почему же? — не понял охранник.

— Такая у вас канитель с пропусками.

— Иначе никак нельзя! — убежденно сказал охранник. — У нас в прошлый год две рояли увели.

Гущин расхохотался, предъявил пропуск вахтеру и двинулся по коридору.

Толкнув дверь с надписью «Полет в неведомое», он оказался в святая святых съемочной группы — режиссерском кабинете. Тут было пусто, если не считать фанерного столика и одного стула. Режиссер — высокий, седеющий красавец, выбросил из-за стола свое тренированное тело и приветствовал Гущина с тем ничего не значащим ледяным радушием на грани панибратства, которое столь характерно для киношников.

— Ну, как вы, дорогой, отбываете в родные пенаты?

— Отбываю. Пришел попрощаться и пожелать вам удачи. Если что будет нужно, немедленно дайте знать.

— Спасибо, спасибо! Вы нам так просветили мозги, что дальше некуда. Еще раз спасибо от всего нашего творческого коллектива, — и режиссер широким жестом обвел пустой кабинет.

Он не смог ограничиться простым рукопожатием, обнял Гущина на прощание и прижал его голову к своей гладко выбритой, атласной щеке.

Гущин пересек коридор и вошел в приемную директора.

— Здравствуйте, — сказал он секретарше. — У кого я должен отметить и получить билет?

— Все у меня, — доброжелательно отозвалась величественная секретарша. — Что так быстро?..

— Мы все закончили.

— Все, все? — спросила она с привычной недоверчивостью.

— Все... Пожалуй, есть одно дело. Где у вас сдают седые человеческие волосы?

— Господь с вами! — замахала руками секретарша. — У вас такая красивая седина!

— У меня сегодня на редкость счастливый день, — сказал Гуцин, — мне то и дело говорят добрые слова.

— Неужели вы так нуждаетесь в деньгах? — Впечатление было такое, будто она хотела дать Гуцину взаимы.

Он рассмеялся.

— Я видел ваше объявление... А потом у меня случился один разговор, и мне захотелось напомнить себе о нем. Не обращайтесь на мою болтовню.

— Какой-то вы сегодня странный!

— Я же сказал, что у меня счастливый день. А люди от счастья глупеют. Это скоро пройдет.

Секретарша отметила ему командировку и протянула конверт с билетами.

— Вот... мягкая стрела.

— Спасибо. Всего вам доброго.

Гуцин вышел в коридор. Он не торопился покинуть студию. На стенах висели фотографии, изображающие рабочие моменты съемок и сцены из знаменитых фильмов, некогда снятых студией. Гуцин стал их рассматривать, осторожно продвигаясь среди заполняющих коридор непризнанных гениев. Наконец он отыскал то, что хотел: на одном из снимков, изображающих сельскую сцену, он обнаружил на заднем плане Наташу. Она была в жакетике, высоких сапогах, по брови повязана платком. Гуцин долго вглядывался в ее совсем детское на снимке лицо. Затем рассмотрел другие фотографии, но нигде больше не нашел ее и вернулся к сельскому снимку.

Наконец он двинулся к выходу. Спустившись в вестибюль, он увидел сквозь мутноватые стекла входных дверей летний уличный мир, уже не принадлежавший студии, и невольно сдержал шаг.

— Это бог знает что! — услышал он задыхающийся, беспомощно-гневный голос. — Вы... вы просто старый авантюрист!

Перед ним стояла Наташа, ее темные глаза были огромными и полны возмущения и подступающих слез, а нижняя часть лица — губы с опустившимися уголками, сморщившийся подбородок — совсем старой.

— Я не верил, что вы придете, — пробормотал Гушин.

— Какой вы, ей богу!.. — сказала Наташа с досадой, но уже без гнева. — Вас, наверное, много обманывали?..

Гушин не ответил, пожал плечами...

...Он перенесся в свою московскую жизнь. Ночь. Он сидит над альбомом с изображением прекрасных зданий Ленинграда. Из прихожей донесся какой-то шум. Гушин поднял голову, прислушался. Впечатление такое, будто кто-то пытается открыть входную дверь. Но что-то случилось с замком, и желающий войти в квартиру начинает яростно трясти дверь. Гушин идет в прихожую и открывает.

— Дурацкий замок, все время убегает от ключа, — говорит его жена Мария Васильевна и улыбается рассеянной улыбкой. Ей под сорок, но она еще довольно привлекательна. И вдруг глаза ее недобро сузились, и, наступая на мужа, невольно попятившегося, она сказала почти грозно: — Ну, так где я была?

— Что это значит?.. — смешался Гушин.

— Твой обычный вопрос... А мне надоело придумывать. Понимаешь, надоело!

— Что ты делаешь с нашей жизнью?..

Мария Васильевна не ответила и прошла мимо мужа...

...Они брели по Кировскому проспекту в сторону Невы, с тенистого проспекта на полную солнечного блеска площадь имени Горького, а затем к Кировскому мосту.

— А почему вы стали катапультистом? — спросила Наташа.

— Почему человек становится тем или иным?..

— Вы не обижайтесь, Сергей Иванович, мне правда непонятно, как додумывается человек до такой вот редкой

и необычной специальности. В юности все мечтают осчастливить человечество. Видимо, и вы думали осчастливить близких катапультированием?

— Конечно! — засмеялся Гушин. — Катапультирование неразрывно связано с космическими полетами, а кто в двадцатом веке не мечтает о космосе? К тому же на войне я был летчиком.

— Понятно! Космос — это да! Хотя, честно говоря, меня больше интересует наша бедная земля. — Наташа засмеялась. — Отчего такое, люди никак не могут создать не то что счастья, хотя бы порядка на земле, а уже рвутся наделить своим неустройством другие планеты?

— Быть может, по этому самому... — задумчиво сказал Гушин. — Человек не властен над временем, отсюда страх смерти, но он может в известных пределах подчинять пространство. Расширяя постижимое пространство, он словно отодвигает смерть.

— Ну, это слишком сложно для меня. И потом я еще не начала бояться смерти.

— Я тоже не боюсь, — как-то очень серьезно сказал Гушин. — Наверное, потому, что я плохо живу. Я устал...

— Ну чего ты так мучаешься? — говорит Гушину жена. — Почти все так живут.

— Я в это не верю, — отвечает Гушин.

— Ты просто слеп к окружающему. Уткнулся в свою работу и картинки, не видишь реальной жизни.

— Я не был слеп к тебе.

— И ко мне ты был слеп. Нельзя без конца играть в доверие и прощание. Надо уметь когда-то стукнуть кулаком.

— Видимо, мне это не дано.

— Тем хуже.

— Неужели у тебя все-все прошло? Ты же любила меня когда-то...

— Мне нет сорока, а мой супружеский стаж перевалил за двадцать лет. Ты не находишь, что это слишком много? Ветераны уходят на покой.

— Ты называешь свою жизнь покоем?

— У каждого свои представления на этот счет... мы могли бы дружить, если бы ты не давил на меня.

— Я на тебя даваю?

— Да! Своим молчанием и тем, что не спишь и ждешь меня, и всем своим проклятым благородством! — Она вдруг заплакала.

— Не плачь, прошу тебя!.. Я не могу, когда ты плачешь!..

...Они прошли Кировский мост, перед ними был памятник Суворову, дальше — перспектива Марсова поля.

— Наверное, мне надо быть вашим гидом, — сказала Наташа. Ну, это вы, конечно, знаете, памятник Суворову знаменитого скульптора Козловского. Слева дом, построенный Деламотом...

— Нет, — очнувшись от своих дум, сказал Гушин. — Вы ошибаетесь. — Это не Деламот, а Кваренги.

— Я коренная ленинградка, — обидчиво сказала Наташа. — Неужели я не знаю? Это ранняя работа Вален-Деламота.

— Зачем вы спорите? На доме есть мемориальная доска со стороны площади. Там ясно сказано, что дом построен Кваренги. Это одна из первых его работ в Петербурге. Хотите сами убедиться?

Но едва они ступили на мостовую, раздался пронзительный свисток милиционера.

— Вы даже не знаете, где можно перейти улицу, — злобно сказала Наташа, — а туда же, спорите!..

— Да, нам придется сделать крюк, — согласился Гушин. — Но это не меняет дела. Хотите, я назову вам все известные постройки Кваренги и Деламота, сохранившиеся, сторевшие, снесенные, уничтоженные временем или перестроенные до неузнаваемости? Лучше начать с Дела-

мота, он меньше строил: Академия художеств совместно с Кокориновым, Малый Эрмитаж, дворец графа Чернышева, позднее перестроенный, Гостиный двор, «Новая Голландия»...

— Можно не переходить улицу, — поспешно сказала Наташа. — Ничего не понимаю. Эти познания распространяются и на других зодчих или у вас узкая специальность: Кваренги — Деламот?

— На всех, кто строил Петербург, — с наивной гордостью сказал Гушин, — будь то Квасов или Руска, Растрелли или Росси, Фельтен или Соколов, Старов или Стасов, но Кваренги мой любимый зодчий.

— Почему? Разве он лучше Воронихина или Росси?

— Я же не говорю, что он лучше. Просто я его больше люблю.

— Так кто же вы такой? Катапультист, архитектор, искусствовед, гид или автор путеводителя по Ленинграду?

— Катапультист, — улыбнулся Гушин. — Вы можете проверить на студии.

— А при чем тут Кваренги и все прочее? Ведь вы даже не ленинградец?

— Порой человеку нужно убежище, где бы его оставили в покое. Люди даже придумали паршивое слово для обозначения этого спасительного бегства души: хобби. Старый Петербург — мое хобби. Тьфу, скажешь — и будто струп на языке.

— Слово противное, но как вы пришли к этому?

— Вас все время интересуют истоки...

— Наверное, потому, что я сама чего-то ищу, — живо перебила Наташа.

— У вас же есть профессия.

— Да, и я ее люблю, только любит ли она меня?.. Но вы не ответили на мой вопрос.

— Я сам не знаю. Началось с путеводителей, потом я стал доставать у букинистов редкие издания. Город я хорошо знал, воевал на Ленинградском фронте... Главное же, у

меня много свободных вечеров, их прекрасно заполнять Захаровым, Кваренги, Чевакинским, Росси. Начинаешь верить, что человека нельзя унижить, пока он причастен «мировому духу».

— И вы по книжкам влюбились в Ленинград?

— О нет! — чуть улыбнулся Гуцин. — Наша связь куда крепче! Я воевал на Ленинградском фронте...

..Окраина Ленинграда зимой 1942 года. Вдалеке зыбится неповторимый контур Ленинграда с куполом Исаакия и Адмиралтейским шпилем. По заснеженной, изрытой бомбами и снарядами дороге медленно бредет толпа. Обгоняя пешеходов, проходят машины с притулившимися друг к дружке, закутанными в платки и тряпье темными фигурами.

Люди бредут молча, натужно, не глядя друг на друга. Малышей и слабых стариков везут на саночках. Ленинградцы держат путь к Ладоге, к дороге спасения...

Мы видим в приближении их обескровленные, восковые лица, провалившиеся, будто остекленевшие глаза. Тишину пререзает пулеметная очередь. Кто-то упал, кто-то, словно в раздумье, опустил на дорогу. Но шествие продолжает неспешно, молчаливо идти вперед.

Фашистский самолет делает новый заход. Он сечет свинцом беззащитных людей, в чьих обобранных голодом телах едва теплится жизнь. Все больше людей ложится на белую дорогу без стопа, без крика, без жалобы. А стервятник заходит снова. С оглушительным воем идет он на бреющем, и летчик вручную сбрасывает на дорогу гранаты и некрупные бомбы.

Лунатическое спокойствие голодной толпы рухнуло. Женщины подхватывают детей и бегут куда глаза глядят. Иные бросаются в придорожные сугробы, словно пушистый снег может дать защиту. Брошенный посреди дороги старик на детских санках беспомощно и жалко озирается...

Когда фашистский самолет вновь пошел на заход, его атаковал сверху советский истребитель. Он сечет «мессе-

ра» короткими очередями, но опытный немецкий летчик искусно выходит из-под огня и открывает ответный огонь... Завязывается бой. Каждый стремится зайти другому в хвост. Но вот загорелся «мессершмидт», и в ту же минуту пламя охватило советский истребитель. Почти одновременно летчики выбросились на парашютах. И символично распахнулись — над советским летчиком белый зонт, над фашистом — черный.

(Это не выдумка, на Волховском и Ленинградском фронтах у наших летчиков парашюты были из светлой ткани, у немцев — из темной.)

Ветер гонит парашютистов к лесу, но советский летчик умело подтягивает стропы, тормозит снос и дает противнику приблизиться к себе. Гуцин, а это был он, уже видел глаза немца и вытащил из кобуры «ТТ». Но немец, догадавшийся о его намерении, успел выстрелить первым. Пуля пробила рукав комбинезона Гуцина. Завязалась необычная воздушная дуэль. Оба изобретательно маневрируют, но ни одному не удается избежать пули.

На землю падают два бесчувственных тела. В глазах немца остановилась жизнь, и черный парашют обволакивает его крепом. И Гуцина накрыло белым саваном парашютного шелка...

...Госпитальная палата. Лежит забинтованный, как мумия, Гуцин. Видны лишь его большие, блестящие глаза. Сестра раздает почту. Протягивает Гуцину маленький, неумело склеенный конверт. Тот неловко вскрывает его толстыми от бинтов пальцами, с удивлением разглядывает незнакомый, крупный, полудетский почерк.

«Здравствуйте, дядя Сережа! Поздравляем вас с замечательной победой — прорывом ленинградской блокады. Ваша мама заболела немножко, и я пишу за нее, только вы, пожалуйста, не беспокойтесь»... Гуцин пропустил несколько строк и заглянул в конец письма. *«До свидания, дядя Сережа, побеждайте скорее фашистов и приезжайте*

домой. Ваша любящая Маша»... — Удивление и усмешка в глазах Гущина...

— Сергей Иванович! — послышался голос Наташи. — Куда вы исчезли? Вернитесь!..

— И правда, исчез, — смущенно улыбнулся Гущин. — Прошлое — как западня... Ну да бог с ним!.. Хотите я покажу вам свой Ленинград, вы не знаете такого Ленинграда.

— Где он находится, ваш Ленинград?

— В переулках, в маленьких двориках, на задах знаменитых зданий, а иногда прямо посреди Невского, только его не замечают, как часто не замечают того, что рядом.

— Сергей Иванович, милый, да нам дня не хватит!

Гущин оглянулся. Они стояли возле знаменитого Ставовского здания, служившего некогда казармами. От Кировского моста на большой скорости приближалось такси. Кошачий глазок над счетчиком свидетельствовал, что такси свободно.

Гущин замахал руками, но такси мчалось, не снижая скорости, не сворачивая к тротуару, и тогда Гущин выбежал на мостовую, преградив такси путь.

Наташа испуганно вскрикнула.

Таксист нажал на все тормоза, но машину протащило юзом почти до самых ног Гущина.

— С ума сошел? — заорал на него таксист. — Отвечай за тебя!

— Не шуми, браток! — весело сказал Гущин и распахнул перед Наташей дверцу.

Наташа села в машину, Гущин — рядом с ней.

— Давай прямо, браток, — так же весело сказал он.

Ошеломленный решительностью клиента шофер с язгом включил скорость. Машина тронулась...

...Сменяются планы Ленинграда. Вначале машина кружится в центре, и Гущин радостно сообщает Наташе:

— Кваренги — Оловянные ряды. Опять Кваренги — старая аптека... вон, видите, в перспективе дом с колоннами, это тоже Кваренги...

Наташа с интересом наблюдает за Гуциным, ее радует и чуть удивляет эта юношеская увлеченность пожилого человека.

Шофер вдруг резко свернул к какому-то неважному зданию нынешнего века, стилизованному под старину.

— Куда вы? Нам прямо! — вскрикнул Гуцин.

— А вон этот... как его? Кваренги, — сказал шофер.

Наташа засмеялась.

— Давайте на Литейный.

— А там Кваренги нету.

— Когда-то был, да еще какой! Сгорел в революцию. Но там есть кое-что другое. Поехали!..

...Они остановились возле невзрачного дома, во дворе которого находились винные подвалы и складские помещения. Тяжелые першероны тащили платформы с винными бочками, туго набитыми мешками и прочей кладью.

— Не выключайте счетчик, — сказал Гуцин. — Мы скоро.

— Не слишком живописное место, — заметила Наташа.

— Подождите, — сказал Гуцин, увлекая ее в глубь двора.

Они миновали бочкотару и штабеля полуразбитых ящиков, проскользнули под грустной лошадиной мордой, обогнули какую-то накрытую брезентом гору и оказались возле чугунных, никуда не ведущих воротец. Рисунок воротец, некогда принадлежавших ограде давно сгинувшей городской усадьбы, был дивно хорош: изящно стилизованные цветы, виноградные кисти, вьюнок, плющ.

— Чудо! — от души восхитилась Наташа. — Как вы это открыли?

— Если б я!.. Ворота есть в книге «Старый Петербург», но там они существуют в другом пейзаже. И, признаться,

попав сюда впервые, я хотел было повернуть назад... Слава богу, что не повернул, — добавил он серьезно.

— Какой вы милый! — так же серьезно сказала Наташа. Гушин смутился.

— Кваренги? — раздался за их спиной голос шофера. Его захватило это путешествие в прошлое.

— Нет, сказал Гушин. — Я склонен думать, что это Фельтен. Помните, решетку Летнего сада?

— Еще бы! — сказал шофер и задумчиво добавил: — Может, и Фельтен, кто их, к дьяволу, разберет!

— Теперь вы понимаете, что я имел в виду под «моим Ленинградом», — спросил Гушин, когда они двинулись назад к машине.

— Да, — она улыбнулась, — мне нравится этот незнакомый город.

Они сели в машину, и тут в поле зрения Гушина случайно попал счетчик. У него вытянулось лицо.

— Заедем на минуту на вокзал, — обратился Гушин к шоферу...

...Гушин наклонился к билетной кассе.

— Поменяйте мне, пожалуйста, мягкую «Стрелу» на пассажирский некупированный, — попросил Гушин.

Старая, выдавшая виды кассирша посмотрела на него поверх очков и сказала осудительно:

— Эх вы, господа командировочные, вечно до последней копейки проживаетесь.

— А как же, — сказал Гушин. — Гулять так гулять!

Он получил билет и денежную разницу и засунул все это в старый потертый бумажник, где уныло помещалась одинокая десятка...

— А теперь на Васильевский остров! — сказал Гушин шоферу.

Мелькнули Казанский собор, Адмиралтейство, сверкнул вдали шпиль Петропавловской крепости, надвинулась Биржа, Ростральные колонны...

Гушин привел Наташу в маленький садик на Васильевском острове, где под кустами хоронился обломок фигуры ангела на гранитном постаменте. От ангела уцелел лишь каменный хитон да одно крыло — гордое и красивое, как у лебеда на взмахе.

— Он был необыкновенно хорош, — с нежностью говорил Гушин. — Его второе крыло готовилось к взмаху, он как будто не знал — взлететь ему или остаться на земле. И тут была заложена мысль... — Он вдруг осекся, приметив в траве крупную металлическую птицу.

На обтекаемое тело птицы была накинута железная кольчужка из мельчайших, плотно прилегающих чешуек. Золотистая рябь пробежала по кольчужке, когда птица попала в перехват солнечного луча.

— Кто это? — оторопев, прервал свои рассуждения Гушин.

Проследив за его взглядом, Наташа сказала:

— Господь с вами, Сергей Иванович, скворца не узнали?

— Но какой он громадный! — растерянно произнес Гушин. — Царь-скворец, чудо-скворец... Ей-Богу, скворец куда лучше ангела. Он-то хоть живой!..

— Что это вы вдруг? — удивилась Наташа.

— Может, хватит старины? — просительно сказал Гушин. — Мне захотелось в сегодняшний день.

— Как хотите, Сергей Иванович, — мягко сказала Наташа. — Я совсем не устала.

— И все-таки, хватит прошлого, — настойчиво сказал Гушин. — Тем более, мой Ленинград сейчас вовсе не в этих обломках.

— Ого! — Наташа сделала большие глаза. — Вы опасный спутник, Сергей Иванович!

— Куда мне!.. — Гушин безнадежно махнул рукой.

Они вернулись к машине, Гушин заплатил весьма солидную сумму по счетчику и хотел дать водителю на чай, но тот наотрез отказался.

— Не надо!.. Вы так здорово нам все объяснили.

Гушин пожал ему руку, и они побрели пешком к мосту лейтенанта Шмидта.

— Вы одиноки, Сергей Иванович? — участливо спросила Наташа.

— Вовсе нет. У меня семья: жена и дочь, большая, почти ваша ровесница. А почему вы решили?...

— Мне показалось, что у вас никого нет, кроме... — она слабо усмехнулась, — кроме Кваренги.

— Это правда, — угрюмо сказал Гушин. — Хотя я не понимаю, как вы догадались.

— Ну, это несложно, — произнесла она тихо, словно про себя.

— А вы? — спросил Гушин. — Вы, конечно, не одиноки? У вас семья, муж?

— У меня никого нет. Отец погиб на фронте, мать — в блокаду. Меня воспитала бабушка, она тоже умерла — старенькая. И замуж меня не берут. Но я не одинока, Сергей Иванович.

Они остановились на мосту и стали глядеть на реку и белую ракету, вылетевшую из-под моста. И снова Гушина перенесло в его главную жизнь...

..Девушка лет семнадцати, разительно похожая на Гушина, его дочь Женя, мажется перед зеркалом. Гушин, по обыкновению листавший какой-то альбом с видами Ленинграда, увидел ее отражение в оконном стекле.

— Ты уже мажешься? — спросил он удивленно.

— Давным-давно! Ты не наблюдателен, папа.

— Спасибо. Не могу сказать, что ты меня обрадовала.

— Я, кажется, не давала подписки делать все тебе на радость.

— Разумеется! — принужденно усмехнулся Гушин.

— Или это было условием моего появления на свет? — безжалостно настаивала Женя.

— Ну, ну, перестань. Ты, как мама, любишь добивать противника.

— Что ж, у меня есть чему поучиться, — с вызовом сказала Женя.

Гуцин не подхватил брошенной перчатки.

— Ты куда-то собираешься?

Женя пренебрежительно дернула плечами.

— Да ничего интересного!

— Слушай, а может, завалимся в Химки?

— Водные лыжи? — чуть оживилась Женя. — Жаль, я только что сделала прическу.

— А хочешь, пойдём в бар — по кружке ледяного пива с сосисками.

— Это соблазнительно. Но от пива толстеют.

— А в зоопарк? — упавшим голосом предложил Гуцин.

— Я уже вышла из этого возраста.

— Ну, а куда ты хочешь пойти? — почти с отчаянием спросил Гуцин. — В кино, в ресторан?..

— Не старайся, папа, все равно ничего не выйдет.

— Как странно: все говорят, ты похожа на меня. Но ты вылитая мама.

— Я не большая мамина поклонница, — холодно сказала Женя. — Но кое в чем мамин опыт заслуживает внимания.

— Мама прожила нелегкую жизнь...

— Только не вспоминай войну, карточки и заслути фронта перед тылом. Все это в зубах навязло. Я имела в виду другие мамины достоинства.

— Какие же?

— Умение быть самой собой, ни с кем и ни с чем не считаться.

— Я лично не вижу в этом... — начал Гуцин.

Женя зажала уши.

— Только не ссылайся на свой пример! Это, извини меня, просто смешно. Ты, конечно, хороший специалист, все это знают. Но каждый человек, если он не круглый идиот, обязан понимать в своем деле. Ты не думай, что я тебя не люблю, папа, просто детские представления о Ве-

ликом отце миновали. Я все увидела таким, как есть. И это меня не устраивает, вернее, устраивает на условиях полной свободы. И не будет ни зоопарка, ни планетария, ни водной станции, ни киношки — не рассчитывай на уютный домашний заговор обиженного отца с любящей дочерью против грешной матери...

— Сергей Иванович, а хотите, я покажу вам свой Ленинград?

— А это удобно?

Наташа засмеялась.

— Я была уверена, что вы скажете что-нибудь в этом духе. Конечно, удобно.

— А где он, ваш Ленинград?

— Совсем рядом — на Профсоюзном бульваре.

Они пошли туда пешком.

Возле бульвара им попался навстречу маленький ослик под громадным, нарядным, обитым красным плюшем седлом. На таких осликах катают детей в парках.

— Какая крошка! — удивился Гуцин.

— Спасибо скворцу за то, что он такой большой, а ослику за то, что он такой маленький, — нежно сказала Наташа.

— О чем вы? — не понял и отчего-то смутился Гуцин.

— Спасибо жизни за все ее чудеса, — так же нежно и странно ответила Наташа.

Они подошли к дому Наташиных друзей, миновали двор, толкнули обитую войлоком дверь и сразу оказались в мастерской художника.

Чуть не половину обширного помещения занимал гравировальный станок и большая бочка с гипсом. Помимо двух мольбертов здесь находилась приземистая, широченная тахта, десяток табуретов и торжественное вольтеровское кресло. С потолка свешивались изделия из проволоки, напоминающие птичьи клетки, — модели атомных структур, вдоль стен тянулись стеллажи с гипсовыми скульпту-

рами каких-то диковинных фруктов. Картины, рисунки и гравюры свидетельствовали, что мечущаяся душа хозяина мастерской исповедовала множество вер. Суздальские иконописцы, итальянские примитивы, французские импрессионисты, испанские сюрреалисты, отечественные передвижники поочередно, а может, зараз брали его в плен. Но во всех ипостасях он оставался размашисто, крупно талантлив. Да и сам художник был хорош: громадный, плечистый, с кудрявыми русыми волосами, он являл собой в редкой чистоте тип русского былинного богатыря Микулы Селяниновича.

— Познакомьтесь, — сказала Наташа, — мой старый друг — художник Петя Басалаев, мой новый друг — инженер Сергей Иванович Гуцин.

Художник тряхнул русыми волосами и размашисто пожал Гуцину руку.

— Наташкины друзья — наши друзья.

— Наташа слишком щедра ко мне... — церемонно начал Гуцин.

— Мы познакомились только сегодня, на улице, — просто сказала Наташа. — Но это ничего не значит.

— Конечно! — ничуть не удивился художник. — А ну, дайте вашу руку, — обратился он к Гуцину.

Тот удивленно протянул ему свою руку.

— Хорошая рука, я сделаю с нее слепок.

— Зачем?

— Для коллекции, — художник мотнул головой на камни. — Там конусом, расширяющимся книзу, свешивалась гроздь гипсовых слепков человеческих рук.

Гуцин подошел к камину, чтобы получше рассмотреть эту необычную коллекцию.

— Наташа, дай пояснения, а я покамест гипс разведу, — распорядился художник.

— Вы видите тут руки всевозможных знаменитостей, — тоном завятого гида начала Наташа. — Скульпторов, художников, поэтов, пианистов, скрипачей, ученых изобрета-

телей, мастеровых. Громадные, как лопаты, — это руки скульпторов, пианистов. Большие, но узкие, с тонкими длинными пальцами — скрипачей, актеров, людей, владеющих ремеслом. Слабые, недоразвитые — поэтов...

— Но при чем тут я? — взмолился Гуцин. — Я же никто!

— Чепуха! — оторвавшись от своего занятия, крикнул художник. — У вас хорошая, талантливая рука.

Гуцин еще раз посмотрел на гипсовую гроздь и обнаружил среди бесчисленных рук трогательный слепок маленькой узкой ступни с тугим натяжением сухих связок на подъеме.

— А чья это нога?

— Великой Улановой! — значительным голосом произнес художник. — Садитесь! — указал он Гуцину на табурет.

— Я пойду к ребятам, — сказала Наташа.

— Гелла тоже дома, — сообщил художник. — Не пошла на работу. Вели ей соорудить «обед силен», как писал князь Георги своему соседу.

Наташа вышла в другую комнату, откуда слышались радостные возгласы и ликующие дикарские вопли.

Гуцин с закатанным рукавом сидел перед художником, а тот нежными, ловкими движениями громадных лап накладывал гипс на его кисть.

— Готово! Теперь надо малость подсохнуть. Сидите спокойно, а я на жалейке поиграю.

Он снял с полки тонкую дудочку, взгромоздился на бочку с гипсом, и полились нежные звуки свирели.

Гуцин понял, что тут нет никакого ломания. Так вот жил этот художник — писал, ваял, рисовал, лепил, а в минуты отдохновения играл на свирели, чтобы полнее отключаться от забот.

Пришло время разгипсовывать Гуцина. Художник отложил свирель и проделал необходимую работу с присущей ему ловкостью. А тут Наташа и Гелла, худенькая жен-

щина с тающим лицом, внесли круглую столешницу, уставленную бутылками, бокалами, тарелками с бутербродами. Столешницу поставили на два табурета.

— Моя жена Гелла! — объявил художник. — Гелла, это Наташин друг — Сергега Гуцин. Человек с прекрасной рукой.

К вящему удивлению Гуцина жена художника обняла его и поцеловала в щеку.

Вбежали два светловолосых мальчика лет шести и сразу повисли на Наташе.

— Мои бандиты, — представил их художник. — Петя и Миша — близнецы. Похожи друг на друга как две капли воды...

— Особенно Миша! — в голос подхватили близнецы знакомую шутку.

Художник с поразительной быстротой наполнил бокалы, не пролив при этом ни капли.

— За искусство! — произнес он торжественно.

Все послушно выпили.

Художник снова наполнил бокалы.

— За женщин!

Гуцин вопросительно посмотрел на Наташу. Она поняла его взгляд и сказала шепотом:

— Ничего не поделаешь — ритуал. Иначе — смертельная обида.

Художник в третий раз наполнил бокалы.

— За любовь! — и синий взор его подернулся хрустальной влагой.

Гуцин осушил последний бокал, и вино ударило ему в голову.

— Чудесное вино! — сказал он. — Похоже на Цимлянское.

— Это перекишная хванчкара, — спокойно пояснил художник. — Не выдерживает перевозки.

Пришли два молодых поэта. Их приход не вызвал особой сенсации, видимо, они были здесь свои люди. Художник представил их Гуцину.

— Беляков и Гржибовский — пииты!.. А это, — обратился он к поэтам, — Сергей Иваныч, человек порядочный, не вам чета, авиационный инженер.

Белякова это сообщение ничуть не взволновало, а Гржибовский как-то странно, исподлобья глянул на Гущина, затем перевел взгляд на Наташу.

Беляков, мальчик лет девятнадцати, тоненький, с круглым детским личиком, сразу начал читать стихи звучным, налитым баритоном, удивительным при его мизерной наружности. И стихи были крупные, звонкие, слегка напоминающие по интонации есенинского «Пугачева», но вовсе не подражательные.

— Здорово! — от души воскликнул Гущин. — Как свежо и крепко... словно антоновское яблоко!

— Свежий образ! — иронически сказал Гржибовский, рослый, красивый молодой человек, Наташиных лет.

Гущин смешался.

— Образы — это по твоей части, — заметила Наташа. — Только ты не очень-то нас балуешь.

— Почему? — самолюбиво вскинулся Гржибовский. — Есть новые стихи.

Негромким, но ясным, поставленным голосом он прочел коротенькое стихотворение об одиноком фонаре и ранеными глазами взглянул на Наташу.

— Очень мило! — равнодушно сказала она.

Поэт вспыхнул и отвернулся.

— Серега, выпьем на «ты»? — предложил художник Гущину.

— С удовольствием, — чуть принужденно отозвался тот.

Они сплели руки, осушили бокалы и поцеловались, причем художник вложил в поцелуй всю свою бьющую через край энергию.

— Пошел к черту! — сказал художник свирепо.

— Пошел к черту! — вежливо отозвался Гущин.

Художник стиснул ему руку.

— Нравишься ты мне. Костяной ты человек и жильный. Тебя ветром не сдует.

Красивый поэт Гржибовский запел под гитару смешную и трогательную песню о стране Гиппопотамии.

В разгар пения в мастерскую ворвался темноволосый юноша и с ходу обрушился на хозяина:

— Значит, Верещагин гений и светоч?

На него шикнули, он зажал рот рукой.

Поэт оборвал песню и отбросил гитару.

— Почему вы перестали? — обратился к нему Гуцин.

— А кому это нужно! — неприязненно отозвался поэт.

— Так Верещагин светоч и гений? — снова кинулся на хозяина вновь пришедший.

Тот, рванув на себе ворот рубашки, как древние ратники перед битвой, грудью стал за Верещагина:

— Ты сперва достигни такого мастерства!..

— Ерунда — фотография.

— А колорит — тоже ерунда?

— Колорит? — язвительно повторил вновь пришедший. — Колер у него, как у маляров, а не колорит.

— П-прошу покинуть мой дом! — от бешенства художник заговорил «высоким штилем».

— Да ноги моей у тебя не будет, натуралист несчастный!

— Мальчики, мальчики, будет вам! — кинулась к ним Наташа. — Опомнитесь, как не стыдно!

Художник и его оппонент дрожащими руками взялись за бокалы.

— Только ради Наташки, — с натугой проговорил художник. — Твое здоровье!

— Наташа, только ради тебя, — в тон отозвался темноволосый, — твое здоровье!

И они чокнулись.

Гуцин почувствовал внезапную усталость и заклевал носом. Он борол сонливость, улыбался вновь прибывшим: печальному Мефистофелю, оказавшемуся видным

режиссером, и девушке с бледным русалочьим лицом. Она сразу подсела к Гущину и спросила таинственным голосом:

— Я из «Смены». Как вы оцениваете современную молодежь?

— Прекрасная молодежь! — от души сказал Гущин. — Горячая, заинтересованная...

— Благодарю вас, — сказала русалка тем же намекающим на тайну голосом, но дальнейшего Гущин не услышал — он задремал.

Правда, сквозь дрему он услышал еще, как Наташа сказала:

— Оставь человека в покое, дай ему отдохнуть.

Порой в его сон проникали и звуки гитары, и пение, и разговор, то разгорающийся, то затихающий, словно пульсирующий. Но видел он другое застолье, в собственной, только что полученной, новенькой квартире, много лет назад. Он видел свою жену в пору женского расцвета, с молодыми, горячими глазами, и себя, лишь начавшего сесть, и молодых своих друзей, и золотоволосого юного Зигфрида возле Маши.

Кто-то трогает струны гитары, кто-то просит: «Ну, подбери мне «Враги сожгли родную хату», кто-то спорит.

Юный Зигфрид показывает восхищенным зрительницам, как можно согнуть в пальцах трехкопеечную монету.

— Сережа, согни монету! — требует Маша.

— Я не сумею.

— Нет согни, я хочу!

Гущин добросовестно пытается выполнить приказ жены, но у него ничего не получается.

— Не огорчайтесь! — говорит Зигфрид. — Я специально тренировался по японскому методу.

— Зачем инженеру по электронике такие сильные пальцы?

— Мне нравится заставлять себя. Например, я решаю: буду гнуть монеты, как Леонардо да Винчи, и гну!

— Лучше бы решили так писать и рисовать.

— Это, видите ли, сложнее, — натянуто отозвался Зигфрид.

— Вы никогда не терпите поражений? — спросила Маша.

— Наверное, у меня все впереди, — ответил тот многозначительно.

Гость с гитарой чересчур лихо рванул струны.

Гущин сделал большие глаза.

— Разбудим Женю...

— Твоя дочка и не думает спать, — сказала Маша. — Накрылась одеялом и читает «Дневник горничной».

Гущин поднялся и прошел в соседнюю комнату.

Женя, лежа в постели, упоенно читает толстенный роман. Когда отец вошел, девочка повернулась и вся как-то расцвела ему навстречу. Он наклонился и поцеловал ее.

— Фу, ты пил, папа, — сказала девятилетняя Женя. — У тебя губы горькие.

— Я больше не буду, — пообещал Гущин, — как «Дневник горничной»?

— Это «Консуэло».

— Скучновато — да?

— Смертельно, но все наши девочки зачитываются.

— Какая программа на завтра?

— Только не планетарий.

— Может быть, кафетерий?

— В сто раз лучше!

— А зоопарк?

— Надоело! Опять катание на ослике и вафли с кремом.

— Ты знаешь, одного мальчика спросили, что ему больше всего понравилось в зоопарке.

— Ну?!

— Он ответил вроде тебя: вафли с кремом.

— Неглупо! Знаешь, полетим на Луну!

— Ого, начинается ломанье. Я ушел.

— Подожди!.. — страстный детский вскрик ударил Гущина в сердце.

Девочка обняла отца, прижалась к нему всем худеньким телом.

— Не уходи!

— Ну что ты, дурочка, — растроганно сказал Гушин. — Хочешь, я всех выгоню, а мы с мамой придем к тебе?

— Ты один, без мамы.

— Ну, хватит! Пойду взгляну, как там веселятся, и вернусь.

Гушин вошел в столовую — пусто. Грязные тарелки и рюмки на столе, горы окурков, сдвинутые стулья — противный беспорядок покинутого людьми праздника. В холодильнике вставлена крышка от папиросной коробки, на ней написано: «Ушли к Кругловым. Догоняй».

Записка как записка, но почему-то Гушин изменился в лице и слишком поспешно бросился к двери...

..Спящий Гушин вздохнул, как застонал. Возле него сразу оказалась Наташа.

— Сергей Иванович, вам нехорошо?

Гушин не ответил, он опять дышал ровно и спокойно.

К Наташе подсел поэт Гржибовский.

— Так он подцепил тебя на улице?

— Нет, это я его подцепила, — спокойно прозвучало в ответ.

— Вот не знал за тобой такой привычки!

— Я тоже не знала.

— И все-таки это свинство — так одеваться! — с бессильной злобой сказал поэт. — Сейчас не военный коммунизм.

— Странно, — сказала Наташа, — я даже не заметила, как он одет.

— Обычно ты замечаешь.

— Ну да, когда нечего больше замечать.

— Почему ты злишься? — горько спросил поэт.

— Я? Мне казалось, это ты злишься.

— Скажи, только правду. Чем мог тебе понравиться такой вот пыльный человек?

— Мне с ним надежно. Не знаю, как еще сказать. Я чувствую себя защищенной.

— А со мной беззащитной?

— Ну конечно, ты же боксер перворазрядник, можешь уложить любого, кто ко мне пристанет. Но я не о такой защищенности говорю.

— Может, он скрытый гений?

— Думаю, что он хороший специалист. Знает свое дело.

— И все?

— Это немало. Мы знакомы с тобой лет семь, а ты все тот же: начинающий поэт, актер-любитель и боксер-перворазрядник. Так начнись же как поэт, или стань профессиональным актером, или, на худой конец, — мастером спорта.

— Ты никогда не была жестокой, отчего вдруг?..

— Мне не приходилось никого защищать. А ты вынудил меня это делать.

Гущин вздохнул, открыл глаза и сразу зажмурился от яркого света. На лице его заблудилась растерянная улыбка, словно он не мог взять в толк, где находится. И тут он услышал Наташин голос:

— Вы устали, Сергей Иваныч, давайте я подложу вам под голову подушку.

— Спасибо, — смутился Гущин. — Я не умею пить.
Отвык.

— Никто не умеет. Хотя и привыкли. Пойдемте, Сергей Иваныч.

— Куда же? — огорчился художник. — Мы только разгулялись.

— Гуляйте на здоровье, а Сергей Иваныч устал! — решительно сказала Наташа.

Художник сжал Гущина в объятиях, поцеловал и прошептал, скрипнув зубами:

— Будешь снова — в гостиницу не смей, прямо к нам! Наташку обидишь... — Он не договорил, но бешёная слеза, заставшая синий взор, заменила слово «убью!»

Гуцин растроганно жал ему руку.

— Возьми пирога и беяшей, — уговаривала Наташу Гелла.

— Тетя Наташа, не уходи! — орали мальчишки, цепляясь за ее юбку.

— Наташа, — сказал юный Беляков, — я, конечно, слабеец, но, если нужно, только скажи — сдохну за тебя! — и это было вполне искренне.

Наконец они выбрались из гостеприимного дома.

— Мне на улицу Ракова, — сказала Наташа. — Пойдемте пешком.

— Конечно! — обрадовался Гуцин. — Только выберем не самый краткий путь.

— Через Дворцовую площадь?...

На их пути Ленинград был щедро высвечен прожекторами, выгодно изымавшими из тьмы дворцы,obelisks, памятники. Они довольно долго шли молча, как вдруг Гуцин движением слепца коснулся Наташи рукой. Она вопросительно глянула на него.

— Простите, — пробормотал Гуцин, — я вдруг усомнился, что вы правда здесь.

Наташа не удивилась, сказала успокаивающе:

— Здесь, конечно, здесь.

— Я так благодарен вам за ваш Ленинград... Какие все славные, талантливые люди!

— Да... — рассеянно согласилась Наташа. — Но почему-то сегодня я любила их меньше.

— Почему? — встревожился Гуцин.

Она помолчала.

— Как бы сказать... Высшее мастерство актера сыграть не сцену, не монолог, а паузу... Когда-то МХАТ славился паузами. С моими друзьями не бывает пауз. Им надо все

время суетиться: спорить, читать стихи, свои или чужие, переживать, бегать по выставкам, просмотрам, премьерам.

— Но разве это плохо?

— Понимаете, их суета идет от дилетантства. Дилетантства всей душевной жизни. Это, понятно, не относится к Басалаеву, — он мастер, профессионал, тащит семейный воз и еще находит силы для игры, озорства... Но зря я так... Спасибо, что все они есть. Нечего Бога гневить. Спасибо, спасибо! — повторила она, подняв кверху лицо. — Это я Богу, чтобы не навредил... Но, знаете, Сергей Иванович, вот вы умеете «держать паузу», с вами так чудесно молчать!..

— Понять это как приглашение к молчанию? — улыбнулся Гушин.

— Наоборот, к разговору. Мы довольно вымолчались. Вам нравятся эти подсветы?

— Нравятся.

— А по-моему, Ленинград лучше без этого интуристского глянца. Стрже, независимей.

— Может быть, вы и правы, хотя так он гораздо эффективней... Но, знаете, в этом мареве над прожекторами, в бликах света проглядывает Петроград семнадцатого года. Честное слово! Бойцы революции греются у костров, и тени, и отсветы на желтых стенах, и дымок...

— «Дымок костра и холодок штыка», — продекламировала Наташа. — А вы, правда, хорошо придумали!..

...По улице Степана Халтурина они вышли на Марсово поле. Подошли к неугасимому огню, озарявшему плиты, посвященные тем, кто отдал жизнь за революцию.

Медленно побрели дальше, к сумрачно высвеченному Михайловскому замку.

Оставив справа Русский музей, подошли к Наташиному дому.

От низенькой подворотни, упирающейся в штабель березовых дров, виднелся нарядный, подсвеченный флигель Михайловского дворца.

Гушин оглядел малый ночной мир вокруг себя, словно хотел запомнить навсегда, и коснулся ладонью Наташиного плеча, чтобы унести с собой ее телесное тепло.

Она взяла его руку, но не выпустила, как он того ждал, и потянула за собой.

Они оказались под низким сумрачным сводом подворотни: облупившиеся стены в наскальной живописи и письменах, повествующих о чьей-то молодой любви, старинное булыжное подножие.

Двор глубок, как колодезь, над ним повисла полная луна, и блеск ее лежит на булыжниках, на комлях березовых дров, сложенных по ленинградскому обычаю в аккуратную рослую поленницу, занявшую чуть ли не пол-двора.

У обшарпанных каменных ступеней крыльца Гушин остановился. И снова Наташина рука повлекла его за собой.

Спела свою печальную песенку массивная, усталая дверь, в тусклом свете малых пыльных лампочек открылась лестничная клетка, уносящая в бесконечную, забранную тьмой высь. Ступени исхожены, сбиты, шаткие перила черно и шелково истерты бесчисленными ладонями.

Гушин шел, теряя дыхание не от крутизны пролетов — от волнения и благодарности. Мелькали медные дощечки с твердым знаком в конце фамилий, длинные списки жильцов, почтовые ящики с наклейками газетных названий.

Наташа остановилась возле какой-то двери столь внезапно, что Гушин, настроенный на бесконечность взлета, чуть не сшиб ее с ног. Наташа поддержала его, смеясь, отомкнула дверь, и они шагнули в кромешную темноту. Щелкнул выключатель, поместив Гушина в маленькую прихожую с аккуратной вешалкой, подставкой для зонтиков, настенным овальным зеркалом и тумбочкой под ним. На тумбочке лежали платяные щетки и веничек — обметать пыль с одежды.

Наташа взяла из рук Гушина портфель и положила на тумбочку. Гушин с сомнением поглядел на своего старин-

ного спутника — сооружение из поддельной, лоснящейся кожи выглядело вопиюще неуместно в этой чистоте и нарядности.

В Наташину комнату Гуцин вошел, как в святилище, с видом молитвенного оупения. Тут было много цветов, фотографий с белизной незнакомых волнующих лиц, рисунков и гравюр. Он на мгновение прикрыл глаза, потом сказал тихо:

— Ну, все... я был с вами весь день, я видел ваш дом, мне есть чем жить... я пошел...

Вместо ответа Наташа обняла Гуцина за шею, притянула к себе, поцеловала. Этого Гуцин уже не мог вынести, он заплакал. Не лицом — глаза оставались сухи, он заплакал сердцем. И Наташа услышала творящийся в нем сухой, беззвучный плач.

Она сжала ладонями его виски.

— Зачем, милый, не надо. Мне так тихо и радостно с вами, а вы все не верите. Ну, поцелуйте меня сами.

Гуцин взял ее руку и поцеловал. И тогда Наташа поцеловала у него руку и сказала со страшной простотой:

— Раздевайтесь, ложитесь, я сейчас приду.

Она погасила свет, оставив лишь малый ночник.

Гуцин сбросил одежду и лег под одеяло. Вошла Наташа и легла рядом с ним. Он не шелохнулся. Она повернулась к нему, сказала матерински:

— Спице, милый, вы устали...

..Гуцин не спал. Он видел себя таким, каким вернулся с войны: высоким, страшно худым, с левой рукой на перевязи. На нем — поношенная шинель с лейтенантскими звездочками на погонах, за плечами — тощий вещевого мешок. Вот он пересек двор одного из старых домов в Телеграфном переулке, поглядел на ребятишек, гонявших мяч, но никого не узнал. Он взошел на каменное, полуобвалившееся крыльцо, стал подниматься по лестнице. По мере того как он подымался, шаг его становился все медленней, словно он знал, что спешить некуда.

Он подошел к двери с длинным списком жильцов, нашел свою фамилию и трижды нажал кнопку звонка, усмехаясь невесело, ибо знал, что ему никто не откроет. Но открыли ему до странности быстро, словно ждали за дверью, когда он придет.

На него кинулась девушка лет семнадцати-восемнадцати, с ошалелым от счастья и любви лицом. Нелегко узнать в тонком, смуглом, нежном и юном существе грузную, белую Марию Васильевну.

— Сережа... Сережа!.. — кричит она сквозь слезы и прижимается щеками, носом, глазами к его пропахшей дорогами шинели.

— Послушайте, кто вы? — недоуменно говорит Гушин.

— Да Маша, неужели не узнаете? Я же писала вам...

— Боже мой, но ты же была девчонкой!.. Откуда все взялось?

Гушин прислонился к стене.

— Я ждала тебя. Ох, как я ждала тебя. Я так и жила тут у двери все последние дни.

— Ничего не понимаю... Ты говоришь так, словно... Чушь какая-то!..

— Я люблю тебя, Сережа. Я влюбилась в тебя, как влюбляются девчонки в старшеклассников. А потом ты ушел на войну, и я любила тебя все больше и больше, и сходила с ума от страха, и плакала по ночам. Твоя мама знала, что я люблю тебя, она давала мне читать твои письма. Я их все сохранила.

— Мама тяжело умирала?

— Нет. Я все время была с ней. Она не думала о смерти, она ждала тебя и умерла, как заснула.

Они идут по коридору, длинному, захламленному коридору коммунальной квартиры, на стенах висят корыта и старые велосипеды.

— У меня нет ключа, — возле своих дверей вспомнил Гушин.

Маша достала ключи и открыла дверь. Гушин вошел в комнату, где прошло его детство, отрочество, юность, где

некогда жила счастливая семья, а теперь осталась пустота. Комната была прибрана, занавески подняты, и солнце щедро ложилось на белую крахмальную скатерть стола, на цветы в кувшине, на бутылку «Рислинг», на яблоки и консервные банки с яркими этикетками.

Гущин посмотрел на этот бедный праздничный стол, на цветы, на девушку, устроившую ему эту встречу, он увидел, какая она худенькая несытая, увидел трогательные потуги придать нарядность поношенному, стираному платьишку, и полюбил ее на всю жизнь.

..Слезы стоят в глазах не спящего и не меняющего своей позы Гущина. А небо за окном уже по-ленинградски светло, прозрачно, ночь покинула комнату, вновь видны цветы и фотографии, рисунки и гравюры.

С большой фотографии, висевшей на стене в изножии постели, прямо в лицо Гущину устремился твердый, светлый взгляд молодого человека лет двадцати пяти.

Гущин отвел взгляд к стене, и там висели фотографии того же молодого человека; на иных он был старше, на иных моложе, а на одной ребенком — большеглазым мальчиком с высоким лбом и неочертанными мягкими губами. И Гущину казалось, что светлые глаза мальчика смотрят на него с укором... Он закрыл глаза.

..Меховой магазин. Возле зеркала примеряет роскошную норковую шубу молодая женщина. По нежному ворсу пробегают волнующие тени. Женщина поворачивается, у нее детское лицо Маши с полуоткрытым от восхищения ртом.

— Нравится? — спрашивает Гущин, он в военной шинелишке со споротыми погонами, в сапогах и фуражке летчика. Вид у него обносившийся.

— Чудо! — Маша задохнулась. — Но безумно дорого!

— Чепуха! — беспечно сказал Гущин. — Главное, чтоб шло. Впрочем, норка непрактичный мех, — и, обращаясь к продавщице: — Дайте вон ту!.. Да, да, серый каракуль. Восемнадцать с половиной тысяч? То, что нам надо!

Продавщица подает Маше манто.

— Я похожа на Анну Каренину! — как зачарованная произнесла Маша.

— Ты гораздо лучше! — Эта шуба тебя старит. И вообще, в Париже сейчас не носят каракуль. Боюсь, что здесь мы не найдем ничего подходящего. — И Гуцин возвращает манто продавщице.

Та, поняв игру, с улыбкой разводит руками.

— Вам лучше бы на Тишинском поискать...

— А мы как раз туда и держим курс! — со смехом сказал Гуцин.

Маша натянула на себя свой жалкий плащик, и все зеркала дружно отразили ее тоненькую и удручающе ненарядную фигурку...

...Тишинский рынок послевоенной поры. Здесь торгуют «трофейным» барахлом, хорошими, новыми вещами и чуть ли не лохмотьями. Торгуют костюмами, пальто, платьями, рубашками, носками, вязаными кофточками, музыкальными инструментами, коврами, старинным фарфором, радиоприемниками, зажигалками, вечными ручками и особенно много — часами.

Торгуют подержанной мебелью и люстрами, пожелтевшими кружевами, притемненными временем картинами, торгуют бельем, представляя на всеобщее обозрение трикотажные мужские кальсоны, дамские рубашонки, трусики, лифчики, торгуют всевозможной мужской и дамской обувью, протезами и костылями — словом, торгуют всем, что составляет бытовой обиход современного человечества. Тут же какие-то подозрительные личности играют на асфальте в «три листика» и «веревочку»; носятся на дощечках с колесиками краснолицые безногие инвалиды, человек в касторовой шляпе громко рекламирует антипятноль.

— Перед ним не может устоять сам бог пятен, сатана пятен — чернила!

Его старается перекричать другой деляга:

— Лучшее патентованное средство от мозолей, бородавок и пота ног. Вместо рубля — девяносто копеек!

Гущин и Маша движутся по «одежному ряду». Тут продают вещи с плеча: пальто, шубы, куртки, плащи; плащи накинута прямо на спину продающему. Машу привлекла шубейка из поддельного жеребка.

— Восемьсот рублей — это даром, мадам! — убеждает ее мордастый продавец. — Как-никак щипаная выдра!

— Это крыса амбарная, — бросила Маша, отходя.

— Возьми, — сказал ей Гущин, — хорошая шуба, честное слово.

— Тогда тебе не хватит на костюм.

— Ну и черт с ним!..

— Продаю пол-шубы!.. Продаю пол-шубы!.. — раздался возле них жидкий старушечий голос.

Сухоньякая старушка, знавшая, видимо, лучшие времена, держит в руках суконную шубейку с маленьким котиковым воротником.

— Как это «пол-шубы», бабушка? — поинтересовалась Маша.

— Левую сторону, — пояснила старушка. — Она вывернутая, но материя, как вы можете легко убедиться, двухсторонняя.

— А у вашей шубы нет третьей стороны? — спросил Гущин.

Но Маша уже надела шубку, оказавшуюся ей в самый раз.

— Прелесть!.. Сколько вы хотите?

— Триста рублей... Это, правда, недорого...

— Берем!.. — весело сказала Маша. — Плати деньги, Сережа. Ты одеваешь жену как куколку. Теперь нам осталось найти левую сторону костюма — и мы экипированы с ног до головы!

Гущин захохотал и обнял Машу в ее новой «левосторонней» шубе...

Гушин заерзал головой по подушке и открыл глаза. На него в упор глядел большеглазый мальчик. Некуда было скрыться от этого взгляда. Тогда Гушин приподнялся и протянул руку к большей фотографии, висевшей напротив.

— Не трогайте! — раздался голос Наташи. — Это мой отец.

— Отец? Этот мальчик?

— Когда отец уходил на войну, он был моложе, чем я сейчас.

— Боже мой! — покаянно и вместе радостно сказал Гушин. — А я-то мучаюсь! Простите меня, Наташа, я, кажется, правда хотел его снять.

Наташа потянулась к Гушину и уже знакомым движением обняла за шею. И вдруг, раскрепощенный от всего, что его связывало, делало нищим, Гушин с силой прижал ее к себе...

...Солнце словно вплавилось в стекла, на подоконнике голуби ссорились из-за каких-то крошек. Кукушка выглянула из деревянного теремка и прокуковала семь раз.

Отстранившись от Гушина, Наташа сказала слабым от счастья голосом:

— Я сразу вас полюбила... Как увидела... Вы замечательный, вы чудо, вы — Кваренги!..

...Гушин покидал гостиницу. Вот он получил пропуск на выход у администратора, направился к вращающейся двери и вручил пропуск старику швейцару, похожему на Айвазовского. Презрительно глянув на потертый портфель, вмещающий все дорожные пожитки Гушина, швейцар небрежным адмиральским жестом коснулся околыша фуражки.

— Скажите, папаша, что это за поезд? — Гушин достал билет и показал швейцару.

— А-а, есть такой! — усмехнулся тот в бакенбарды. — Я-то думал, его давно отменили. Тоже идет в Москву, но

кружным путем — через Будогош, Неболчи, Калязин и прибывает на Савеловский вокзал.

— Вот это да! Сколько же он идет?

— Сутки, может, поменьше.

— Понятно!.. Ну, до лучших дней!..

Гущин вышел из гостиницы и сразу устремился вдогон за автобусом...

...Гущин идет по перрону, его толкают своими бидонами молочницы, мешками — какие-то дремучие деды. Даже не верится, что это Ленинград. У крайней заброшенной платформы притулился заброшенный состав.

— Сергей Иванович!

К Гущину со всех ног кинулась Наташа с какими-то цветочками в руках.

— Что вы тут делаете? — оторопел Гущин.

— Провожая вас.

— Но... как вы узнали?

— В том-то и беда, что не узнала. Я убежала на съемку, а вы даже записку не оставили. Я, конечно, уже привыкла к вашей манере: не хотели «обременять»...

— Почему вы такая смуглая?

— Так это же тон. Я прямо из павильона.

— А почему к этому поезду?

— Я взяла расписание на Москву, и Костя Зорин, помните «Мефистофеля», согласился возить меня ко всем поездам на своем «Москвиче».

Гущину было почти больно от счастья.

— Сергей Иванович, а вы любите ездить с молочницами?

— Нет, просто этот поезд идет по местам, где я воевал, — не глядя Наташе в глаза, сказал Гущин.

Она взяла его за руку.

— Сергей Иванович, вы себя ничем не мучайте. Все было замечательно... Я так вам благодарна. И когда вы опять приедете, мы будем вместе, если вы, конечно, захотите. И будет Ленинград теперь уже наш общий...

— Когда еще я приеду!..

— А я вам вызов устрою! — воскликнула Наташа. — От группы «Полет в неведомое». Как-будто они там опять плохо катапультируются. Правда! Он это сделает для меня.

— Неужели это возможно?

— Конечно! Официальный вызов придет к вам на службу, а я пришлю телеграмму: «Срочно требуются седые человеческие волосы».

Гущин засмеялся, и они поцеловались, и Гущин побежал за двинувшимся поездом и вскочил на подножку. Он видел ее радостное, смеющееся лицо, и оно было как гарантия близкой встречи, и когда Наташа скрылась, он внес в тесный, вонючий, забитый до отказа вагон эту чистую радость...

...Наташа сыграла свою роль до конца. Но когда вагон Гущина потерялся вдали, она притулилась к фонарному столбу и заплакала.

...Не зная, куда девать распирающую его радость, Гущин принялся помогать пассажирам пристраивать чемоданы и баулы на багажные полки.

Он подставил плечо под корзину, вырывавшуюся из рук молодой беременной женщины, затем кинулся на помощь какой-то пожилой матроне. Он с такой быстротой и расторопностью справился с тяжелыми ее вещами, что дама, знающая, видимо, лучшие дни, сказала, теребя замок сумочки:

— Сколько с меня, голубчик?

Гущин расхохотался, залез на полку и, положив под голову портфель, предался сладким воспоминаниям...

...Гущин проснулся среди ночи, разбуженный тишиной затянувшейся стоянки. За окнами тускнели станционные огни, платформа находилась с другой стороны, а по его сторону поблескивали влажные рельсы, бродили железнодорожные служащие, что-то печально выстукивая в поездных колесах. Двигался сам по себе одинокий товарный вагон, у водокачки понуро мочился старик с заплечным мешком.

ком. Гушин заворочался, глухая тоска подступила к сердцу. Он спрыгнул вниз.

Возле окна, через проход, стоял пожилой, заросший седой щетиной человек.

— Закурить не найдется? — спросил Гушин.

Тот дал ему папиросу, поднес огня. Гушин неумело затянулся, закашлялся.

— Э, браток, да ты и курить-то не умеешь! — усмехнулся человек.

— Не умею, — признался Гушин.

— Так зачем же ты — зуб, что ль, ноет?

— Вроде того.

Человек внимательно посмотрел на Гушина.

— Жизнь, браток, нелегкая штука...

Поезд дернулся и побежали назад станционные огни...

...На Савеловском вокзале под утро сошли пассажиры одного из самых медленных на свете поездов дальнего следования.

Вышли на вокзальную площадь.

— Прямо не знаю, что делать, браток, — сказал человек. — В гостинице номеров не достать. Придется на скамейке ночь коротать.

— Да ведь уже утро... — рассеянно отозвался Гушин.

— Ты вроде говорил, квартира у тебя...

— Врал, нет у меня ничего, — грустно сказал Гушин.

— Негостеприимный народ москвичи! — вздохнул человек.

— Не сердись... а хочешь, сердись, — сказал Гушин, — так вот у меня жизнь сложилась.

— Жалко мне тебя, браток. Ну, бывай!..

Он ушел. Насмешливое его сочувствие ничего не прибавило к печали, охватившей Гушина. Он смотрел на гигантский рекламный стенд Музея изобразительных искусств с силуэтом конной статуи кондотьера Каллеона работы Вероккьо. Каллеони глядит на мир,

вернее, поверх мира, через левое плечо, забранное латами, с выражением несокрушимой, безудержной воли. Могучий конь под стать хозяину, он словно ступает по телам павших.

Гущин шел, оглядываясь на огромного всадника, как пушкинский Евгений на Петра. Слишком мучителен был контраст этой сокрушительной воли и собственной слабости...

...Гущин тихо открыл дверь, вошел в свою спальную квартиру.

— Кто там? — слышалось из спальни.

— Я...я, не беспокойся.

— Что так рано? — Жена стояла в дверях спальни в длинной рубашке, нечесаная, неприбранная, немолодая.

— Так поезд пришел...

— Что ты уставился на меня? — сказала она раздражительно.

— Почему ты дома? — это сказалось как-то само собой. Она усмехнулась.

— Ждала тебя.

— Женя уехала на Селигер?

— Уехала... Тебе это неприятно?

— Пусть едет себе на здоровье.

— Я не о том. Тебе неприятно, что я ждала тебя?

— Уж лучше не уезжать!.. — и это сказалось само собой, в странной утрате самоконтроля.

— Вон что! — произнесла она насмешливо. — Тебе так невыносим твой дом?

— Не валяй дурака, — сказал он жестко. — У меня нет дома.

— Это что-то новое... — и не менее жестко. — Хватит болтовни, давай спать.

Гущин увидел за крупной ее фигурой две кровати, стоящие тесно одна к другой.

— Не хочу. Выспался в поезде.

Он прошел в столовую, распахнул окно. Под ним была Москва. Невдалеке зеленел Чистопрудный бульвар, справа виднелась Меньшикова башня, вокруг нее летали голуби. Дверь спальни захлопнулась излишне громко. Гуцин подошел к книжной полке, достал альбом с видами Ленинграда. Отыскал панораму Михайловского дворца. На снимке можно было разглядеть маленькую темную подворотню...

...Гуцин в своем тяжелом, не по сезону костюме и ботинках на микропоре, с неизменным портфелем под мышкой бредет по Телеграфному переулку. Перед ним — знаменитая Меньшикова башня, внизу — красное кирпичное здание бывшего приюта. Он останавливается, смотрит. Мы слышим его мысли:

«В двадцатые годы здесь жили приютские дети. Они прижимали свои бледные лица к стеклам окон и смотрели на улицу, на прохожих, на извозчиков, на дождь и снег. Я знал, что у них нет родителей и смертельно их жалел. Ведь у меня была самая лучшая мама в мире и самый лучший в мире отец»...

К Гуцину приближается девочка-замарашка и слушает, приоткрыв рот. Это шести-семилетняя Маша. Гуцин, сегодняшний, седой, усталый, переходит на другую сторону. Отсюда видна вся Меньшикова башня.

«Никто не мог уверить меня, что башня давно заброшена. Я знал, что тут живут замечательные существа: дамы, кавалеры, рыцари. Ночью они зажигают свечи и танцуют под тихую музыку. Мне ужасно хотелось обратиться к ним»...

Он заметил, что маленькая Маша опять приблизилась и слушает с жадным, замирающим любопытством. Резко повернувшись, Гуцин пошел в сторону Чистых прудов, затем свернул в Кривоколенный переулок. Девочка не отставала, Гуцин прибавил шагу. Порой прохожие разъединяли их, но с редким упорством девочка Маша настигала Гуцина.

Неподалеку от Армянского переулка Гушин круто остановился. Девочка была рядом. Она исподлобья, большими темными глазами глядела на Гушина.

«Оставь меня, — взмолился Гушин. — Твое упорство бессмысленно. Я все равно заберу у тебя свое прошлое; а настоящего и будущего у нас нет. Все эти уловки ни к чему. Неужели ты не понимаешь, что между тобой и той, что живет сейчас рядом со мной, нет ничего общего? Ты, маленькая, выросла в другую женщину, вовсе не в ту, что носит твое имя. Может быть, ты выросла в Наташу? Тогда ты тоже не нужна, понимаешь?»

...Он провел рукой по глазам — девочка исчезла.

Он пошел дальше через перекресток.

«Наташа, — звучало в нем, — мне хотелось показать вам мир моего начала. Я люблю Ленинград, но я вовсе не хочу предавать свой родной город лишь потому, что я не был здесь счастлив. Все равно, я люблю и Чистые пруды, и эти кривые переулки, и Меньшикову башню, и старый приют, и гробницу боярина Морозова, хотя ее давно уже снесли, и особенно вот этот желтый дом, где бедный гениальный Веневитинов принимал друга своего Пушкина»...

Он стоит возле двухэтажного старинного дома, глядящего окнами на улицу Кирова. Мемориальная доска сообщает, что здесь жил поэт Веневитинов, у которого бывал в гостях Пушкин: внизу указаны даты печально краткой жизни поэта.

«Я часто приходил сюда мальчишкой. Я до слез жалел Веневитинова и завидовал ему. Он прожил так мало, а люди запомнили его и повесили вот эту доску, чтобы приходящие в мир новые люди тоже знали, что он жил здесь и писал свои стихи. Он был такой молодой, а Пушкин дружил с ним, бывал у него в доме. И мне хотелось прожить такую же жизнь, пусть совсем коротенькую, но успеть сделать что-то хорошее людям и остаться в их памяти. Я ничего не сделал, хотя прожил уже две жизни Веневитинова. Но, может быть, я еще не изжил себя до конца?»...

Он повернул назад и двинулся Армянским переулком.

...«Вот здесь мы катались на санках с горы»...

...«Сюда приходили две сестры, такие красивые, что я не только не решался заговорить с ними, но притворялся глухим, чтобы они не обращались ко мне»...

...«А вот здесь была церковь. И бабушка моего приятеля таскала нас сюда и заставляла целовать золотую ризу на каком-то сооружении, напоминавшем гроб. И мы целовали, хотя нам было очень противно и мучило от запаха ладана. Я догадывался, что надо чувствовать что-то другое, нежели тошноту и отвращение, и ужасно мучился черствостью»...

...«А этот высокий дом, когда я подымался к нему по Златоустинскому переулку, казался мне океанским парходом: белым на синем фоне. Златоустинский не признавал ненастья, он всегда окунал дом в синеву и гнал ему навстречу облака. И дом плыл, — ведь когда плывут облака, все на земле обретает встречное движение»...

В сквере бывшего Дома культуры Армении, возле обелиска, толпа взрослых и детей окружила какую-то малую городскую невидаль. Гушин подошел, протиснулся внутрь сборища. Видимо, здесь прикармливали птиц: асфальт был усеян дробинками пшена, подсолнухами, конопляным семенем. Среди московских старожилов — воробьев — попадались незнакомые острохвостые птички с шоколадной спинкой и опаловым брюшком. Но не они собрали эту взволнованную, удивленную толпу. Обведенная почтительной пустотой, сидела большая птица, измазавшая о закат свое серое оперение. Не розовая — розовеющая, птица принесла на каждом крыле по клочку небесной синевы. Она поводила кругом, с золотым райком глазом, дикая и неестественная гостя в каменном мешке города.

— Сойка!.. Сойка!.. — говорили дети. — Сойка залетела в город! Не вспугните сойку!..

Но Гушин не поддавался обману.

«Наташа, — обращался он к птице, — зачем вы прилетели? Тут же опасно, Наташа!..»

Птица посмотрела на Гущина золотым и темным глазом, взмыла вверх и долго горела розовым и синим в перехвате солнечного луча.

...Над полигоном опускается парашютист. Белый зонт ворочается под ветром, тело парашютиста болтается как неживое. Вот он коснулся ногами земли, поросшей короткой, жесткой травой, упал, и его повлекло навстречу группе военных и штатских людей, идущих обочью поля по бетонированной дорожке. Среди этих людей находился и Гущин.

Приземлившийся парашютист в своем куполообразном шлеме и прозрачной маске не подает признаков жизни. К нему подходят люди, впереди огромный старик с массивным лицом и большими усеянными гречкой руками. На нем элегантный твидовый пиджак, ослепительно белый воротничок туго сжимает морщинистую шею. Он приближается к парашютисту, распростертому на земле, берет его руку с растопыренными пальцами, затянутую в черную перчатку, и энергично встряхивает.

— Спасибо, дорогой товарищ! — говорит он без тени юмора в глазах.

Какой-то человек в рабочем халате взваливает парашютиста на плечо и несет прочь, только теперь видно, что отважный парашютист — кукла, муляж.

— Сергей Иванович, — обращается роскошный старик к Гущину, — подготовьте к понеделнику всю документацию.

— Вы довольны, шеф? — радостно говорит Гущин. — Четверка не подкачала?

— Ну, ну, плюньте через левое плечо, — проворчал шеф. — Экие вы, молодые, несусеверные!..

Окружающие засмеялись.

— Кого готовить, товарищ Главный? — почтительно обратился к старику авиационный генерал.

— Буддакова и Верченко, как обычно...

...Гущин вернулся домой. Бросил портфель на диван, снял пиджак и кинул туда же. Вошла Марья Васильевна.

— Ты дома? — вяло улыбнулся Гущин.

— Откуда эта новая неприятная манера — удивляться тому, что я дома? Что ты хочешь этим сказать?

— Ей-Богу, ничего! — искренне ответил Гущин.

— Тебе хочется, чтоб я ушла?

Гущин неопределенно пожал плечами.

Марья Васильевна подошла, взяла за подбородок, повернула к себе его лицо.

— А ну, признавайся, что натворил?

— О чем ты?..

— Старого воробья на мякине не проведешь, — сказала она озабоченно и с пронизательностью грешного человека добавила. — Ты влюбился?

Гущин освободил подбородок и направился к книжной полке.

— Похоже на меня, — бросил устало.

— Не лги, не лги, у тебя не получается! — с тем же странным торжеством продолжала она. — Ты вернулся другим из Ленинграда. Я сразу это почувствовала.

— Да, — криво и принужденно усмехнулся Гущин. — Я бросил пить и начал одеваться.

— Не-ет, не притворяйся! Хочешь, я скажу тебе, что с тобой случилось?.. Ты не вернулся из Ленинграда!

Гущин вздохнул, пораженный ее угадкой.

— Не хватало еще, чтобы ты начала ревновать меня. Видимо, мне суждено пройти все круги семейного ада.

— Да уж, рая не жди! — злоеще усмехнулась Марья Васильевна.

— Ты вечером пойдешь куда-нибудь?

— Нет! Я же говорю: рая не жди. Ты мне очень интересен в роли влюбленного.

— Ты зря стараешься, — тяжело сказал Гущин, — не все в мире поддается опошлению.

— Ага!.. Признался!.. Ну, давай дальше. Чего ж ты?

— Слушай, я давно хотел тебя спросить: куда девалась чистопрудная девчонка с огромными чистыми глазами?

— Какая девчонка? — удивилась Марья Васильевна.

— Видишь, ты даже не помнишь ее. А мое несчастье в том, что я слишком долго ее помнил. Быть может, и сейчас еще помню, правда, лишь когда тебя нет рядом. А вот сейчас мне не верится, что она когда-то была.. Неужели человек сбрасывает образ своей юности, как змея кожу, и ничего не уносит в последующую жизнь?

— Как это похоже на тебя: жестокость, холодность и высокопарность!.. Ответ в тебе самом — куда девался молодой, смелый летчик... простой, доверчивый, искренний и главное — смелый, смелый! Он тоже умер?

— Да, — побледнев, сказал Гуцин, — это ты его убила..

...Утро. Гуцин идет на работу. Вид него измученный. Он приближается к Чистым прудам и вдруг видит.. Наташу. Он остановился, как-будто наскочил на стену, и кинулся за ней вдогонку. Наташа то появлялась, то исчезала в толпе спешащих на работу людей, и порой Гуцину казалось, что это обман зрения, вроде миража, он прекращал погоню. И тут же вновь видел ее стройную, легкую фигуру, короткое синее платье в горошек, загорелые ноги.

Возле чайного магазина на Кировской он настиг ее.

— Наташа! — крикнул Гуцин. — Наташа!

На него оборачивались. Обернулась и девушка в горошковом платье. Она и правда была очень похожа на Наташу, не только статью, но и чертами юного серьезного лица.

Гуцин повернул к метро «Кировская». И опять ему показалось, что в толпе промелькнула Наташа. Он перебежал улицу, но потерял ее из виду. И вдруг она мелькнула на ступеньках Почтамта и вошла внутрь. Он бросился следом.

Наташа покупала журнал у киоскерши. Но Наташа была и самой киоскершей, и электрокарщицей, проре-

завшей вестибюль на своей быстрой тележке, и молодой матерью с коляской была Наташа. Она вселялась во всех и вся, от нее не было спасения. Гушин прислонился к мраморной колонне, коснулся виском, а потом и лбом ее холода. Даже в гуле почтафта ему слышался Наташин голос...

...Гушин сошел с автобуса возле своего научно-исследовательского института. Вынул из бумажника пропуск и вошел в проходную. Охрана здесь военизированная. Пропуск Гушина подвергся почти столь же дотошной экспертизе, как на «Ленфильме».

Гушин пересек совершенно пустой, без деревца, двор и поднялся на второй этаж. Внутри институт напоминал больницу будущего, где царит стерильная чистота и белизна, и больные не валяются в коридорах. Толкнув одну из белых дверей, он вошел в конструкторское бюро. Ему было достаточно беглого взгляда, чтобы понять — случилось несчастье.

— Булдаков разбился, — предупреждая его вопрос, сказал молодой чернявый инженер.

— Не может быть! — потрясенно проговорил Гушин.

— Ты находчив!

— Причина?

— Сперва не отделилось кресло, затем не сработал каскад.

— Бред! — прошептал Гушин. — Дикий бред!

— Шеф тоже сказал: бред. Но факт налицо: Булдаков мертв.

— Это не наша вина, — убежденно сказал Гушин. — Где Старик.

— Шеф на аэродроме. Теперь ему хана — сорвано правительственное задание.

— А Верченко?

— Его не пропустили врачи — давление...

— Надо же!.. Слушай, ты на машине? Подбрось меня до аэродрома...

...Подмосковный аэродром. В кабинете начальника говорит по телефону огромный, старый, но не дряхлый человек с массивным лицом и большими, усеянными гречкой руками.

— Что поделатъ, — говорит он низким, густым голосом, — у дублера повысилось давление. Да, сорвано... Буду нести ответственность за все. Мне не привыкать.

В кабинет вошел Гуштин, он слышал последние слова своего начальника.

— Шеф, — сказал он, — погодите отменять испытания. Я полечу.

— Вы с ума сошли!.. Нет, это не вам. Я перезвоню. — Он бросил трубку на рычажок.

— Я в полном порядке, — сказал Гуштин. — Дайте мне «добро», шеф.

— А пример Булдакова вас, мягко говоря, не настораживает?

— Нет, тут что-то не то... Я знаю: о мертвых надо говорить хорошее или молчать, но Булдаков что-то напортил.

— Не много ли вы на себя берете?

— Ручаюсь за успех. У меня есть допуск к полетам. Я же бывший военный летчик.

— А если неудача?

— Дам подписку...

— Я не о том. Булдаков был мастером своего дела.

— Вы разве забыли, шеф, я мастер парашютного спорта.

— Я не о том. Мне непонятно, что вами движет. Конечно, неплохо было бы доложить о выполнении правительственного задания, но я лучше выйду в отставку, чем сделаю это ценою риска.

— Риск есть во всем, шеф, даже в езде на мотоцикле.

— Здесь он несколько выше.

— Как сказать! Мы сбросили двадцать кукол — и все было нормально. Я буду двадцать первой — хороша сумма — очко!

— Мне не нравится ваша веселость. Она неестественна... Послушайте, Гуцин, как ваша семейная жизнь?

— Она касается только меня, шеф, — Гуцин перестал улыбаться. — Не превышайте своих полномочий.

— А вы не учите меня! — сказал тот ворчливо. — Я вам в отцы гожусь. И спрашиваю не из пустого любопытства, я должен знать, кого посылаю.

— Давайте я заполню анкету: репрессиям не подвергался, на оккупированной территории не был, над оккупированной бывал не раз, в оппозиции не участвовал, родственников за границей не имею, взысканиям не подвергался. Самая лучшая анкета — сплошное отрицание.

— Продолжайте, — как-то очень серьезно сказал шеф. — Ближайшие родственники?

— Вы их знаете: жена Мария Васильевна тридцати девяти лет, домашняя хозяйка, дочь Евгения семнадцати лет, школьница, проживает по моему адресу.

— Какие у вас отношения с женой?

— Оставьте мою жену в покое! Прекрасные отношения, дай бог вам! Я самый счастливый муж на свете. Довольно с вас?

— Нет! — старик ударил по столу кулаком. — Откроем карты: мне нужен испытатель, а не самоубийца!

Гуцин мертвенно побледнел, и в какой-то миг показалось, что он бросится на своего шефа. Но вместо этого он вдруг рассмеялся.

— Ваша хваленая принципиальность начисто изменила вам, шеф. Вы едва ли найдете человека, которому так хотелось бы уцелеть и так нужно уцелеть, как мне.

— Я не понимаю иносказаний, но ваш смех звучит убедительно. Вы хотите жить. Что ж, даю вам добро.

— Спасибо, шеф, — растроганно сказал Гуцин. — Вы не представляете, как я вам обязан!

— Но зато я знаю, как буду обязан вам, — пробурчал шеф. — Идите на медицинский осмотр...

...Взлетная дорожка аэродрома. К самолету приближается грузовик. В кузове лежит набоку нечто диковинное, напоминающее пленного марсианина: человек в скафандре, белом круглом шлеме, намертво соединенным с металлическим креслом.

Грузовик остановился возле самолета. К нему подвозят специальный подъемник, пленного марсианина опутывают тросами и загружают в кабину самолета. За прозрачной маской из искусственного стекла пилоту улыбнулись спокойные глаза Гущина.

Кресло зафиксировали в нужном положении. Гущин опробовал рычаги. Дан старт, и самолет резко набрал высоту...

...Начальник Гущина, несколько крупных чинов ВВС и другие причастные к испытанию лица наблюдают за полетом из круглой застекленной комнаты, где находится пульт управления.

— Приготовиться! — звучит команда.

— Внимание!

— Пошел!

И почти сразу:

— Отставить!

Ибо самолет, упустив какие-то мгновения, проскочил поле, и сейчас под ним лес.

Новый заход.

— Приготовиться!

— Внимание!

— Пошел!

И опять ничего не происходит — самолет снова «потерял» поле.

— Пилот волнуется, — проворчал шеф.

— Пилот ли?... — сказал кто-то скептически.

Шеф зверем глянул на говорившего...

...Кабина самолета.

— Возьми себя в руки, — говорит Гушин пилоту.

Самолет выходит на поле.

— Приготовиться! — подает команду пилот.

— Внимание!

— Пошел!

В тот же миг Гушин резким движением вышибает клинья, закрепляющие кресло, то есть «выстреливает» собой.

...Снизу видно, как над самолетом возникло темное тело, затем распалось надвое: это отделилось кресло, и начался «каскад» — заработала система из нескольких парашютов.

Ближе к земле парашютиста подхватил ветер и понес в сторону леса.

Из гаража выехала санитарная машина с зловещим красным крестом. В нее забрались санитары.

Умело действуя стропами, парашютист препятствует сносу в опасную зону и, наконец, вовсе осиливает ветер...

...Гушин приближается к земле. Он видел ее под собой: огромную, светлую, манящую, с лесами, реками, пашнями, дорогами, садами, крышами и широко распахнул руки, словно желая ее обнять...

...Через несколько минут Гушин доложил шефу: «Задание выполнено». Старый, грузный, мрачный и властный человек молча обнял Гушина.

— Не стоит благодарности, шеф, — смеясь сказал тот. — Я поступил как эгоист. Мне просто нужна была маленькая проверка.

...Почтовое отделение. Гушин протягивает в окошко телеграфный бланк.

Девушка-телеграфистка прочла, шевеля губами: «Требуются ли еще седые человеческие волосы?» Удивленно по-дозрительно посмотрела на Гущина, почему-то вздохнула и стала пересчитывать слова...

Гущин вышел из почтового отделения. В черной «Чайке» его поджидал шеф.

— Ну, теперь куда? — ворчливо спросил он.

— Как поется в песне: «Куда глаза глядят», — весело отозвался Гущин.

— В «Арагви», — сказал шеф водителю.

...Утро. Спешат на работу люди. Со своим неизменным портфелем под мышкой идет Гущин. Заходит на почту.

Он подошел к окошечку, где выдают корреспонденцию до востребования.

— Гущин, — назвал он себя, протянув паспорт.

Он получил его назад вместе с телеграммой: «Да, да, да. Очень, очень срочно. Наташа»...

Домой Гущин вернулся очень поздно с каким-то свертком. Поймав удивленный взгляд жены, он сказал спокойно:

— Я уезжаю.

— Опять командировка?

— Ты не поняла меня. Я совсем уезжаю.

Она опустилась на стул, словно подогнулись ноги, на-шарила в фартуке сигареты, жадно закурила.

— Как все это понять?

— Я уезжаю в Ленинград. Навсегда.

— Ну что я говорила! — вскричала она с каким-то странным торжеством. — Я сразу почуяла, откуда ветер дует.

— Да, ты очень проницательна, — бесстрастно сказал он.

— А зачем ты мне врал? — это прозвучало по-детски.

Гущин усмехнулся.

Она вдруг сникла, погас стеклянный блеск глаз, — случившееся наконец-то дошло до ее сознания.

— Уезжай, — сказала она устало. — Ты вправе это сделать... Когда ты едешь?

— Лечу. Завтра утром.

— А как же работа? — спросила она, словно это имело значение.

— Все сделано. Мне пошли навстречу. Я буду тебе помогать, независимо...

— Не надо об этом, Сережа, я знаю.

Их разговор прервало появление вернувшейся из похода дочери. Она вошла в пластиковых брюках и в ковбойке с закатанными рукавами, загорелая до черноты, с облупившимся носом и обветренными щеками.

— Привет, дорогие предки!

— Женя, папа нас оставляет, — сказала Мария Васильевна.

В красивых глазах Жени вспыхнул доброжелательный интерес к отцу, наконец-то решившемуся на поступок.

— Давно пора! — сказала она искренне. — Ты оставь мне свой новый адрес, папа, я когда-нибудь загляну к тебе на огонек... На ванну никто не претендует? — и Женя вышла из комнаты.

— Вот как все просто кончается, — вздохнула Мария Васильевна.

«Греки со смехом прощались со своим историческим прошлым», — вспомнилось Гушину.

— Мне почему-то не смешно, — сказала Мария Васильевна. — Но ты прав, прав!.. — и казалось, она уговаривает самую себя. — Ну, да что это я? Надо собрать тебя, постирать...

— Этого еще не хватало! — резко сказал Гушин.

— Но как же ты поедешь?

— Как Брюллов, — и в его усмешке была жестокость.

— Я что-то не понимаю...

— Когда Брюллов покидал николаевскую Россию, то скинул на границе всю одежду и голый перешел в новую жизнь.

— Ты не щадишь меня напоследок, а ведь лежачего не бьют.

— Давно ли ты стала лежачей?.. Всегда лежачим был я, и меня били... Били, били по чем ни попало!

— Это правда... Но ты мог подняться. Я вот смотрю на тебя, как ты сохранился! У тебя молодые глаза.

— Меня выдерживали на холоду.

— Да, понимаю твою шутку. А на кого я похожа?

— Ты, кажется, никогда не жаловалась на равнодушие окружающих.

Она махнула рукой.

— Это пока ты был... А сейчас кому я нужна? Брошенная жена, да еще в столь опасном возрасте. Моя песенка спета... — Он хотел что-то сказать, но она предупредила его. — Пойми, я не жалею и не хочу тебя растрогать. И не злюсь на тебя, может быть, немного завидую. Но все правильно: «Каждому свое», как написано на воротах Бухенвальда.

— К чему все это? — с тоской сказал Гушин.

— Прости. Не сердись. Но дай мне собрать тебя в дорогу. Я не собирала тебя на войну, это сделала твоя мать. Но ведь сейчас для меня...

— Нет! — перебил Гушин. — Не надо. Ничего не надо. Давай лучше молчать, как все эти годы...

...Утро только занималось, солнечное, синее, когда Гушин вышел из ванны. Он причесал перед зеркалом свои густые седые, а сейчас стальные от влаги волосы и стал одеваться. В свертке, который он принес с собой накануне, оказались легкие летние брюки, шерстяная рубашка и сандалеты. Он с удовольствием надел на себя все эти новые вещи, и они ладно пришлись к его сухой, сильной фигуре.

Гушин быстро закончил несложные сборы, сунул в карман электрическую бритву, зубную щетку и гребенку. Проверил билет на самолет и положил его в бумажник. Достал из шкафа потертую, но еще сносную замшевую куртку, накинул на плечи.

Он подошел к полке с книгами, провел пальцем по их старинным, тисненым золотом корешкам. Улыбнулся дружески.

Вышел в коридор. Прислушался. Жена и дочь спали. Он постоял в раздумье, словно не зная, разбудить их или уйти тихо, никого не обременяя ненужными сложностями.

— Ну, ладно... — пробормотал он и пошел к двери. — По пути взгляд его упал на старый портфель, валявшийся в прихожей. Освобожденный от всякой начинки, он напоминал не то лопнувший воздушный шар, не то сброшенную змеей кожу — что-то совсем мертвое, отжившее, ненужное. Гуцин улыбнулся и потрогал пальцами истончившуюся до лепестковой тонины плоть своего старого верного спутника. Хоть с кем-то простился...

Он осторожно открыл дверь, вышел на лестницу и так же осторожно закрыл за собой. И кинулся с лестницы, как с горы... Даже тихого звука закрываемой двери оказалось достаточно, чтобы прогнать непрочный, тревожный сон Марии Васильевны. Она села на постели и прижала руку к больно забившемуся сердцу. Она сразу поняла, что Гуцин ушел. Босиком, в одной рубашке, растрепанная и жалкая, она побежала в столовую.

Окно долго не поддавалось, как всегда бывает, когда торопишься, когда время не ждет. Но вот оно поддалось, в грудь Марье Васильевне пахнуло свежестью утра: ветром чужого счастья. Озабоченное, испуганное и напряженное выражение на ее лице сменилось другим: заинтересованным, жадным, растерянно-добрым. Незаметно для самой себя она помахала рукой в спину уходящему Гуцину.

Гуцин уходил все дальше и дальше, и она все сильнее тянулась из окна вслед человеку, с которым прожила лучшие годы жизни, так ничего в нем не поняв...

...Гуциным владело чувство бегуна, с полным запасом сил вышедшим на финишную прямую. Ладная одежда усиливала ощущение легкости, владевшее всем его существом. В душе

его творилась музыка. Он шел по ранней, только что расцветающей, влажной от полива, гулкой улице, и ему казалось, что впереди возникают очертания Петропавловской крепости — неповторимый силуэт Ленинграда, от которого его отделяла дорога длиною в час. Он с такой нежностью пробуждал в себе образы Ленинграда, словно это Наташа специально для него построила город, перекинула мосты через Неву и Фонтанку, поставила Ростральные колонны, обнесла решеткой каждый парк, перебросила арки там, где дома мешали прорыву улиц к площадям. Гуцин шел и улыбался, и музыка, творившаяся в нем, звучала будто извне.

На перекрестке он сдержал шаг, чтобы кинуть последний взгляд на дом, где похоронено столько его дней и ночей. Эх, не оборачиваться бы ему, ведь скольких людей, если верить Библии и народным преданиям, погубил взгляд, брошенный назад! Но Гуцин оглянулся. Он увидел знакомые стены, окна, и одно окно было распахнуто, из него далеко высунулась женщина и смотрела ему вслед. Он не узнал в первый момент своей жены, но затем в странном неестественном приближении, словно свершилось некое оптическое чудо, он увидел ее небрежное лицо с расширенными порами, погасшие глаза в морщинистых веках, никому не нужное, беззащитное лицо рано постаревшей женщины. Да, в ней ничего не осталось от чистопрудной девчонки! И странно, ни злости, ни ожесточения не было в этом бледном лице; она смотрела сверху, а казалось — снизу, взглядом поверженного всадника, сбитой выстрелом птицы.

И этого Гуцин не мог вынести. Он издал горлом какой-то странный глотательный звук и повернул назад. Он шел, и музыка умирала за его спиной. Его шаги гулко, жестко, мертво отдавались в пустоте улицы. Резко заскрипела в этой странной тишине дверь парадного и глухо захлопнулась за Гуциным.

Женщины уже не было видно в окне. Некоторое время слышались тяжелые, медленные шаги Гуцина на лестнице, и настала тишина. Потом наверху захлопнулось окно.

Самый медленный поэт

(РАННЕЙ ВЕСНОЙ)

литературный сценарий

Из здания почтамта, на ходу читая письмо, появляется высокий, седоголовый человек в плаще с поясом и прочных, на толстой подметке ботинках. Его толкают, он даже на замечает этого, так захватило его письмо.

Затем, дочитав, он прячет письмо в карман, быстро проходит к стоящему возле тротуара «Москвичу», садится и резко трогает с места.

«Москвич» несется по улицам со скоростью, явно превышающей орудовские правила. Мелькают красивые здания, скверы, памятники сегодняшнего весеннего Волгограда.

«Москвич» покинул пределы города, и теперь скорость его возросла до предела. Он обгоняет не только полуторки, и пятитонки, бензовозы и пикапы, но и «Волги», «ЗИЛы», ловко разминается со встречными машинами. Его водитель очень торопится...

«Москвич» с вынужденной медлительностью ковыляет по разрытой, изжеванной колесами самосвалов, тягачей и МАЗов строительной площадке в окрестностях города. Но вот водитель остановил машину, вылез наружу и сразу стал игралищем жестоких ветров, что свирепствуют веснами в низовьях Волги и неощутимы лишь в городах.

Боком наваливаясь на ветер, человек идет мимо эскаваторов, землечерпалок, мимо молодых парней и девушек, вгрызающихся в землю лопатами, кирками. Вот рядом с ним опорожнила тачку, груженную щебнем, рослая девушка в больших брезентовых рукавицах.

Распрямившись, девушка увидела человека. Ее милостивое, но жестко обветренное, с сухими обметанными губами лицо осветилось радостной улыбкой.

— Товарищ Сергеев!

— Здравствуйте, Наденька!.. Ну как, еще не обогнали «проклятого» Сенючкова?

— Обгонишь его при таком ветрище! — жалобно говорит девушка.

— Сенючков, видно, ветроустойчив? — шутит Сергеев. Девушка смеется.

— Не знаете, где комсорг?

— Вон торчит! — Девушка показывает на торчащие из-под заглохшего тягача грязные сапоги.

— Остались от козлика рожки да ножки! — напевает Сергеев и вместе с Надей подходит к тягачу.

— Миша! — кричит Надя. — К тебе представитель прессы!

Комсорг вылезает из-под тягача, невысокий, крепкосбитый, симпатичный паренек в испачканном землей комбинезоне и кепке блином. Хочет поздороваться с Сергеевым, но сам первый отдергивает черную от гари и масла руку.

Вера дает ему рукавицу, теперь они могут обменяться рукопожатием.

— Зачастили вы к нам, товарищ Сергеев! — говорит комсорг.

— Ну как же — передовая стройка! — улыбается Сергеев. — Вот что, комсорг, у тебя работает Лена Стрелкова?

Лицо комсорга вытянулось.

— Значит, вы приехали за отрицательным материалом?..

— Там разберемся. Где мне ее найти?

— Да вот, — говорит комсорг и подводит удивленного Сергеева к траурной черной доске, на которой аршинными буквами начертано:

«ПОЗОР ДЕЗЕРТИРАМ СТРОЙКИ: ГАРРИ ОРЕШКИНУ, ВАРВАРЕ ОРЕШКИНОЙ-СВИСТУНОВОЙ, ЕЛЕНЕ СТРЕЛКОВОЙ».

Помрачневший взгляд Сергеева задерживается на последней фамилии.

— А ведь заклеить — самое простое, комсорг, — говорит Сергеев.

— Я поседел из-за этой чертовой Ленки! — комсорг сорвал кепчонку со своих черных, как смоль, кудрей. — Тяжелейший случай, товарищ Сергеев: в мечтах — кубинская революция, на деле — от дождичка скисает!

— А тут еще подруга, мадам Орешкина, урожденная Свистунова, — вмешивается Надя и, явно подражая кому-то, противно гнусавит: — С романтикой не вышло, плюй на все и береги здоровье. Нас тут не поняли...

— Ладно, — жестко обрывает Сергеев, которому явно тяжело все это слушать. — А где она?..

...На этот вопрос он получает ответ от старушки-вахтерши женского общежития:

— Уехала, милоч. Ты малость с ней разминулся...

Сергеев кидается в «Москвич» и яростно донит его по ухабистой дороге в сторону шоссе...

На шоссе, уже в виду автобусной остановки, возникает одинокая девичья фигурка. Девушка идет медленно, то и дело перекладывая из руки в руку тяжелый чемодан. Машина поравнялась с девушкой. Приоткрыв дверь, Сергеев что-то говорит ей, видимо, предлагает подвезти. Та отрицательно качает головой, но потом, сдавшись, садится в машину. «Москвич» быстро удаляется к городу...

«Москвич» приближается к железнодорожному переезду, загроможденному товарняком, и пристраивается в хвосте машин.

— Теперь будем загорать, — говорит Сергеев и выключает мотор. — Раз наше путешествие затянулось, давайте знакомиться: Сергеев, журналист.

— Просто Лена, — называет себя девушка.

— Удивительный это город, — задумчиво говорит корреспондент, окидывая взглядом окрестность, — что ни

шаг — чья-нибудь судьба. Видите вон тот столб с часами?

Девушка с равнодушной вежливостью смотрит в указанном направлении. Обычный железный столб, обычные уличные часы. На фоне этих часов звучит голос Сергеева:

— А вот двадцать лет назад...

Тот же столб, но обезображенный снарядами ранами, черный, покосившийся, и на нем часы с разбитым стеклом, с оборванной минутной стрелкой...

За часами ищербленная осколками стена дома, где помещается военная комендатура, на ней надпись: «Отстоим волжскую твердыню». Парень в ватнике и ушанке с ведром в руке, взобравшись на груду щебня, кистью вписывает букву «Р», теперь надпись читается: «Отстроим»...

Под часами нетерпеливо прожигается маленькая женщина. Вот она остановилась и с радостной улыбкой на нежном таящем лице смотрит на работу доморощенного художника. И другие люди, проходившие по улице, — военные и штатские — не оставляют без внимания эту крошечную поправку в лозунге, за которой целая эпоха.

Нетерпеливо-ожидательный взгляд женщины обратился к комендатуре. Она вздохнула и подняла голову, чтобы посмотреть, который час, но время на часах давно замерло. С досады, то ли на себя, то ли на часы, женщина сердито топнула ногой. Ей неможется, она проводит рукой по пылающему лицу, распакивает свой романовский полушубок, и мы видим, что ей вскоре предстоит стать матерью.

Из комендатуры быстрым шагом выходит статный, с седыми висками военный; в петлицах у него ромбы и «галючка» — эмблема медицинской службы. Он подходит к молодой женщине.

— Заждалась, бедная! — говорит он с нежностью. — Все в порядке, вот пропуск... Ты что это — душа нараст-

пашку?.. — он заботливо и властно застегивает на ней полушубок.

— «Старый муж, грозный муж!»... — любовно говорит женщина.

— Нельзя так, Ниночка, надо себя беречь. И в дороге...

Он не успевает договорить. Где-то совсем близко раздастся громкая автоматная очередь. Чей-то испуганный крик. Метнулись в разные стороны прохожие.

Военврач оборачивается и видит...

...из подвала, поливая улицу автоматными очередями, выскакивает немецкий солдат, худой, грязный, с безумным взглядом, с черным, перекошенным от ярости лицом. Солдат стреляет вслепую: вдоль улицы, по развалинам, ввысь, будто желая расстрелять само небо, и вдруг замечает близ себя двоих людей. Что-то меняется в его лице, словно невидящие глаза загорелись почти сознательной волей. Он опускает автомат и надвигается на военврача и его жену. Нашаривая пистолет, военврач прикрывает собой жену и тут же падает, прошитый пулями. Немец продолжает расстреливать упавшего. Жена бригаврача кидается вперед, вырывает у него автомат и убивает солдата.

А затем, шатаясь, с лицом, искаженным дикой мукой, она подходит к убитому и падает на его тело...

...Снова шоссе и разъезд, уже не загроможенный товарняком, трогаются машины, и включается в общее движение «Москвич».

Лицо Лены задумчиво и как-то взволнованно-серьезно, видимо, рассказ ее тронул.

— А вы не знаете, что было дальше с этой женщиной? — тихо спрашивает она.

— ...Но вы торопитесь на вокзал?..

— Я успею.

Корреспондент прибавляет скорость, обходит вереницу машин, и вскоре слева от них возникает железнодорож-

ная станция: «Бекетовка». Они подъезжают к зданию станции и останавливаются.

Сергеев жестом предлагает Лене выйти из машины.

Они медленно идут к станции.

— Этот самый медленный поезд на свете уходил отсюда, из Бекетовки, — начинает свой рассказ корреспондент...

...К длинному товарному составу нескончаемой чередой брели немцы: в шинелях с поднятыми воротниками, в пилотках, натянутых на уши, с ногами, закутанными с соломой, войлок, тряпки, с обмороженными, худыми, смертельно усталыми лицами. Бывший цвет немецкой армии, ныне это сломленные люди, на собственной плачевной участи убедившиеся в безнадежности развязанной Гитлером войны. Один из немцев падает. Конвойный казах подходит и слегка подталкивает его носком сапога: «Штеен!» Снизу вверх глядят испуганные, умоляющие глаза молодого немца.

— А что б тебя!.. — с безразличной жалостью бормочет конвойный, наклоняется и, ухватив немца под микитки, почти несет его к теплушке.

В конце эшелона прицеплен старенький, дачного вида, вагончик с деревянными стенами и окошечками, как в крестьянских избах. Такие вагончики нередко служат жильем рабочим-железнодорожникам.

И здесь идет посадка. Парень в военной форме, с черной повязкой на глазу, подсаживает на ступеньку девочку лет семи-восьми с большими, задумчивыми, серьезными до мрачности глазами.

Подходит человек с погонами майора и туго набитым корреспондентским планшетом, в руке у него цинковое ведро. Левая рука на перевязи. В человеке, хоть он и молод, без труда можно узнать корреспондента Сергеева. Он опускает ведро на землю и помогает забраться в вагон молодой беременной женщине, жене погибшего бригаврача. Следом за ней поднимается ее подруга, черненькая девушка, похожая на галчонка.

Подходят трое одинаково одетых мужчин: на всех шинели, поверх дождевики, ушанки, через плечо полевые сумки. Один из них, самый молодой, опирается на палочку.

— Ого! — весело приветствует их Сергеев. — Весь цвет обкома! Куда путь держим?

— На места! — отвечает пожилой инструктор Сердюков. — Это что — боевой трофей? — щелкает он пальцем по цинковому ведру.

— Там миноги, — поясняет корреспондент.

Инструкторы дружно смеются.

— Трогательное единодушие, — замечает маленький, полный инструктор Афанасьев.

Слышится сильный паровозный гудок. Бойцы задраивают дверцы теплушек, набитых пленными.

— Прошу садиться в спальный вагон прямого сообщения с тем светом! — басит Сердюков, и его товарищи поочередно забираются в вагон.

Лязгают буфера, содрогается всем своим дряхлым телом вагончик. И тут, запыхавшись, подбегает полная, немолодая, со свежим, розовым лицом женщина. Она швыряет свои узлы в вагон.

— Скорей, мамаша! — кричит Сердюков и помогает женщине взобраться на площадку.

— Спасибо, милоч! — добродушно улыбается женщина. — Все ж ки успела!.. — Она высовывается наружу, на ее полном, добром лице выражение боли и нежности. — Прощай, мой город, — шепчет она, — прощай Волга!..

...Медленно ползет длинный эшелон по голой, выжженной, вытоптанной, изжеванной снарядами и бомбами сталинградской земле.

Внутри маленького вагончика, где едут наши герои, закладывается своя дорожная жизнь. В средней части вагончика сняты скамейки, здесь установлена печурка с трубой, выходящей в крышу вагона.

Одноглазый парень «оккупировал» две скамейки, ближайшие к печке. На одной он уложил девочку, на другой готов растянуться сам, но ему мешает черненькая девушка.

— Эй, боец! — говорит она свободным, независимым тоном.

— Освобождай койку!

— Ещу чего! У меня тут ребенок!

— А у меня?.. — черненькая показывает глазами на беременную подругу. — Хуже всякого ребенка.

Одноглазый парень послушно освобождает койку. И тут же испуганно вскакивает девочка.

— Ты куда?..

— Да куда! Что ты, глупенькая? Я же с тобой, — с нежностью, странной для его мужественного облика, смуглого, заветренного лица и преречеркнутого повязкой глаза, отвечает боец и пристраивается на лавке рядом с девочкой.

Черненькая смотрит на него с удивлением

— Сестренка? — спрашивает она.

— Дочка, — твердо глядя ей в глаза, отвечает боец.

Появляется с ворохом сена полная, добродушная женщина, едва не опоздавшая на поезд.

— Хоть на полу, да все к теплу поближе, — весело говорит она, сваливая ворох сена возле печурки.

— Что ж вы, тетя наша, — замечает одноглазый.

— Это как же тебя, милоч, понять?

— А так, что вы всю оборону под самым жутким огнем обитались, а тут..

Другие пассажиры прислушиваются к их разговору.

— Правда твоя! — радостно говорит женщина. — Только тебе-то откуда известно?

— Да вы же нас козьим молоком поили! Вас тетя Паша звать. Вы в землянке за литейной проживали.

— Верно! Ты, стало быть, с четвертой минометной. То-то и мне твоя личность будто приметная.

— Откуда же молоко бралось? — с профессиональной заинтересованностью спрашивает корреспондент Сергеев. Он раскуривал самокрутку от печи.

— У тети Паши там коза была, — с улыбкой говорит одноглазый. — Потому, верно, и не ушла, что козьим молоком нас поддерживала.

— Да будет тебе! — отмахнулась тетя Паша. — Какое с козы молоко!..

— И все это под огнем?! Непонятно.

— И мне, милый, непонятно, — отвечает тетя Паша, — а было...

— А куда девалась кормилица-то наша?

— Убило ее осколком.

Парень словно ищет козу в вагоне.

— Нет я уж теперь до конца посевной не вернусь, — видимо, отвечая кому-то из товарищей, говорит инструктор Афанасьев.

— Как это спокойно мы сейчас говорим «до конца посевной», — обращается к Афанасьеву корреспондент. — А еще десять дней назад ну кто об этом мог думать?

— «Поле великой битвы вновь становится пахотой» — вот вам название для очередной статьи, — скрывая под шутливостью иное, серьезное чувство, говорит Афанасьев. — Как вам нравится заголовок?

— Что же, неплохое название! — улыбается корреспондент.

— Хорошо с вами, — замечает Сердюков, — а мне пора сходить. — Он встает и застегивает плащ.

— Счастливого пути! — отзывается Сердюков и идет к выходу.

— Тут вроде нет остановки, — говорит корреспондент.

— Иван Иванович, погодите!..

— Нельзя, брат, — оборачивается Сердюков. — Люди ждут, КАДРЫ!.. — подчеркивает он последнее слово.

Трое его товарищей поднимаются и следом за ним выходят в тамбур.

Подобрав полы дождевика, Сердюков деловито и спокойно кидается с подножки в заглохший сумрак мартовского дня. С трудом удержавшись на ногах, он через рельсы шагает туда, где его ждут люди... Вечерний режим.

Бегут голые поля, хрянящие на себе следы и знаки великой битвы: где зарывшийся носом в землю немецкий бомбовоз, где покрывшийся ржавчиной тяжелый танк, где разбитая повозка, или труп лошади; полнятся вешней водой огромные воронки.

У печки одноглазый паренёк беседует с тетей Пашей.

— А все же тебе повезло! Много ли с вашей четверки народу уцелело?

— Почитай, никого...

— Почти никого...

(Гнетущая тишина.)

— Верно это, что одним глазом в глубину не видишь? — вмешивается черненькая девушка.

— Враки! Вон, за окном водокачка, за ней дерево, дальше — лужа, а еще дальше — роща чернеет.

— Точно! — радостно подтверждает черненькая.

И тут, лязгая буферами, тесня самого себя своим членистым телом, эшелон замедляет ход и останавливается возле развалин, бывших некогда станцией.

Среди развалин ржавеют куски железа, гильзы от снарядов и патронов, немецкие каски, жестяные коробки мин. Внезапно все это исчезает за вагонами и платформами встречного эшелона. В окнах мелькают товарные вагоны, цистерны с горючим, платформы, груженные сельскохозяйственными и строительными машинами, грузовиками, кирпичом, бревнами, досками, песком...

— На поправку! — счастливым голосом говорит тетя Паша. — Такой город в первую очередь восстановят.

— И будет он самым красивым на свете! — убежденно отзывается черненькая.

Эшелон прошел. Через рельсы в сопровождении бойца, который тащит баул и большой темный предмет, напоминающий футляр от аккордеона, спешит женщина в распахнутой котиковой жакетке, с крашеной золотистой головой.

— Видать, попутчицей будет, — замечает тетя Паша.

Из окна видно, как козыряет боец, прощаясь с новой пассажиркой.

Но вот и она сама с шумом появляется в вагоне и сразу направляется к печке.

— Гражданочка, тут местов свободных нет! — полушутя выкрикивает черненькая.

— Да будет тебе! — останавливает ее тетя Паша. — Они рядом со мной устроятся.

Но женщина, опустив на пол свои пожитки, с восторгом глядит на черненькую.

— Ой, до чего здорово вы сказали! Как настоящая кондукторша. Сразу вспомнилась Москва, трамвай, вечерняя толчея, огни!..

— А я и есть кондукторша, — смеется черненькая. — Только не московская, а ленинградская... Таврическая! — выкликает она высоким, пронзительным голосом. — Литейный проспект!.. Пять углов!..

Подхватив игру, вновь прибывшая изображает «классического» пассажира:

— «Один до Финляндского!.. Чего толкаешься?.. Шляпу надел, поезжай в такси!..» Простите, это мы вспоминали прошлое.

Смех.

— А вы кто сами будете? — интересуется черненькая.

Тряхнув золотистой, с проседью, головой и чуть распахнув жакет, под которым на шелковой кофточке посверкивает Красная Звезда, женщина отвечает немного вызывающе:

— Артистка!

— Знаменитая? — с легкой ехидцей спрашивает черненькая.

— Да! В своей квартире!

— Ну зачем так! — сразу добреет черненькая. — Ордена небось задаром не дают.

— Задаром, конечно, нет — безапелляционно заявляет артистка. — Мне, например, дали за глупость.

— Вот это да! — восхищен одноглазый. — Сроду такого не слышал.

— Мы выступали с концертной бригадой на Западном фронте, и в одном городке командир части попросил сыграть «Лунную сонату». Пианиста у нас с собой не было, я же умела только подыгрывать одному парню, кидавшему шары и кольца, и двум девушкам, стоявшим друг у дружки на голове. Да еще одному старому дядьке, который теннисные мячи глотал. И вот администратор говорит мне: «Выручай». Словом пришлось играть. И вот, играю и чувствую, что пот с меня в три ручья течет, до смерти боюсь соврать. Там одно трудное место есть — еще когда я девочкой была и подавала несбыточные надежды, всегда на нем спотыкалась. Играю, а про себя твержу: «Господи, прониеси, Господи, прониеси!»..:

Наплывом возникает дощатая сцена, черное крыло рояля, отражающее лица бойцов и офицеров, затем взмокшее от волнения лицо артистки и ее руки, бегающие по клавиатуре. Мощный звук рояля вдруг усиливается в невероятной степени, словно это уже не рояль, а взрывы. Артистка самозабвенно играет, ничего не замечая вокруг. В крышке рояля уже не отражаются лица слушателей, что-то звенит, рушится, и снова властвует рояль. Кончила исполнительница и в изнеможении откинулась на стуле. Тишина. Она смотрит в зал: пыль, пустота, выбитые стекла, опрокинутые скамейки,

стулья, и лишь посреди первого ряда сидит командир, прикрыв глаза рукой. Но вот он встает и начинает бешено аплодировать..

Вагон. Рассказывает артистка.

— Оказывается, немец налет сделал и парочку фугасов под самые окна уложил. Все люди в укрытие спустились, а я ничего не заметила. Ну, этот командир меня к ордену представил. За проявленные доблесть и героизм. А надо бы за проявленную дурость.

— Чего зря говорить, правильно вас наградили, — заключает тетя Паша. — А сюда как попали?

— Ну, надо же было орден оправдать. Сперва я в Ленинград сунулась. Там выступала, пока ногами вперед через Ладожское не вывезли. Отлежалась и на Сталинградский махнула. Здесь и работала в частях. Даже стихи читала. Мне сказали: раз артистка, значит, должна все уметь. Это был какой-то ужас.

— Да, в окопах не сладко! — усмехнулся одноглазый.

— Я говорю о своем чтении, — сухо поправляет артистка.

— Можно аккордеончик? — спросил Гребнев.

— Пожалуйста!

— Никто не возражает?

— Да нешто кто против музыки возразит! — говорит тетя Паша.

Гребнев играет и негромко поет:

На Смоленской дороге метель, метель, метель.

На Смоленской дороге столбы, столбы, столбы.

и т.д.

Медленно замирает отыгрыш мелодии,
в вагоне темнеет..

...Ночь. Тихо горят свечные фонари в двух концах вагона, да печурка бросает отсвет на лица спящих. Покачивается вагон.

Но вот зашевелился прикорнувший сидя инструктор Афанасьев. Обеспокоенно глянул в окно и осторожно, стара-

ясь не шуметь, поднялся, застегнул дождевик. И тут же проснулся Гребнев, и приоткрыл заспанные глаза корреспондент.

— Погодил бы до станции, товарищ Афанасьев, — говорит Гребнев.

— Нельзя, брат, у меня сев. Это тебе не членские взносы собирать, — отшутился Афанасьев.

— Опять ведь швы разойдутся, — тоскливо говорит Гребнев.

— Да нет, теперь крепко зашито!

— Ну, тогда и я с тобой, — и Гребнев подымается, опираясь на свою палочку.

— Это зачем же? — сердито говорит Афанасьев. — Тебе от станции ближе.

— Через Воронково доберусь.

— А нога, Владимир Николаевич?.. — присоединяет и свой голос корреспондент.

— Не по-партийному, брат! — укоряет его Афанасьев. — Христосика разыгрываешь!

Гребнев молча выходит в тамбур. Афанасьев и корреспондент следуют за ним.

— Оба вы ненормальные! — кричит корреспондент. — Как можно в такую темень!..

— Мы солдаты.

— Счастливо оставаться, Сергей Иваныч, — спокойно и благожелательно говорит Гребнев.

Афанасьев молча пожимает руку корреспонденту. Приноровившись и подобрав плащ, Гребнев прыгает в ночь, следом — Афанасьев. Корреспондент встревоженно следит за ним. И Гребнев оступился, упал. Афанасьев помог ему подняться. И вот они зашагали по шпалам, едва различимые в темноте, высокий и маленький, партии рядовые...

Корреспондент с задумчивой улыбкой возвращается в вагон, закуривает.

Осторожно подымается со скамейки, где она спала рядом со своим приемным отцом, девочка, подсаживается к

печи и внимательно, с недетской серьезностью смотрит на тлеющие угли.

Застонала во сне молодая беременная женщина, открыла большие, страдающие глаза. И тут же, с чуткостью любящего сердца, вскочила спавшая рядом на чемоданах черненькая кондукторша.

— Что с тобой?.. Тебе плохо?..

— Не знаю... знобит...

Черненькая хватает свое пальтецо и укутывает подругу.

— Спи, я сейчас подтоплю.

Она быстро подкладывает в печурку березовые щепки.

— А ты чего не спишь, полуночница? — спрашивает она девочку.

— Я думаю, — серьезно и отчужденно отвечает девочка.

— Вот те на!.. О чем ты думаешь?

— О Ленинграде... о многом...

— Ты разве ленинградка?

Девочка кивает.

— Значит, мы землячки. А на Волге ты как очутилась?

— Я приехала к бабушке. Эвакуировалась, — медленно и четко произносит она трудное слово.

— Ты так говоришь, будто одна приехала.

— Одна, — так же серьезно и строго подтверждает девочка.

— Одна? — кондукторша недоуменно, чуть испуганно смотрит на девочку. — Такая махонькая!.. Да как же тебя мамка пустила?

— Мамы уже не было, — тем же страшноватым в своей ровности голосом отвечает девочка.

— Ну так папка!

— Папы уже не было. И Фенички не было. Никого не было. И бабушки тоже нет, ее бомбой убило.

— Господи! — всплеснула руками черненькая.

— Тише! — резко, хоть и вполголоса, сказала девочка. — Папа Коля проснется. Он не велит мне про это говорить. И я не говорю никогда. Я думаю.

— И думать не надо. Зачем о такой страсти думать. Ты лучше думай, как с новым отцом заживешь. Он у тебя хороший!

— Я сама знаю. — Это звучит почти надменно.

— Вот и умница! О плохом никогда думать не надо. У тебя столько хорошего будет в жизни, столько интересного, веселого!

И, чувствуя добрую искренность этих слов, девочка впервые открывается чем-то наивным, детским.

— Папа Коля сказал, что у него есть дома ворон, который умеет говорить. Он много слов знает: грач, греча, гром, гребенка. А я еще новым его научу.

— Золотце ты мое!.. — и вдруг странно замолчала черненькая, отвернувшись.

— Чего вы плачете?

— Кто плачет? Глупости какие!.. — незнакомым басом отзывается черненькая и наклоняется к печке.

Девочка смотрит на ее склоненную голову, и что-то вроде слабой улыбки появляется на ее замкнутом лице...

...Утро. Поезд стоит на разъезде. Вдоль состава бежит одноглазый парень с чайником, от которого валит пар. Подымается по ступенькам вагона, входит внутрь.

Корреспондент выкладывает на бумагу свои миноги, готовясь к завтраку.

— Это что ж за змеи такие? — удивленно говорит одноглазый.

— Миноги, — с кислым видом отвечает корреспондент. — Хотите попробовать?

— Миноги? Чудесно! Давайте их сюда! — и артистка не без изящества выкладывает миноги на лист газетной бумаги. — К столу, товарищи.

— А вы присоединяйтесь к нам, — отвечает одноглазый. — Мы тут пир сообща затеяли.

— Эй, боец! — окликает его черненькая. — Тебя за смертью посылать! Где кипяток?

— Есть кипяток, товарищ начальник! — одноглазый парень проходит к печке.

Прихватив ведро с миногами, корреспондент следует за ним. Тут же собран «стол», вокруг которого разместились все пассажиры вагона: артистка, тетя Паша, девочка одноглазого. При чем артистка продолжает выкладывать из своего баула разную снедь: банку тушенки, банку консервированной американской колбасы, сахара, какие-то липкие конфетки. Черноглазая толсто режет хлеб.

— Кому змеи? — кричит одноглазый.

— Я тоже хочу с вами, — говорит жена бригаврача, пытаюсь подняться с лавки, но черненькая начеку.

— И думать не смей! — она ласково удерживает ее за плечи.

— Врач, что сказал? И все!

Она щедро намазывает хлеб маслом, наливает в кружку молока и несет подружке.

— Ты бы раньше сама поела, Дусенька.

— Авось успею! Вон у нас стол какой! — с гордостью говорит черненькая.

Меж тем остальные начинают энергично насыщаться.

— Я бы соленького чего съела, — говорит жена бригаврача.

— А можно?

— И не сомневайся, — вмешивается тетя Паша. — Я, когда первого своего ждала, одной квашеной капустой питалась.

Черненькая тянется за каким-то мясом, но тетя Паша ее останавливает.

— Нет, солонины ей как раз не положено. А вот соленый огурчик — вреда не будет.

Черненькая не без опаски берет за хвост миногу и соленый огурец, относит подружке.

В вагон робко, неуверенно входит неопределенных лет человек с размытыми чертами лица и чаплиновскими уси-

ками, в старомодном пенсне. Садится у прохода на край скамейки.

— Товарищи, у нас новый попутчик! — объявляет артистка.

Черненькая с ее чуткой натурой немедленно отзывается на это сообщение:

— Эй, гражданин, просим к нашему шалашу!

Человек так же робко, неуверенно подходит. Смотрит на роскошную снедь, непроизвольно проглатывает слюну.

— Не могу... — тихим голосом произносит он. — Мне нечем соответствовать... Я все потерял...

— Да будет вам, садитесь! — и артистка освобождает ему место рядом с собой.

Человек неловко, застенчиво присаживается, затем, будто только сейчас вспомнив, говорит:

— Вот разве лишь... — из заднего кармана брюк достает сверток в газетной бумаге, начинает разворачивать.

Все с невольным интересом ждут, что там окажется. Даже одноглазый парень, усиленно потчевавший свою дочку, уставился на человека.

Снята одна обертка, другая, третья, четвертая, пятая и, наконец, появляется... морковь.

— Вот это да! — черненькая выхватывает у него морковь и торжественно вручает дочке одноглазого.

А человеку, который все потерял, со всех сторон подносят: артистка — бутерброд с колбасой, корреспондент — миногу, тетя Паша — соленый огурец. Он не отказывается, ибо аппетит явно не входит в число его потерь.

И тут будто шквал налетает на товарняк. Платформы с орудиями, танками, «катюшами», могучая техника, победоносно сработавшая на решающем участке второй мировой войны, мчится вдогон за отступающим противникаом.

Пассажиры дачного вагона бросаются к окнам. Восторженно, нежно, гордо и радостно провожают они взглядом громадные орудия, танки с иссеченной броней, зачехлен-

ные «катиюши». Но вот пошли вагоны с пехотой, и пассажиры машут руками, платками, шапками.

— Наши будущие победы!.. — говорит артистка, ненароком смахнув слезу.

Промчался эшелон, и пассажиры возвращаются к прерванному завтраку.

— Эх, одного не хватает, — говорит одноглазый, — етопочку за победу!

— Правда твоя, — подхватила тетя Паша, — я ее, дьявола, в рот не беру, а сейчас бы не отказалась!

— Погодите! — вдруг говорит человек с усиками. Лезет за пазуху куртки и достает сверточек, тоже обернутый в газетную бумагу.

Повторяется та же процедура: словно листья капусты отделяются обертка за оберткой под напряженно-заинтересованными взглядами пассажиров, и на свет появляется крошечная бутылочка с прозрачной жидкостью.

— Чистый, медицинский, — застенчиво объясняет человек с усиками.

— Спиритус вини! — говорит корреспондент.

— А еще говоришь, что все потерял! А ну, бабы, доставай наперстки! — смеется тетя Паша.

Спирт сливают в пустую бутылку, разбавляют водой и делят между присутствующими, мужчинам побольше, женщинам на донышке.

— За нас всех! — говорит тетя Паша.

— За победу! — провозглашает одноглазый.

— И за того, кто появится! — адресуясь к жене бригаврача, говорит корреспондент.

Все пьет.

А когда выпили, черненькая вскакивает с каким-то лихим зазывным возгласом и, залемив руки, начинает при-топтывать, напевая:

— Эх, поезу я в Ленинград-городок!..

Артистка достает аккордеон, играет налевую. Почти не сходя с места, черненькая пляшет и пляшет искусно, с задором, с огоньком, трясет по-цыгански плечами, глаза ее влажно блестят, вся она будто выпрыгнула изнутри, стала красивой.

На печально-сосредоточенном лице девочки одноглазого тоже загорается улыбка. Заметив это, одноглазый парень растроганно берет ее крошечную ручку в свою широкую ладонь. И в его взгляде, обращенном на черненькую, появляется что-то...

И снова меркнет свет от намчавшего эшелона наступающих войск...

...Возле путей сообщения бродит, собирая щепочки, девочка, поодаль возится с какой-то корягой корреспондент, с отстутствующим видом бродит человек, который все потерял. У штабеля гнилых шпал одноглазый парень разговаривает с кондукторшей. Они имеют право на эту предышкку, возле них порядочная груда щепок.

— Да я сама знаю, что в Ленинград пропуск нужен, — говорит черненькая. — Мне бы Нину Петровну до Москвы довести, а там видно будет...

— А ты давно ее знаешь?

— Не гостеприимно. Я и мужа ее знала. — Голое ее становится таинственным и значительным. — Он был на двадцать годов ее старше, весь уж белый, а любили они друг друга, как только в кино показывают!

— Я бы тоже мог так любить, — подчеркнуто говорит одноглазый, — как в кино.

— Куда тебе! Тут особое сердце нужно!

— Нешто вы знаете мое сердце? — обиделся парень.

— Ладно, не подъезжай. Видали мы таких, — ошетинилась варуг черненькая. — Местов свободных нет!

Неподалеку группа пленных немцев под охраной часового чистит снегом пищевой котел.

Дочка одноглазого потянула примерзшую к земле веточку, но ей не по силам ее отодрать. Это замечает один из пленных, пожилой, в очках с одним разбитым стеклом. Он приходит на помощь девочке.

— Куда? — кричит часовой, хватаясь за автомат.

Немец, будто не слыша окрика, отдирает веточку от земли и отдает ее девочке.

— Спасибо, — хмуро говорит девочка.

Пленный смотрит на нее и возвращается к своим товарищам.

«Фриц, а ведь тоже чувствует!» — подумал про себя часовой.

...Одноглазый с глубоким укором смотрит на черненькую.

— За что так? — говорит одноглазый.

К ним подбегает девочка с охалкой щепок. Обиженное выражение вмиг оставляет лицо одноглазого парня, он снова — весь доброта и трогательная нежность.

— Вот молодец! — говорит он. — Да этим не то что печку, цельный паровоз можно накормить!

Он подбирает с земли чурки и вместе с дочерью направляется к вагону.

— Эй, боец! — окликает его черненькая кондукторша.

Он оборачивается.

— Ты того... не сердись, — говорит она тихо, смущенно. — Есть в тебе такое сердце...

...Вагон. Парень сваливает свои чурки у печи, девочка — свои, корреспондент притаскивает огромный сук, кондукторша — несколько березовых полешков. Последним появляется человек, котрый все потерял. Он долго шарит по карманам, достает кусочек коры и аккуратно присоединяет к остальному топливу.

Слышится далекий паровозный гудок. Вагон дергается.

— Граждане! — радостно кричит кондукторша. — Даю отправление!..

Утро. Товарняк стоит на довольно крупной разбомбленной станции. За станцией — погорелье поселка. В вагоне сейчас одни женщины. Они собирают обед. По сравнению с прежним пиршеством нынешняя трапеза выглядит весьма жалко: несколько луковиц, огурцов, хлеб. Тетя Паша варит кашу.

— Маловато выходит, — говорит черненькая.

— А мы добавим. — Тетя Паша берет чайник и щедро доликает в котелок воды.

— Жидковато будет.

— Как ни крутись: или маловато, или жидковато.

— Нашиковали мы в первые дни, — замечает артистка, — а теперь зубы на полку.

— Кто же знал, что мы на каждом разъезде по полсутки стоять будем! — говорит тетя Паша.

— Можно было сообразить! — несколько раздраженно говорит артистка. — С нашим неважным грузом мы только путаемся под колесами воинских эшелонов.

— А я так считаю: хоть день, да мой! — заодно говорит черненькая. — Разве нам плохо было?

— Хороший у вас характер, Дуся, — сразу оттаяв, улыбается артистка.

В вагон входят одноглазый парень с дочерью, корреспондент и человек, который все потерял.

— Живем, граждане, — весело говорит одноглазый, — за станцией базар!

С загоревшимися глазами артистка хватается сумочку.

— Деньги там не идут, — останавливает ее корреспондент, — только натуральный обмен.

Артистка бросает сумочку, лихорадочно шарит в своем бауле, наугад выхватывает оттуда какие-то вещи и кидается к выходу.

— Дусенька, — слабым голосом просит жена бригаврача, — посмотри у меня в чемодане, может, что помемнешь...

Черненькая открывает чемодан. Там оказываются одни книги в строгих солидных переплетах.

— И, милая, книг-то сколько! — удивляется тетя Паша.

— Это книги моего мужа, — отвечает жена бригавра-
ча. — По медицине.

Дуся в тамбуре снимает кофточку и прямо на комбинацию одевает пальто.

— Папа Коля, — говорит девочка, — а бабушка Вера знает, что мы приедем?

— Конечно, знает. Я ей письмо послал.

— А какая она, бабушка?

— Старенькая, седая, а сказки рассказывает!.. — Парень крутит головою.

— Я не люблю сказки, — задумчиво говорит девочка. — В них все неправда. Так не бывает.

— Ну и что же! Зато интересно, страшно!..

— Нет, — девочка вздохнула, — в сказках совсем не страшно.

— Ну вот, — огорченно говорит одноглазый, — опять ты за свое!..

— Папа Коля, — без всякого перехода, но с интонацией говорит девочка, — а тебе нравится тетя Дуся?

Одноглазый смущен.

— Что значит нравится?.. Я с ней чисто по-товарищески общаюсь.

Девочка опять вздохнула.

— А мне она очень нравится!

Одноглазый оторопело смотрит на нее, не в силах постигнуть сложные ходы детской души. Откашливается, не зная, что сказать.

— Мы с ней всю ночь разговаривали... Она сказала, что ты хороший.

— Ну да? Так и сказала? — с чрезмерной горячностью спрашивает одноглазый.

Девочка делает предостерегающие глаза — вернулась в вагон черненькая. В руке у нее стаканчик со сметаной.

Появляется артистка, в руках у нее несколько свертков.

— Ну, и цены на этом базаре! — говорит она возмущенно. — Два яичка — шелковая кофта, луковица — чулки, мясо — гарнитур. Грабеж средь бела дня! Огурец, паршивый огурец, — она патетически потрясает в воздухе соленым огурцом, — мои любимые клипсы!..

— Я, кажется, совершил более удачную торговую операцию, — говорит корреспондент, — шесть лепешек выменял за иголку и катушку ниток.

— Я всегда была непрактичной! — тяжело вздыхает артистка.

— Им нитки да игла всего дороже, — говорит тетя Паша, — у них, поди, столько дыр и прорех — век не залатаешь!

— Базарчик такой, что плакать хочется. Еще немного, я бы даром все отдала. Только мысль о нашем голодном коллективе удержала, — говорит артистка.

Как всегда скромно и неуверенно приближается человек, который все потерял, он что-то держит за спиной.

— Разрешите мне, — обращается он к артистке, мучительно краснея, — от лица ваших почитателей вручить вам этот маленький букет первых весенних цветов.

Он вынимает из-за спины действительно очень маленькой букетик голубеньких подснежников: пять-шесть цветочков.

Кто-то насмешливо улыбается, но артистка растрогана.

— Спасибо! Это лучший букет в моей жизни. Правда, — добавляет она самокритично, — их было не так-то много...

Черненькая разглядывает принесенную снедь, что-то оставляет, что-то откладывает:

— Масло и сметана — Нине большой и Нине маленькой...

— Не надо, Дуся, — слышится голос жены бригаврача, — я буду, как все...

— Отставить разговоры! — приказывает артистка. — К столу, товарищи по несчастью!

Машина стоит под красным светофором. На перекрестке идут люди.

— Замечательные люди были ваши спутники...

— Обычные люди, каких мы постоянно видим вокруг себя.

Лена иронически улыбнулась.

— Да, это были самые обычные люди...

Машина тронулась.

Медленно проплывает военный пейзаж.

В этот момент вагон дергается.

— Неужели едем?!.. — говорит черненькая.

— Небось, на другой запасной путь перегоняют... — говорит одноглазый.

— В тупик!.. — говорит актриса.

Одноглазый парень выглядывает в окно. К вагону с двумя огромными мешками, висящими через плечо, спешит какой-то старик.

— Нет, похоже, что едем. — Говорит одноглазый.

Поезд тяжело и медленно трогается.

— Эх, поеду я в Ленинград-городок!.. — в восторге выкрикивает черненькая.

Старик бежит рядом с вагоном, мешок колотит его по крестцу.

— Нет, не успеет! — сочувственно говорит одноглазый парень.

— Кто не успеет?

— Да старик вон... — парень оглядывается на корреспондента, — пошли, может, подсобим.

Парень и корреспондент выбегают в тамбур.

— Живей, папаша! — орет одноглазый, далеко высунувшись из вагона.

Рослый, крепко сбитый старик в коротком, толстом азямчике, с седыми, в прожелть, усами и бородой клинушкой, нагоняет подножку и бежит с ней вровень, вытянув вперед правую руку, а левой поправляет сползающие с плеча мешки.

Он было ухватился за поручень, но поезд прибавил ходу, и качнувшийся вагон толкнул старика в бок, едва не сбив с ног.

— Кидай сюда мешки! — кричит одноглазый.

Старик, видимо, не слышит. Он снова молча бежит рядом с вагоном, выпучив бледно-голубые глаза. Снова пробует ухватиться за поручень и снова выпускает его.

— Кидай мешки, слышь! — надрывается одноглазый, и корреспондент присоединяет свой голос.

Но все впустую. Старик молча бежит, и задний мешок колотит его по крестцу, будто подгоняя. А затем он вдруг решается. Он подпрыгивает, правая рука его находит поручень, но тяжесть мешков перевешивает, старика заводит назад, еще миг и он свалится под колеса. Но тут одноглазый парень ловит его за ворот, корреспондент хватает за плечо и с огромным трудом им удается втолкнуть старика в тамбур.

Ни слова не говоря, старик проходит в вагон, раздвигает чьи-то вещи, прямо к печке скидывает свои мешки и, сняв матерчатый ватный картуз, утирает взопревшее лицо.

— Так и погибнуть недолго! — говорит тетя Паша, обводя всех сердитыми и добрыми глазами.

— Неосторожный вы, дедушка! — в тон ей упрекает старика черненькая.

— Вам бы скинуть мешки!.. — втолковывает старику одноглазый.

Старик не отвечает на все эти речи. Он уже отдышался и сейчас производит впечатление странного спокойствия, которое в данных обстоятельствах легко принять за обалдение. Пассажиры так к этому и относятся, они оставляют старика в покое, благо и тетя Паша подает на «стол» котелок с пшенной кашей.

Сдвинув ногой чьи-то пожитки, старик удобно располагается на своих мешках.

— Присаживайтесь, дедушка, — гостеримно говорит тетя Паша, — горяченького похлебать.

— Мы на чужое не заримся, — степенно отвечает старик.

— Да вы не стесняйтесь, что за счеты! — уговаривает его артистка. — Как говорится, «щи, но от чистого сердца».

Старик не отвечает. Он достает складной нож с фиксатором, затем извлекает из мешка шматок сала, нежного, чуть розоватого, с присыпанной солью корочкой и кусаный уломок ржаного хлеба.

— Ах, какое сало хорошее! — говорит тетя Паша, она словно хочет подсказать старику, как ему следует себя вести.

— Сало, оно сало и есть! — бормочет старик, впиваясь в розоватую мякоть беззубыми деснами.

— Всю войну такого сала не видели! — продолжает тетя Паша.

— И не увидите. — Что-то вроде далекой усмешки мелькает в бледно-голубых глазах старика.

Тетя Паша мучительно краснеет — уж не принял ли старик ее за попрошайку. Артистка ласково обнимает ее за плечи.

— Да ну его к черту!.. — довольно громко говорит артистка.

Старик, равнодушный ко всему окружающему, с тупым и жадным выражением жует сало..

...Свечерело. У окна, чуть в сторонке, стоят одноглазый парень и Дуся.

— Места у нас исключительные, — говорит одноглазый парень.

— А в шести километрах Борисоглебск, там любую профессию можно приобрести.

— А я вот люблю свою профессию! — с вызовом говорит Дуся. — Это так считают: мол, кондукторша — послед-

ний человек. Чепуха! Столько людей за день проходит... Эх, не умели мы до войны жизнь ценить. Меня пассажиры уважали, я сроду никому грубого слова не сказала.

— Конечно, — вздыхает парень, — в Борисоглебске трамвая не имеется... — и вдруг осененный внезапной идеей говорит: — Постой, у нас же автобус курсирует «Борисоглебск — совхоз 'Якорь'»!

— У автобуса звонка нет, — улыбается черненькая. Одноглазый смотрит на нее обескураженно...

...Возле печи артистка показывает человеку, который все потерял, и тете Паше свои фотографии.

— Прямо кукла!.. — восхищается тетя Паша.

— А это после окончания училища. Тут уже было ясно, что Гилельс из меня не вышел. — Рослая, красивая девушка — опять же возле рояля. — Это неинтересно, — пропускает одну карточку артистка, — тут я с бывшим мужем...

— С бывшим! — встрепенулся человек, который все потерял.

— Да, почему это вас так взволновало?

— Я ничего... простите, — смешался тот.

В это время старик, дремавший на мешках, проснулся и тут же вспомнил о жратве. На этот раз он не ограничивается сухомяткой. Он достает сковородку и, накрошив сала, начинает поджаривать его на печурке.

— А вот трудовой процесс, — говорит артистка.

— Это вы на голове стоите? — спрашивает человек, который все потерял.

— Нет, это Любка Океанос, — рассеянно отвечает артистка, ее ноздри раздуваются, ловя аппетитный запах шипящего на огне сала. — А я в глубине, с аккордеоном.

Она говорит немного нервно и забывает о фотографиях.

Старик, насадив на лучину колбасу, вращает ее над огнем. Дразнящий запах, шипение жира, вкусный чад делают мучительным пребывание здесь трех наголодавшихся людей.

— Давайте перейдем туда, — предлагает артистка, — здесь слишком душно.

Они переходят в ту часть вагона, где находятся одноглазый и Дуся.

— Да старик там все протушил, — объясняет им тетя Паша. — Будь он неладен!..

— Должна сказать прямо, — решительно заявляет артистка, — если бы мне предложили хороший бифштекс с яйцом и картошкой-пай, я бы не отказалась!

— Пирог с грибами и луком — тоже неплохо, — замечает одноглазый.

— А я бы поела картофельного супчика, — говорит черненькая.

— Неужели ds отказались бы от украинского борща с кусочками сала, колбасы, сосисок, с маленькими ватрушками! Или от солянки с осетриной, красной рыбой и каперсами, или тройной ухи!

— Конечно нет! А все ж таки картофельного супчику я бы поела.

— А вы бы что съели?

— А я бы съел шашлычок, — робко заявляет человек, который все потерял.

— Карский или натуральный? — требовательно спрашивает артистка.

— Натуральный....

— Берите карский, он сочнее!

— Надо и наших ребят покормить! — восклицает Дуся.

Она проходит к печурке. Старик уже насытился и отошел на покой. Дуся роется в кошелке, достает чекушку с молоком и белые лепешки.

— Нина большая, Нина маленькая, пора ужинать!

Девочка продолжает крепко спать, жена бригаврача подымает голову с подушки.

— А как же вы все?..

— Да мы уже нарубалась! — нарочито грубовато говорит Дуся. — Такой обед закатали, слышь, как пахнет.

...Ночь. Пассажиры спят. Старик, намотав на руку веревку, лежит. Он не спит. Бледные глаза его перебегают с одного спящего лица на другое и задерживаются на полном, с чуть приоткрытым ртом, румянном от печурки лице тети Паши. Старик кончает жевать, на четвереньках подползает к тете Паше и трясет ее за плечо.

Испуганно охнув, тетя Паша приподнимается. Зажав ей рот рукой, старик шепчет на ухо. Тетя Паша вырвалась, с возмущением глядит на него.

— Сдурел, что ли?

— Делом тебе говорю, — натужно шепчет старик.

— Постыдился бы, старый человек! Люди услышат.

— Не бойся, не такой уж старый. А люди спят.

— Эх тебя повело с сала-то!

— Слышь, иди ко мне. Все дам: и салыца, и колбаски. Я по-хорошему. Иди, сладкая!

— Знаешь, отцепись! — вдруг громко, с презрением, которое сильнее ненависти, сказала женщина. — Не то хвачу между ушей, — и она с силой отпихивает старика.

— Т-с, ты, бешеная! — хрипит он и ползет на свое место...

...Утро. Идет поезд. Хотя почти все пассажиры дачного вагончика уже проснулись, здесь царит необычайная тишина. Люди утомлены многодневным путешествием, ослаблены голодом, а кроме того, в их чистую, дружескую среду проникло инородное тело. Атмосфера словно заражена тлетворным дыханием старого мешочника.

Старик меж тем не стесняется. Он предается чревоугодию: что-то жарит, что-то варит, не переставая при этом жевать сало, которое ловко отрезает от шматка большим острым ножом с фиксатором.

Особенно тяжело это действует на артистку. Она то закидывает голову, то отворачивается к окну, чтобы не слышать манящих запахов, то мечет на старика возмущенные взгляды, то вздыхает.

Понурилась и тетя Паша, видимо, ночное происшествие оставило в ней тяжелый осадок.

Хмурится одноглазый парень, его тревожит затянувшееся путешествие: как он прокормит приемную дочку?..

Поезд замедляет ход и останавливается на очередной разбомбленной станции.

— Схожу на разведку, — ни к кому не обращаясь, говорит одноглазый. — Может, есть базарчик.

Вслед за ним молча выходит человек, который все потерял.

Тетя Паша и артистка тоже смотрят в окно. От питательного пункта несколько пленных в сопровождении конвойного тащат огромный котел, над которым шапкой стоит пар.

— Отличная вещь — солдатский борщ! — замечает артистка.

— Какой там борщ, так, баланда! — отвечает тетя Паша.

— Зато горячая! — мечтательно говорит артистка. — С черным хлебом!..

— Я лучше умру от голода, чем буду есть из одного котла с ними.

Артистка раскрывает свой баул и дольше обычного роется в тряпках.

Возвращается человек, который все потерял.

Тетя Паша пристально смотрит на него: на верхней губе у того отчетливо отпечатались молочные усы.

— Утрись! — говорит она тихо и безглаголиво. — Вот теперь ты и впрямь все потерял, даже самого себя.

Человек в жалкой растерянности закрывает рот рукавом.

Артистка ищет в своем бауле, под руку ей попадают распознанные шелковые чулки, рваная косынка, еще какие-то тряпки, не имеющие меновой ценности. Затем она достает нарядное эстрадное платье, длинное, шуршащее, в блестках, и тут же прячет его назад.

Взгляд ее падает на аккордеон. Она нерешительно подвигает его к себе. На черном коленкоре, которым склеен футляр, нацарапаны надписи: «Западный фронт, июль-август 1942», «Ленинград, январь 1942 г., август 1942 г.», «Сталинград»... Ее руки ласково трогают жесткое, пострадавшее от времени и передрыг тело старого друга. Вынимает аккордеон. Он жалобно пискнул. Актриса кладет аккордеон на место. Она решительно хватается за платок с блестками и спешит на базар.

От звуков аккордеона проснулась жена бригаврача. Она садится на лавке, приводит в порядок одежду, снимает с гвоздя полушубок и накидывает на плечи.

— Куда ты? — испуганно спрашивает черненькая.

— Здесь душно...

— Я с тобой!

— Нет! — властно и твердо говорит жена бригаврача. — Я хочу одна. — И ее нежное, таящее лицо становится на миг таким решительным, сильным, что совсем легко представить, какой она была, когда, обезоружив гитлеровцев, отомстила за смерть мужа. И черненькая, не понимая, чем вызван поступок подружки, невольно склоняется перед силой ее решимости.

Жена бригаврача пробирается по вагону, придерживаясь за лавки, стены. С трудом спускается по ступенькам вагона и бредет в сторону базара.

Ее шатает, словно травинку под ветром, но с тем же решительным, бледным лицом маленькая женщина продолжает свой путь.

Базарчик на задах водокачки, жалкое торжище времен войны, где человеческая нужда справляет свой печальный праздник.

Жена бригаврача оглядывается и медленно подходит к лотку, на котором лежит довольно крупный кусок темно-красного мяса.

— Это солонина?

— Она самая! — отвечает продавщица, рослая, обхудавшая, но широкая в кости женщина.

Жена бригаврача вытаскивает из кармана шелковое дамское трико с кружавчиками и протягивает продавщице.

Та со смехом берет трусики, кажушиеся кукольными в ее больших руках, распяливает их и показывает соседкам. Она задирает подол и прикладывает трусишки к своим штанам из чертовой кожи, похожим на рыцарские латы. Смех становится общим.

Прозрачно-восковое лицо жены бригаврача страдальчески кривится. Чуть откинув назад верхнюю часть туловища, она сводит лопатки и левой рукой что-то нашаривает за спиной. Вынув из-за спины руку, она погружает ее за пазуху, резкий рывок — и она протягивает продавщице шелковый лифчик.

Та машинально берет, и смех замолкает на ее губах. Только сейчас заметила она, что молодая женщина перед ней готовится стать матерью.

Она быстро заворачивает солонину в бумагу и сует жене бригаврача, а сверху кладет ее вещички.

— Я не могу так... — шепчет жена бригаврача. — Возьмите... — она пытается отдать трусики и лифчик продавщице.

— Да мы что — ироды, что ль, какие?! — гремит та. — Что у нас вовсе совести нет?! И думать на смей!..

— Спасибо... — тихо говорит жена бригаврача.

Совсем без сил тащится она назад к вагону...

...В вагон только что вернулись одноглазый и артистка. Одноглазый со злобой швыряет свою рубашку на лавку.

— Не берут!..

Артистка же принесла несколько сверточков, не бог весть что: буханка хлеба, огурцы, кулечек с крупой, брусок масла. Но, конечно, все рады и этой незатейливой снеди. Разбирая по обыкновению продукты, черненькая откладывает масло, бормоча:

— Это Нине большой и Нине маленькой.

— Простите! — вдруг громким незнакомым голосом говорит артистка. — У нас еще не коммунизм. Я тоже люблю масло!

— Да разве я для себя... — растерянно лепечет черненькая.

Эта выходка так не соответствует широкой, щедрой натуре артистки, что всем становится не по себе. Наступает неловкое молчание.

И тут появляется жена бригаврача. С нежным торжеством, белая от непомерного усилия, она протягивает спутникам кусок солонины.

— Дусенька, — говорит она, — не ты одна хитрая... Правда, тетя Паша, мне этого нельзя?..

Артистка вдруг раздражается бурным плачем. Тетя Паша ласково обнимает ее за плечи, прижимает к себе.

— Ну ладно, ладно, успокойся!

— Я никогда не была матерью, — сквозь слезы говорит артистка, — мне вдруг так обидно стало, — все ей да ей... Я сволочь, тетя Паша!..

— Ты хорошая... Во всем этот дьявол сивый виноват... Знаешь, дедушка, — обращается она к старику, — не мутил бы народ, лучше бы сошел себе потихоньку. А то и до греха недалеко.

— Не пугай, — нагло говорит старик, — не таких видели.

— Вас серьезно просят, — подняла заплаканное лицо артистка.

Старик медленно оглядывает ее снизу вверх и задерживается взглядом на Красной звездочке.

— Не трет сосок-то?

К нему кидается человек, который все потерял.

— Не смейте оскорблять!.. — воскликнул человек, который все потерял.

Старик иронически посмотрел на него.

— Полицай! — с ненавистью говорит черненькая.

Старик буровит ее глазами.

— Нет, милая, у нас документ в порядке. На Тоболе немца не было.

— Ишь, черт лысый, с самого Тобола притащился народа грабить!

— Тебя-то, миленькая, не ограбишь, пооди, а штанишек проелась.

Входит одноглазый, бросает гимнастерку:

— Не берут!

...Ночь. Трясется вагон. Поезд идет очень тихо, едущая подьем. На своем месте зашевелилась, приподнявшись, девочка одноглазого, видимо, яркий лунный свет, льющийся в окно, со сна с нее сон. Девочка заглядывается на что-то, и глаза ее расширяются ужасом.

У печки, на мешке, сидит, раскорячившись, старик, в руке у него посверкивает нож, лунные блики скользят по лицу, по голому черепу, а челюсти равномерно чавкают, уничтожая сало. И этот залитый луной жуящий призрак, видно, пробудил в девочке какие-то страшные воспоминания. Она закусывает пальцы, чтобы не закричать, и все дальше, дальше забивается в угол, ее маленькое тело трясется от страха и сдерживаемых слез. Она невольно толкает одноглазого, тот мгновенно вскакивает и видит ее искаженное ужасом лицо.

— Что с тобой?..

— Мне страшно, страшно!.. — девочка показывает пальцем на старика. — Вурдалак!..

Одноглазый успокаивает ее, гладит по голове, укладывает и закутывает одеялом.

— Никого нет, — шепчет он, — это тебе приснилось.

Девочка затихает.

Одноглазый проходит к лавке, на которой спит корреспондент, трогает его за плечо. Тот подымается.

— Надо со стариком кончать, — тихо говорит одноглазый.

— Кончать?

— Ну да! Ссадить его втихую, пока люди спят.

— Лучше бы на станции...

— Не по-фронтовому это! — зло говорит парень. — Когда еще будет станция? Не хотите, управлюсь сам. Смута от него, грязь...

Парень проходит к печке, корреспондент чуть замешкался, натягивая сапоги.

— Слушай, дед, — говорит парень старику, — ты сам сойдешь или тебе помочь?

Старик мгновенно, с легкостью, неожиданной в его крупном, старом теле, вскакивает: месяц играет на лезвии ножа в низко опущенной руке.

— Я старичок острый, — говорит он холодно, — смотри, не порежься!

— Вот что, — задумчиво говорит одноглазый, — я думал, ты просто мешочник, а ты, видать, зверь покрупнее.

— Какой есть...

И тут парень делает внезапный выпад, он бьет старика в подбородок, а когда тот невольно вскидывает руки, другим ударом вышибает у него нож.

Обхватив старика поперек тела, парень тащит его в тамбур. Старик тщетно цепляется за лавки. Парень выволакивает его на площадку, но старик вцепляется в поручни и столкнуть его нет никакой возможности.

Забрав туго набитый мешок старика, корреспондент тоже выходит в тамбур и спокойно говорит парню:

— Отпусти его...

Через голову старика он выбрасывает мешок.

Расчет верен: увидев свой мешок на земле, старик тут же бросает поручни и прыгает вниз. Он пробегает по инерции несколько шагов и брюхом падает на свое нечистое добро, словно защищая его от всего света.

Корреспондент и парень возвращаются в вагон.

— Вот и умники! — слышится голос тети Паши. — Худая трава с поля вон!

И тут они обнаруживают, что никто в вагоне не спит.

— Товарищи! — взволнованно объявляет человек, который все потерял. — Нам достались боевые трофеи! — И он подымает с пола второй, порядком опустошенный мешок старика. — Сало, колбаса, хлеб!..

Одноглазый смотрит на свою дочь, лицо его выражает душевное борение. Затем он переводит взгляд на черненькую, та сухо поджала губы, на артистку — она отвернулась. На беременную женщину — та отрицательно кивает головой. Решительным движением забирает он мешок, распахивает окно и вышвыривает мешок прочь.

— Папа Коля, — говорит девочка, — ты его прогнал?

— Да маленькая, я слово такое знаю, — улыбается одноглазый.

И впрямь, словно кончилось наваждение. Все разом заговорили, а черненькая, лихо взвизгнув, завела во весь голос свой любимый «Ленинград-городок»...

И вдруг раздается страшный, долгий, внезапно оборвавшийся крик. Все замерли. И уже не крик, а стон, томительный, полный муки, донесся с лавки, где лежит жена бригаврача.

— Мужчины, марш отсюда! — командует тетя Паша.

— Иди, иди, Ниночка.

Спотыкаясь о корзинки, мужчины перебираются в другой конец вагона. Вмиг откуда-то появляется простыня и скрывает роженицу. Затаив дыхание, люди прислушиваются к тому, что происходит за простыней. Но оттуда слышны лишь стоны, тяжелое хриплое дыхание и успокаивающий голос тети Паши.

— Папа Коль, а почему ей так плохо? — спрашивает девочка.

— Так ведь человек на свет производится, не кочан капусты, — серьезно говорит одноглазый. — Надо, чтобы все в аккурате было, ножки там, ручки, глазки, целая, брат, механика!

— А женщинам всегда так больно? — задумчиво спрашивает девочка.

Поразмыслив, одноглазый говорит:

— Это боль счастливая, женщины ее на боятся.

...За простыней тетя Паша и Дуся пытаются облегчить страдания жены бригаврача.

— Если я ребенка его не сохраню, жить не буду... — спотыкающимся голосом произносит роженица.

— Ученый человек, а чего городишь! — сердито говорит тетя Паша. — Ты и думать об этом не смей! Которые в дороге рождаются — самые счастливые люди выходят. Меня мамка в телеге родила. А нешто я несчастливая?

— Вы добрая.

— Вот я и говорю. Коль добрая, значит, счастливая.

— Кричи, кричи, громче кричи!.. — уговаривает тетя Паша.

— Не стану!..

Не выдержав, черненькая выскакивает из-за постыни и, ткнувшись головой в угол, плачет. Возле нее тут же оказывается одноглазый.

— Ну что?

Черненькая беззвучно плачет.

Выходит тетя Паша, губы сурово поджаты. Ее окружают пассажиры.

— Плохо дело, — говорит артистка, — врач нужен.

Беззвучные рыдания черненькой усиливаются.

— Где же его взять?.. — произносит кто-то растерянно. Одноглазый поднял голову.

— Будет врач!

Черненькая смотрит на него с замирающей надеждой.

— Пошли! — говорит одноглазый парень корреспонденту и человеку, который все потерял.

Те, поняв его намерения, молча направляются к тамбуру. Парень оглядывается.

— Евдокия Петровна, — обращается он к черненькой, — в случае ...если что... — взгляд его обращен к приемной дочери.

Парень устремляется к тамбуру.

— Папа Коля! — девочка кидается следом за ним.

Дуся перехватывает ее, прижимает к себе.

— Папа Коля придет... придет... слышишь, придет!.. Ты мне веришь?

— Тебе? — девочка глядит на нее глубоким, странным взглядом. — Верю.

И затихает.

В тамбуре корреспондент и человек, который все потерял, помогают одноглазому вскарабкаться на крышу. При этом от усердия человек, который все потерял, едва не попадает под колеса, но корреспондент успевает его подхватить.

Парень поднялся на крышу.

— Ждите! — кричит он товарищам и бежит по крыше в сторону далекого паровоза.

Парень бежит по крыше, добегают до конца и, чуть помедлив, перескакивает на крышу другого вагона. Бежит дальше.

На площадке одного из вагонов расхаживает знакомый нам по началу картины часовой-казак. Внезапно взгляд его узких глаз становится напряженным, как у охотника. Он видит тень поезда, ползущую по бледному, освещенному луной песчаному откосу, и странную фигуру, то бегущую, то прыгающую через пустоту.

— Стой! — орет казах. — Стрелять буду!

Голос его не слышен за шумом поезда, бегущая фигура приближается.

— Стой! — орет казах и стреляет вверх.

Тень пролетает через рщелину между вагонами, исчезает, словно человек упал, но через миг возникает снова и продолжает свой путь.

Казах лезет на крышу. Выстрел привлек внимание других часовых, и когда парень совершает очередной прыжок, мимо него проносятся пули.

Парень бежит дальше. Но сзади его уже нагоняет казах, а когда парень добегает до последнего вагона, то здесь его подстерегает направленный прямо на него ствол автомата другого часового.

— Руки вверх! — кричит казах.

— А пошел ты!.. Там женщина умирает, слышишь? Врача нужно!..

На площадке служебного вагона появляется начальник эшелона.

— Товарищ майор! — кричит одноглазый. — Я с последнего вагона. Там женщина разродиться не может!..

Парень садится на край крыши.

— Дурной голова, — ласково говорит казах, — застрелить могли!

— А что делать? — ворчит одноглазый. — Поезд ведь не остановишь!..

Резко тормозит поезд.

...В вагоне застыли люди в мучительном ожидании. И вдруг в какой-то неправдоподобной ясности из тамбура появляется небольшая, худощавая фигура молодой женщины в военной форме, с медицинской сумкой на боку.

Женщина проходит вперед, отрывисто бросает:

— Воду!.. Полотенце!.. — и скрывается за простыней.

В вагон входят одноглазый, корреспондент и человек, который все потерял. Вырвавшись от черненькой, девочка бросается к папе Коле.

— А я вовсе не боялась, — с детской хрипотцой говорит девочка. — Мне тетя Дуся сказала, что ты придешь!..

Стучат колеса. Трясется вагон. Просыпая то вздувается парусом, то бессильно опадает. И внезапно раздается

новый, не слышанный пассажирами крик, странный, словно по ту сторону, крик новорожденного.

Простыня отдернулась, и пассажиры видят тетю Пашу, держащую на руках ребенка...

— Девочка! — будто о каком-то чуде, говорит артистка.

...Утро. Вагон отмечен особой чистотой и прибранностью, вызванными, с одной стороны, появлением в нем новой гражданки, с другой — скорым окончанием путешествия.

У окна стоят черненькая и одноглазый парень.

— Не могу я, Николай Петрович, — с болью говорит черненькая. — Привязалась я к вам, это верно, а без Ниночки уж и не знаю, как теперь буду... Да не так мне все ожидалось... Думаю, придет оно, и прямо в грудь мне ударит, чтоб ни раздумья, ни выбора, как в воду с берега!

Парень понурил голову. Незаметно подходит девочка и внимательно слушает.

— А как же мы-то без вас?

— А вы себе другую девушку найдете, красивше и лучше меня... Ну, Ниночка — маленькая, привыкнет, что я ей?..

— Борисоглебск!.. — слышится чей-то голос...

...Поезд причалил к платформе. Выходят пассажиры. Первой, гордо держа пакет с младенцем, появляется черненькая, за ней, поддерживаемая тетей Пашей, осторожно спускается молодая мать; человек, который, кажется, уже не все потерял, тащит аккордеон артистки, замыкают шествие одноглазый с дочерью и корреспондент.

Усадив свою подругу на скамейку и передав ребенка тете Паше, черненькая бежит в билетную кассу. Одноглазый парень быстро говорит дочери:

— Обожди меня тут! — и тоже устремляется в здание вокзала.

— «Пирог с хлебом», — читает девочка объявление, вывешенное над ларьком. — Дядя Сережа, чего это?

— Не знаю, — говорит корреспондент, — какое-то новое, удивительное изобретение войны. Попробуем?

Он покупает два куска «пирога с хлебом».

— А вкусно! — замечает корреспондент.

Девочка кивает, уплетая пирог.

Одноглазый и черненькая приближаются к выходным дверям вокзала.

— Может, напишете, Евдокия Петровна? — спрашивает одноглазый.

— Да, да... — кивает черненькая, отводя глаза. Видимо, ей тоже тяжела эта, ею же решенная, разлука.

— Не поминайте лихом, Николай Петрович!.. — И будто боясь, что она не выдержит, черненькая почти бегом устремляется прочь от парня.

— Мама! Куда ты? — настигает ее отчаянный крик.

Черненькая замерла на всем бегу и шатнулась, как будто от удара в грудь. Она даже невольно поднесла руку к сердцу, куда сладкой болью проникли эти слова.

А девочка подбежала к ней, схватила за платье своими маленькими руками.

— Ты нас бросаешь, мама? — с прежней, недетской интонацией говорит она.

У черненькой хлынули слезы.

— Разве мамы бросают своих дочек? — говорит она. — Я вернусь, очень скоро вернусь!..

— Это правда? — тихо спрашивает, подходя, одноглазый.

— Детей нельзя обманывать, Николай Петрович! — сквозь слезы улыбается черненькая.

Они прощаются, и парень уходит об руку с приемной дочерью через рельсы к темным липам, высаженным по краю дороги, убегающей вдаль.

Черненькая подходит к жене бригаврача.

— Ты плачешь, Дусенька?

— Как же не плакать? — знакомым баском отвечает черненькая. — Сроду с парнем не поцеловалась, и пожалуиста — уже жена и мать!..

— Поезд на Москву отходит с третьей платформы! — звучит голос вокзального диктора.

Пассажиры спешат на посадку.

И снова почетный эскорт сопровождает молодую мать. Впереди — черненькая с младенцем, затем тетя Паша с вещами, корреспондент бережно, под руку, ведет Нину Ивановну.

И люди, спешившие на посадку, почтительно расступаются перед Матерью...

...Корреспондент и Лена сидят на скамейке близ станции Бекетовка.

— Замечательные люди — ваши спутники! — от души говорит Лена.

— Обычные люди, — пожимает плечами Сергеев, — каких мы постоянно видим вокруг себя.

Лена делает чуть заметную гримасу, выражающую сомнения в последних словах Сергеева.

— Ну а что с ними случилось?

— Каждый ушел в свою даль, в свою жизнь... Впрочем, я кое-что знаю о судьбе женщины, которую называли Ниной Ивановной. Она работала в госпитале и училась, кончила медицинский институт, воспитала дочь. Пережив сама так много страшного и горестного, она охраняла дочь от всего трудного, больного, печального, даже от воспоминаний о войне. Девочка выросла, полная доброго порыва, но слабодушная, избалованная опекой. И в первом же малом жизненном испытании она погнулась...

По мере того как он говорит, лицо Лены разительно меняется, наконец-то понимает она, о ком рассказывал корреспондент.

— И вы решили ее выпрямить? — с дрожащими от боли и гнева губами перебивает Лена. — Но кто дал вам

право рассказывать мне все это, вмешиваться в мою жизнь?!

— Ваша мать, — просто отвечает корреспондент. — Она узнала, что я здесь, и прислала мне письмо. Только не поздно ли? Ведь вы уже в пути... — Он встает со скамейки.

И тут Лена с неясной и странной улыбкой сквозь слезы протягивает руку и заставляет Сергеева снова сесть.

Они смотрят друг на друга, тем и должен кончиться фильм: двумя прекрасными человеческими лицами. Одно — юное, другое — тронутое годами; одно — прозревшее в печали и радости, другое — в добром понимании, что просьба далекого друга все-таки не опоздала.

Стюаресса

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ (2-й вариант)

Через летное поле на посадку движется малая толпа пассажиров. Отставая от них, неторопливо шагает средних лет, седоватый человек в одежде охотника: водонепроницаемый комбинезон поверх ватного костюма, стянутый широким ремнем по талии, подвернутые ниже колен высокие резиновые сапоги; за спиной туго набитый рюкзак, за плечом — ружье в толстом кожаном чехле. Посадка происходит как бы на задворках большого аэродрома. Вдалеке виднеются мощные реактивные и турбовинтовые самолеты, сотрясающие воздух гулом своих могучих моторов, но этот рейс явно непарадный...

Мы слышим голос охотника, от лица которого ведется повествование:

— Меня все друзья уговаривали: брось ты Подмоскovie, тут на каждую утку по десять стволов. Поезжай на Север, вот где охота! Наконец-то я собрался. Место мне подсказали дальше, глухое, но удобное — самолетом чуть не до самого шалаша...

Охотник приближается к самолету. Здесь уже идет посадка. Охотник (рассуждает про себя):

— Неужели это ИЛ-14? Такой маленький, игрушечный!.. А давно ли я летал на нем и в Среднюю Азию, и на Урал, и в Прибалтику, и на Кавказ? Все-таки давно, лет десять назад, если не больше. А народу — будь здоров! Я-то думал, что окажусь единственным пассажиром. Вот тебе и глухомань!

Один за другим пассажиры поднимаются по трапу на борт: худенькая беременная женщина и другая женщина с двумя детьми, дородный, холеный, сановного вида человек с роскошным портфелем, юноша-ненец с плоским, широконосым, любознательным лицом и черными, как вакса, прямыми волосами, старый ненец в меховой ушастой шапке, молодые русские парни рабочего вида, старик с бородкой, похожий на врача.

Восточный человек, уже начавший взбираться по трапу, вдруг заметил, что к самолету подвезли багаж. Он сразу спрыгнул вниз, подбежал к автокару, нашел свои вместительные чемоданы и ласково погладил их по дерматиновым бокам, словно призывая к терпению и доброте.

— Чего, папаша, беспокоитесь? — задрал его молодой автокарщик. — Нешто стекло везете или хрусталь?

— Цветы... хризантемы... — нежно ответил восточный человек.

— «Отцвели уж давно хризантемы»!.. — запел автокарщик.

— У кого отцвели, у кого зацвели. На Севере хризантемы не цветут.

— Понятно, папаша. Там зато цветут рыночные цены на цветы.

— При чем тут цены? — слегка обиделся восточный человек. — Не хочешь — не покупай, никто не заставляет.

— Нехорошо, папаша, использовать временные затруднения на цветочном фронте! — издевается автокарщик.

Восточный человек пренебрежительно фыркнул и поднялся по трапу. Охотник, наблюдавший его перепалку с автокарщиком, поднялся за ним следом. Пассажиры уstraиваются на долгий путь: закидывают пальто и ручную кладь в сетку, усаживаются поудобнее, регулируя наклон кресел, о чем-то спрашивают друг друга, но не слышат ни словечка, поскольку сейчас идет опробование моторов, и все звуки тонут в надсадном гуле.

Охотник освободился от рюкзака и ружья и занял место в хвосте самолета.

Моторы стихли. Из рубки появилась высокая девушка в светлом пыльнике и синей пилотке, косовато сидевшей на желтых волосах.

— Давайте знакомиться, я ваша бортпроводница. Зовут меня Ольга Ивановна. На борту самолета имеется библиотека и свежие номера журналов. В буфете минеральные, фруктовые воды, печенье, конфеты. Этот прибор — она кивнула на щиток, вделанный в стенку кабины, — показывает высоту полета, этот — температуру воздуха в самолете; часы не ходят. Продолжительность рейса пять часов ровно. Стоянка в Новьянске тридцать минут. На стоянке, при взлете и посадке курить запрещается. Прошу пассажиров освободить хвост.

Бортпроводница тряхнула головой, откинув упавшую на глаза прядку песочно-желтых волос. Она стояла, прислонясь к дверце кабины, руки в карманах плаща, сумка через плечо. У нее были длинные, стройные ноги, плоская грудь, худые плечи. Желтые выющиеся волосы обрамляли широкое, несколько бледное лицо со светлыми глазами и большим, прекрасным, чуть подкрашенным ртом.

Самолет двинулся к взлетной дорожке, стюардесса скрылась в кабине.

Прильнув к иллюминаторам, пассажиры смотрели, как убегает назад земля в стелющейся против движения самолета низенькой траве, отваливаются куда-то вбок большие самолеты и здание аэровокзала. Самолет вышел к стартовой черте и стал, глухо ворча моторами.

Бортпроводница вернулась с подносиком, на котором горкой навалены были прозрачные «театральные» конфеты, и стала обходить пассажиров. Большинство молча брали по одной конфете и с озабоченным видом отправляли в рот. Сановный пассажир уверенной рукой захватил целую горсть леденцов.

— Товарищу бортпроводница, скажи пожалуйста, для чего конфеты раздаешь? — заинтересованно спросил юноша-ненец.

— А вы разве не знаете? — она подозрительно поглядела на него.

— Прости пожалуйста, не знаю. Я много летал. На Таймыр летал, в Нарьян-Мар летал. Хорошим самолетом летал, вдвоем с летчиком. Только он меня конфетами не кормил.

— Вы на почтовиках летали, у них низкий потолок. А мы пойдем на большой высоте. Ну, и эти конфеты помогают при перемене давления.

— Медицина, значит?.. А почему ты сама их не ешь?

— Мне почему-то не помогает, — со странной интонацией произнесла бортпроводница.

Бешено взревели, словно пытаясь уничтожиться в собственном реве, моторы, самолет побежал по взлетной дорожке, неощутимо отделился от земли, чуть просел, будто опробовал воздушную подушку, и стал круто набирать высоту. Пассажиры дружно при偎или к окнам.

Все дальше и дальше уходила земля со своими домиками, деревьями, дорогами, но и все шире, величественней распаивалась под самолетом. Вскоре все на земле упростилось до примитивных геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, затем под брюхом самолета повисли какие-то ненастоящие, будто из картона, облака.

Стюардесса обносила пассажиров книгами, журналами, газетами.

— Возьмите Сарояна, — убеждала она сановного человека. — «Весли Джексон» лучшая его книга.

Пассажир насупил густые черные брови, отчего они слились в сплошную черту, как у Агасфера.

— Это смешно?

— И смешно, и грустно, как в жизни.

— Я не любитель смешного чтения, дайте мне «Крокодил».

У стюардессы стало огорченное лицо. Она протянула пассажиру журнал и двинулась дальше. Пассажиры рассеянно брали «Смену», «Работницу», «Огонек», газеты, на робкое предложение взять «Весли Джексона» никто не откликался.

— Мне бы что-нибудь для ума, — попросил юноша-ненец, когда стюардесса поравнялась с ним.

— Хотите Сарояна?

— А «Щит и меч» у вас есть?

— Нет, мы не можем летать с перегрузкой.

— Бо-о-льшая книга! — с удовольствием произнес юноша-ненец. — А я ее за одну ночь одолел! — добавил он с гордостью.

— Быть не может!..

— За одну полярную ночь! — засмеялся юноша-ненец и взял «Сельскую молодежь».

— Странно, — обратилась стюардесса к охотнику, — люди как будто боятся, что им подsunут испорченный товар. Вы, конечно, тоже не хотите Сарояна?

— Я читал этот роман.

— Девушка, девушка! — окликает стюардессу старый ненец, — дай книгу, дай сюда книгу!..

Вспыхнув от радости, стюардесса протянула ему Сарояна. Старик важно раскрыл книгу и стал «читать» ее вверх ногами.

Охотник засмеялся.

— Не огорчайтесь, это, правда, хорошая книга.

— Вам понравилась?

— Да, а некоторые главы очень.

— Какие? — Проводница оживилась, бледные щеки ее порозовели.

— Хотя бы та, где Весли Джексон плачет, обнаружив в себе писателя. Плачет над собой и над всем окружающим, плачет над прошлым и настоящим, плачет даже над Вудро Вильсоном, которому Клемансо плюнул в глаза, плачет над собаками и президентом Кулиджем...

— ...над атомами и звездами, — подхватила бортпроводница, — над Эдгаром По, потому что тот прожил такую печальную жизнь...

— По-моему, это необыкновенно хорошо: нельзя быть писателем, если не соучаствуешь во всем сущем.

— Почему только писателем? — произнесла задумчиво бортпроводница. — Нельзя быть человеком... — и она спросила застенчиво и заинтересованно. — А вы имеете какое-нибудь отношение к литературе.

— Никакого. Я сценарист.

— Вы пишете для кино?

— Записываю...

— Что это значит?

— Профессиональный язык. Писатели пишут, а сценаристы «записывают». Почему так считается, ей-богу, не знаю.

— А хорошо быть сценаристом?

— Очень! Если картина плохая, все валят на сценарий, если хорошая, то говорят, что режиссеру удалось преодолеть недостатки сценария.

— Выходит, вы не очень довольны своей профессией... А на Север — зачем?

— Хотим сделать фильм об охотниках-промысловиках.

— И вы едете собирать материал?

— Ужасные слова «собирать материал!» Будто о клюкве или бруснике. Я еду жить там, бродить, охотиться, с кем-то дружить, с кем-то ссориться.

Стюардесса засмеялась, но вдруг вздрогнула, побледнела и прижала руку к сердцу.

— Что с вами?

— Вы разве не заметили, мы еще подняли потолок.

— Ну и что же?

— Я плохо переношу высоту.

— Выходит, не я один в обиде на свою профессию?

— Я стюардесса поневоле. До этого работала в книгохранилище.

— Библиотекарем?

— Не совсем. Младшим научным сотрудником. Я окончила библиотечный институт.

— А я-то думал, что библиотечные работники по самой своей природе любят оседлость.

— Я тоже так думала...

Разговаривая, стюардесса присела на ручку кресла. «Агасфер» выразительно поглядывал на ее стройную ногу, ловя обрывки разговора.

— Ольга Иванна! — позвал он.

Стюардесса подошла.

— Я все пытаюсь вспомнить, где я вас видел. Вы отдыхали в прошлом году в Гагре?

— Нет, я там никогда не была.

— Странно... Хотите работать на реактивных или турбовинтовых?

Стюардесса пожала худыми плечами.

— Я серьезно спрашиваю.

— А вам это зачем?

— Просто я добрый человек. Точнее: добрый человек со связями.

— Не хочу.

— Почему?

— Мне нравится эта трасса.

— Захудалая, как минувший век! Странное пристрастие.

— Не такое уж странное... — тряхнула головой стюардесса.

— Ей-богу, я вас где-то видел! Мне знакомо это изящное движение, каким вы откидываете со лба волосы.

— Знаете что, — решительно сказала стюардесса, — не тратьте даром силы.

— Я это от многих слышал... поначалу, — томно сказал Агасфер. — Запишите мой телефон.

— Хотите холодного боржома?

— Ольга Ивановна! — позвал стюардессу охотник.

Стюардесса сразу отошла от назойливого пассажира.

— Мне ничего не нужно. Я думал, что вы хотите избавиться от этого... Агасфера.

Она улыбнулась своей долгой улыбкой.

— Я его тоже так про себя назвала. Удивительные брови, словно козырек над глазами... А в остальном — ничего оригинального, — она вздохнула, — непременный персонаж каждого рейса.

— Ольга Ивановна, почему вы переменили профессию?

— Спросите о чем-нибудь полегче.

— Зарботок?

— Да, — ответила она почти надменно. — Я получаю здесь на двадцать рублей больше.

— Простите... — смущенно пробормотал охотник, ему показалось, что он обидел девушку.

Снова самолет, вздрогнув, полез вверх, и снова стюардесса болезненно отозвалась на изменение высоты. Охотник глянул в окошко. Там была ясная, холодная пустота, а внизу, под самолетом, будто застывшая лава, изборозженная суровыми морщинами. Даже не верилось, что это облака.

— Высоко же мы забрались, — заметил охотник.

Стюардесса кивнула, ее бледное лицо пошло в проголубь.

— Ольга Иванна!.. Товарищ стюардесса!.. — зовут ее. — Почему до сих пор нет посадки?

Стюардесса кинула взгляд на ручные часы, поднесла их к уху, затем с беспокойством спросила охотника:

— Сколько на ваших?

— Четверть второго.

— Мы опаздываем!.. — и стюардесса бросилась в рубку.

Вернулась она огорченная.

— Товарищи пассажиры, — потухшим голосом начала стюардесса, — из-за сильного встречного ветра самолет опаздывает...

— Где начинается авиация, кончается порядок! — крикнул восточный человек.

— Минутку внимания! Мы нагоним за счет сокращения стоянки.

И враз забурили малые страсти, как будто пассажиры только и ждали какой-то несладницы, чтобы раскрепостить худшее в себе.

— Товарищ бортпроводница, дайте мне воды!.. Почему вы не даете мне воды? — раздраженно кричала беременная женщина.

Стюардесса принесла ей воду.

— Боржом?.. Нет, я хочу фруктовую.. Пойдите, куда вы? Ладно, давайте боржом.

— Откройте вентилятор: дышать нечем! — потребовал старичок, похожий на врача.

— Закройте вентилятор: собачий холод! — тут же закричал его сосед, восточный человек.

Стюардесса поворачивает трубку вентилятора так, чтобы свежая струя воздуха шла в лицо одному, не затрагивая другого.

— Боржому!..

— Вам открыть?

— Почему такой холодный?..

— Боржому!..

— Вам открыть?..

— Почему такой теплый?..

— Дайте лимон... Скорее!..

— Нарезать?..

— Пудру!..

— К сожалению, сахарной пудры у нас нет... Кисленький лучше помогает.

— Не учите...

— Я не учу, просто советую... Ах, вам под коньяк, простите...

— Ольга Иванна! — это крикнул Агасфер.

— Иду!.. Что желаете?

— Немного вашего тепла, — на фоне общего распада Агасфер решил возобновить свои притязания.

— Вам холодно? Я закрою вентилятор.

— Не надо. Мне просто грустно.

— Могу предложить вам «Крокодил», «Перец», «Вожик». Агасфер безнадежно махнул рукой.

— Ольга Иванна, вас не дозовешься!..

— Иду!.. Иду!..

Но вот пассажиры чуть утихли, и Ольга Ивановна вернулась на свое старое место, возле охотника.

— По-моему, самое трудное в вашем деле — не утратить веру в человечество, — заметил охотник.

Она слабо усмехнулась.

— Обычная история. Это опоздание виновато. Люди как-то рассчитывают свои силы, а потом пугаются, что их не хватит...

Она достала толстую книгу и погрузилась в чтение.

— Ольга Ивановна, зачем все-таки вы стали бортпроводницей?

— Я почему-то была уверена, что вы снова спросите...

— Так зачем же все-таки?..

— Отвечать обязательно?

Охотник пожал плечами.

— Тут нет ничего такого...

Из рубки появился второй пилот в накинутой на плечи щеголеватой кожаной курточке со множеством блестящих молний.

— Олюшка, Володя уже отбил десять минут!..

Она сжала худые пальцы.

— Ох, мальчики, постарайтесь!..

— Ты же знаешь Володю!.. Да ведь много не выжмешь!.. это не ИЛ-18!

У штурвала — командир воздушного корабля Володя, его молодое, по-чкаловски крепкое, челюстное лицо напряжено, он выжимает из самолета предельные мощности.

В рубку заходит Ольга Ивановна, раскрывает сумочку и смотрит в зеркальце.

— Я очень плохо выгляжу? — спрашивает она бортмеханика.

Тот серьезно и внимательно разглядывает ее.

— Не Брижит Бардо, конечно, но... я бы гордился такой девочкой.

Ольга Ивановна достает пудреницу, дует на пуховку, но вдруг, словно отчаявшись, прячет пуховку в пудреницу, а пудреницу в сумку.

— Какая разница... — говорит подавленно.

Она выходит из рубки и смотрит в иллюминатор. Самолет значительно снизился, отчетливо видно, как по земле стремительно бежит его маленькая тень.

— Олюшка, Володя отбил еще шесть минут!.. — радостно говорит ей второй пилот.

И сразу земля стала торчком за иллюминатором, самолет пошел на посадку.

Ольга Ивановна снова обносит пассажиров леденцами. Стрелка на приборе высоты быстро приближается к нулю.

И вот уже коснулись колеса асфальтовой ленты, и самолет побежал к жалкому домику аэропорта, одиноко торчащему с краю летного поля. Взрели и стихли моторы.

— Граждане пассажиры, стоянка пятнадцать минут!.. — объявила Ольга Ивановна. — Прошу не торопиться, выходить по одному.

Прибежал второй пилот.

— Олюшка, ступай, мы последим за порядком.

— Мне еще почту надо принять.

— Не беспокойся, я сам приму, — сказал Володя, командир корабля.

Охотник, с безотчетной симпатией следивший за бортпроводницей, на какое-то время потерял ее в суете посадки, а когда вновь увидел, то поразился странной, необъяснимой перемене в облике девушки. Как будто ничего не изменилось: на ней был то же светлый пыльник, та же пилотка на желтых волосах, та же сумка висела через пле-

чо. Но что-то возникло в ней новое: легкое, окрыленное, словно все ее дремлющее существо проснулось, вспыхнуло, загорелось для единственной, неповторимой жизни. Она прижимала к плоской груди небольшой сверток, казалось, что это дань, которую надо уплатить, чтобы перешагнуть порог в неведомое. Ольга Ивановна принадлежала сейчас не повседневности, где старые самолеты, придирчивые пассажиры, потрепанные журналы, бутылки с боржомом и фруктовой водой, а тайне, чуду.

Выйдя следом за другими из самолета, охотник увидел и того, кто был источником этого чуда: невысокий, коренастый паренек в потертой кожаной куртке, давно не стриженный — темные волосы колечками завивались на загорелой шее, — кинулся навстречу Ольге Ивановне; он хотел обнять ее, но застеснялся, они обменялись долгим, крепким рукопожатием и, держась за руки, отошли к скамейке возле домика аэровокзала.

На углу домика красовалась заманчивая надпись: «Буфет», и пассажиры дружно поплелись туда, мимо скамейки, приютившей пару.

Ольга Ивановна передала своему другу небольшой сверток. Он развернул его, весело рассмеялся, обнажая белые, ровные зубы, стал вынимать и бросать назад в кулечек маленькие темно-красные болгарские помидоры, бледные благородные парниковые огурцы. А затем Ольга Ивановна вынула из сумочки какую-то брошюру, и паренек сразу забыл о помидорах и огурцах. Ольга Ивановна что-то сказала и закрыла брошюру своими тонкими, длинными пальцами. Парень в куртке снова засмеялся, попросил прощения и стал спрашивать о чем-то Ольгу Ивановну. Она отвечала, откидывая знакомым движением прядку волос, и лицо у нее было прекрасным и значительным, каким бывает человеческое лицо в редкие, драгоценные минуты полного бытия.

Из стоящей неподалеку замызганной полуторки вышел водитель, скуластый, косоглазый малый, и направился к

скамейке. Охотник как раз проходил мимо, он услышал короткий разговор:

— Слушай, друг, надо ехать... — это сказал шофер.

— Отстань, надоел!.. — отмахнулся парень в кожаной куртке.

— Надо ехать, пока светло, — бубнил шофер. — А то гробанемся, как давеча.

— Живы будем, не померем! Держи! — Парень выбрал из кулечка самый большой огурец в нежной пупырчатой коже и протянул водителю. — Жуй и молчи!

— Чистый авитаминоз! — похвалил огурец восточный человек, возвращаясь из буфета.

— Я лучше пацанам своим отвезу, — сказал водитель, пряча огурец в карман комбинезона.

Охотник улыбнулся Ольге Ивановне, но та не заметила его. Как только парень в куртке откупился от водителя, она взяла его руки в свои и вновь потеряла окружающее.

Охотник заглянул в буфет: маленький, грязноватый, с пустыми коробками печенья и шоколадных наборов, с запыленными бутылками из-под «Наполеон бренди», с засохшим сыром и опасной колбасой, с броским объявлением: «Пива нет». Но что-то хорошее в буфете все же было, потому что у стойки толпились пассажиры и слышались международные возгласы: «Чао!», «Поехали!», «Со свиданием!». Охотник вышел из буфета. Ольга Ивановна и ее друг все так же держались за руки. И тут послышался привычный голос второго пилота:

— По местам, товарищи!

От самолета отъехал бензовоз, первый пилот принял немногочисленную корреспонденцию, все несложные дела сделаны. Из буфета дружно повалили пассажиры, что-то дожевывая на ходу.

Ольга Ивановна немного задержалась. Она шла к самолету одна и все время оглядывалась назад. В последний раз она оглянулась уже поднявшись на борт самолета.

— Спасибо, Петя, — сказала она второму пилоту.

— Чепуха... — он убрал трап, задрал дверь.

Ольга Ивановна глянула в иллюминатор. Почему-то из круглого самолетного оконца фигура парня показалась очень маленькой, как у ребенка. А за ним виднелся игрушечный грузовичок. Когда же самолет побежал по взлетной дорожке, фигура парня в кожанке умалилась до жалкости, а затем враз исчезла, как только колеса оторвались от земли.

— Теперь понятно, почему вы так привязаны к этой трассе, — заметил Агасфер, — поздравляю, вы умеете уст-раиваться.

— Да, я, как говорили в старину, оборотистая особа.

— Что он делает в этой дыре... ваш юноша?

— Мой юноша ищет нефть... — и она добавила насмешливо, — но не предлагайте ему место в главке, он все равно откажется.

— С чего это вы взяли?... — грубовато спросил Агасфер.

— Ольга Ивановна взяла подносик с конфетами из рук бортмеханика, протянула Агасферу.

— Вы же добрый человек со связями. И, судя по всему, любите покровительствовать незнакомым людям.

— Мое покровительство вашему другу не грозит.

— И слава Богу!..

Снова стюардесса присаживается на ручку свободного кресла возле охотника. Короткое ее возбуждение спало, лицо утомленное, печальное.

— Это ваш жених, Ольга? — спросил охотник.

— Не знаю... Просто любимый человек, — ответила та тихо.

— Так это из-за него?...

Стюардесса кивнула.

— И давно?

— Второй год... Он ищет нефть, я ишу его. Так и живем...

Самолет сильно тряхнуло, еще раз и еще. Заплакал ребенок.

— Здесь всегда болтает, — побледнев, сказала бортпроводница, — сплошь — озера...

Все, что могло шевелиться, качаться, подпрыгивать, пришло в движение. Подпрыгивали в сетках свертки, шляпы и кепки, раскачивались на крючках пальто и плащи, ерзали в хвосте чемоданы, и пассажиры, не отставая от своих вещей, тоже ерзали, подпрыгивали, болтались на своих местах.. С обезумевшим видом, зажав рот рукой, в туалет промчался юноша-ненец.

— Воды! — простонала беременная женщина.

Ольга Ивановна бросилась исполнять ее просьбу.

— Пакет!.. Дайте мальчику пакет!.. — попросила другая женщина.

Из туалета на ватных ногах вышел молодой ненец.

— Я много летал, на Таймыр летал, на Диксон летал, в Нарьян-Мар летал, но такого... — он не договорил и, зажав рот, кинулся назад в туалет.

— Товарищи пассажиры, пакеты перед вами, в сетках! — крикнула Ольга Ивановна.

А старый ненец, откинув голову на спинку кресла, вдруг запел пронзительным, тонким голосом:

Пароход — хорошо,

самолет — хорошо,

А оленя — лучше!..

Именно этот тяжелый момент полета выбрал восточный человек, чтобы подкрепиться. Не обращая внимания на творящееся вокруг него, он домовито постелил скатерку на свободном месте, достал банку с жирной бараниной, всевозможные травы и приправы, разломил чурек, извлек бутылку с добрым сухим вином и, пожелав самому себе «доброто здоровья», хлебнул из горлышка и принялся с аппетитом за еду.

Его сосед, старичок, похожий на врача, с отвращением поглядел на это пиршество, что-то сердито проворчал и отвернулся.

Пароход — хорошо,

самолет — хорошо,

А оленя — лучше..

— пел старый ненец.

Ольга Ивановна поддерживала голову одного из мальчиков, ласково уговаривая:

— Потерпи, миленький, немножко потерпи, скоро болтанка кончится, — но впечатление было такое, будто она сама нуждается в утешении.

Восточный человек чавкал, отрыгивал, облизывал жирные пальцы. Старичок, похожий на врача, глянул в его сторону и, позеленев, сорвался с места. Ольга Ивановна поспешила к нему со стаканом воды. Старичок жадно выпил воду, его отпустило.

— Отведите меня... подальше от этого... вурдалака, — жалобно попросил он.

Ольга Ивановна усадила его на свободное место впереди.

Болтанка не утихала. Казалось, самолет не летит по воздуху, а ковыляет по ухабистому проселку. Ольга Ивановна совсем сбилась с ног. Пытаясь облегчить страдания пассажиров, она без устали обносила их водой, дольками лимона, какими-то лекарствами, подавала пакеты, провожала в туалет, успокаивала ребятишек. То и дело слышалось:

— Ольга Иванна!..

— Товарищ проводница!..

— Стюардесса!..

Она по-солдатски несла свою службу и даже нашла в себе силы пошутить, когда восточный человек, закончив трапезу, спросил с беспокойством:

— Как поживает багаж, дочка?

— Багаж в порядке, его не укачивает.

Но в какой-то миг, оказавшись в хвосте самолета, она без сил уткнулась головой во чье-то пальто. Охотник кинулся к ней.

— Ольга Иванна!.. Ольга, что с вами?..

Стюардесса повернула к нему меловой бледности лицо с темными подглазьями и капельками пота на лбу.

— Я совсем... совсем не переношу болтанки...

— Дайте я вам помогу!

Испуганным движением она прижала палец к губам.

— Что вы!.. Меня не допустят к полетам!..

— Ольга Иванна!.. — раздался чей-то жалобный крик.

Стюардесса взяла себя в руки, вытерла влажный лоб и, тонкая, прямая, собранная, поспешила на помощь.

Все кончается на свете, кончилась и болтанка. Пассажиры в томном изнеможении откинулись в креслах. Ольга Ивановна разбитой походкой подошла к своему старому месту возле охотника.

— Из всех своих спутников знаменитый Амундсен больше всего уважал метеоролога Мальмгрена, — сказал охотник. — И знаете почему?

Ольга Ивановна устало мотнула головой.

— Его укачивало не только на пароходе или в самолете, но и просто в гамаке. И все же он сопровождал Амундсена в его тяжелейших морских и воздушных экспедициях. Это был викинг, не переносящий качки.

— Спасибо, — Ольга Ивановна слабо улыбнулась. — Значит, я викинг, не переносящий болтанки.

— Пароход — хорошо, самолет — хорошо!.. — ни с того ни с сего, в тишине покоя, вдруг разразился старый ненец.

— Успокойтесь, папаша, — наклонился к нему Агасфер, — мы уже знаем, что «оленя — лучше».

— Что я могу сделать? — говорила Ольга Ивановна охотнику. — У меня на руках старуха мать. Не так-то легко старому больному человеку сняться с места... Но главное не в этом, — она остро, недобро посмотрела на охотника, и губы ее дрогнули. — Будь я совсем-совсем уверена, может, и нашелся бы выход. Но понимаете... — Она мучительно наморщила лоб. — Ведь это я к нему летаю... Правда, ему не так-то просто добраться до аэродрома, чтобы повидать меня... — Она вдруг мило, легко засмеялась. — Куда как уютно: жить в Москве, встречаться на Чистых прудах, а потом долго идти тихими московскими переул-

ками... Но что поделаешь, если любимому надо быть в Новьянске? Ничего страшного, правда? Мы видимся не так уж редко, иногда три-четыре раза в месяц... не огорчайтесь за меня, — сказала она тепло, — все устроится. Он еще два года будет искать, а потом сядет за научную работу. И за это время он научится меня любить. Тогда и я совершу посадку и, может быть, навсегда!.. — Она засмеялась. — Мы снижаемся!.. — и заспешила в нос самолета.

За окошком по-прежнему голубело небо, а земля погрузилась в тень и зажгла огни. не желая отставать, небо отсигналило земле тихими огоньками крошечных, едва приметных звезд. В самолете зажегся электрический свет.

Внизу замелькали красные огни, затем сгнули, отброшенные самолетом, и снова возникли совсем близко. Самолет приземляется.

— Дорогие товарищи, наш рейс подходит к концу! — объявила Ольга Ивановна. — О вещах не беспокойтесь, их доставят!..

...И вот уже пассажиры выходят из самолета.

— До свидания, Ольга Ивановна!..

— Спасибо, Ольга Ивановна!..

— Простите, если что не так!..

— Приезжай к нам, Ольга Ивановна, — говорит молодой ненец, — на олешках покатаю!..

— Хорошую ты мне книгу дала, умную, — благодарит бортпроводницу старый ненец.

— За мной хризантемы! — галантно говорит восточный человек.

— Ольга Ивановна, может, все-таки запомните мой телефон, — вкрадчиво произносит Агасфер. — Анна-Дмитрий один шесть-шесть сорок три!

— Уже забыла... — усмехнулась бортпроводница.

Выходит охотник со своим рюкзаком и ружьем через плечо. Они обмениваются крепким, дружеским рукопожатием.

— Ни пуха, ни пера!.. — с улыбкой говорит Ольга Ивановна...

Охотник уходит, оглядываясь на все уменьшающуюся фигуру бортпроводницы...

Возникает ночное небо, усеянное звездами, и в нем мигающие огоньки самолетов.

ГОЛОС ОХОТНИКА: Я живу на берегу воздушного океана: рядом Внуковский аэродром. И днем и ночью с него поднимаются и круто набирают высоту над моей крышей мощные реактивные и турбовинтовые самолеты и старенькие, честно поработавшие ИЛы. Днем они оставляют в синеве то пушистый снежный след, то слабое мерцание по ночам — горят зелеными и красными огоньками и манящей желтизной окошек. Они летят во все концы земли. Я провожаю их взглядом и думаю, что, может быть, в одном из них несет свою нелегкую службу Ольга Ивановна, желтоволосый викинг любви, не переносящий болтанки. И я мысленно говорю ей и всем, всем, проносащимся в звездной выси:

— Доброго пути вам, люди!..

СОДЕРЖАНИЕ

ДИРЕКТОР

3

БАБЬЕ ЦАРСТВО

70

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Часть первая. Братья _____	146
Часть вторая. Быть человеком... _____	216
Эпилог _____	269

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА

277

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СЕДЫЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОЛОСЫ

340

САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД

398

СТЮАРДЕССА

442

Юрий Маркович
Нагибин

ЕДСЕДАТЕЛЬ



Художественное оформление
Е.Селивановой

Корректор
Т.Иванова

Электронная верстка
А.Федина

В издании принимали участие:

С.Андрусенко,
А.Безуглый,
О.Светличная

Ответственный за выпуск
И.Смолин

По вопросам распространения
обращаться по телефону:

(095) 973-25-88

В США книги издательского Дома «ПОДКОВА»
можно приобрести по адресу:

Petropol, Inc.

P.O. Box 8168

Pittsburgh, P A 15217

(412)422-8311, (617)232-8820

Л.Р. № 064584 от 14.05.1996 г.

Подписано к печати 12.02.98.

Формат 84x108/32. Гарнитура Лазурский.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 24,36. Тираж 5000.

Заказ № 24.

Издательский Дом «ПОДКОВА»
121108, г. Москва, ул. Пивченкова, 3—1

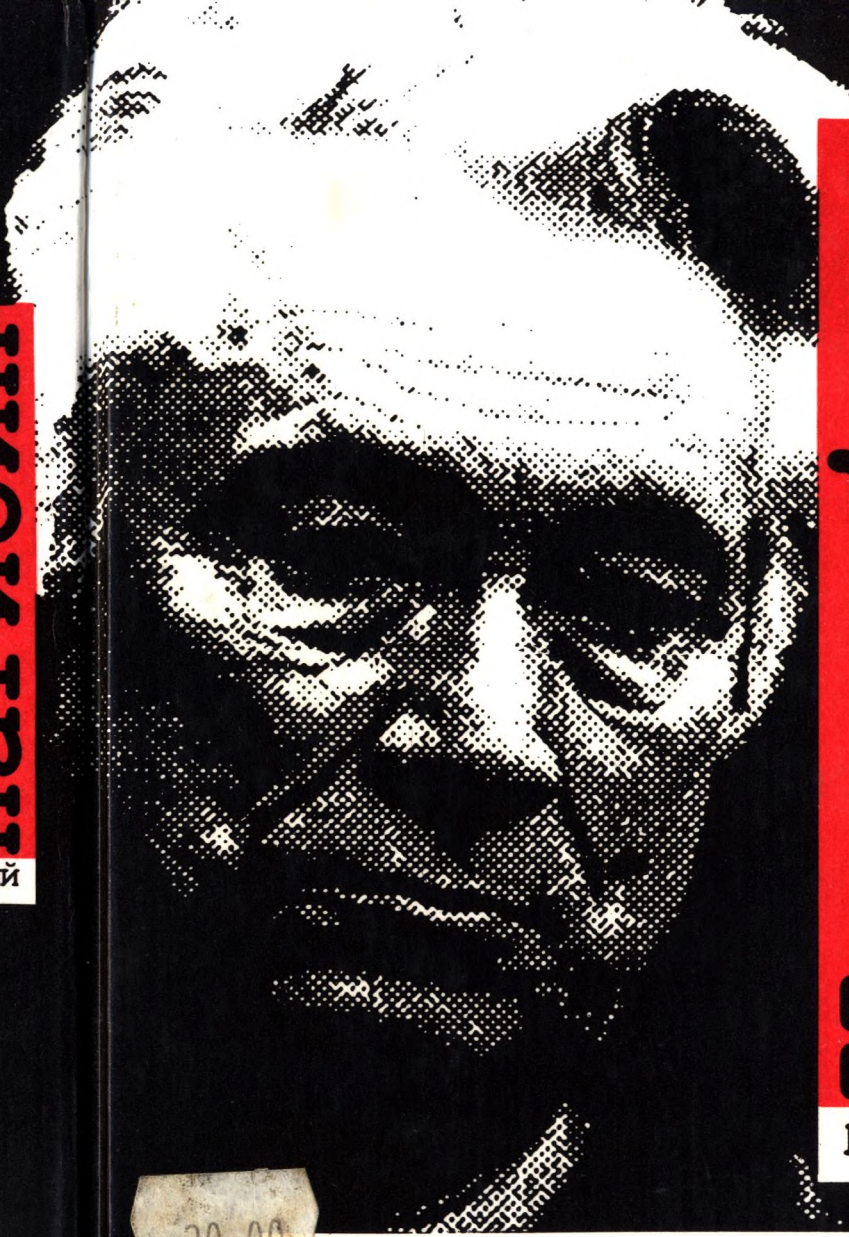
Отпечатано с готовых оригинал-макетов
на ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Нагибин

ЮРИЙ

Нагибин

ЮРИЙ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

2 30

30.00

1720-30
№ 30 1977
720 395
№ 30.00